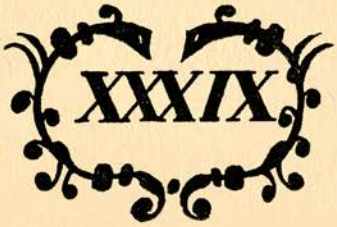
Новый Журнал



THE NEW REVIEW

Нью-Йорк

Новый Журнал

THE NEW REVIEW

Основатель М. ЦЕТЛИН

Тринадцатый год издания

Кн.
XXXIX
1954

Редактор М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

Обложка работы М. В. ДОБУЖИНСКОГО

NEW REVIEW, Dec. 1954.
Quarterly, No. 39.
223 *W.* 105*th St. New York* 25, *N. Y.*
Subscr. price $7 — *for one year*
Publisher: *New Review, Inc.*
Second class entry January 1955.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА:

М. Алданов — Бред 5
Игорь Гузенко — Падение титана 51
Петр Ершов — Нинель 71
Алексей Ремизов — Тонь ночи 119

СТИХИ:

С. Маковский — К стихотворениям М. Волошина 133
Максимилиан Волошин 136
З. Гиппиус (50), *М. А. Толстая* (70), *И. Легкая* (132), *А. Величковский* (154), *Ю. Одарченко* (193)

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

Н. Ульянов — Застигнутый ночью 143
С. Тарасов — Возможный автор «Слова о полку Игореве» 155

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Л. Дадина — М. Волошин в Коктебеле 176
Е. Каннак — С. Ковалевская и М. Ковалевский 194

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Н. Валентинов — Выдумки о ранней революционности Ленина 212
Д. Иванцов — Агрономы на производстве 232
М. Вишняк — О Вышинском 244
Б. Двинов — Пораженчество и власовцы 253
М. Карпович — Комментарии 269

БИБЛИОГРАФИЯ:

М. Гофман — По поводу академического издания сочинений Пушкина. *Петр Ершов*—Б. Зайцев. Чехов. *С. Юрасов* — И. Одоевцева. Оставь надежду навсегда. *Глеб Глинка* — Еп. Иоанн Сан-Франциский. Время веры. *Г. Забежинский* — Л. Алексеева. Лесное солнце. *А. Гольденвейзер* — А. Марголин. Основы государственного устройства США. *Г. Аронсон* — Глеб Глинка. На перевале. *Вера Коварская* — J. Croisé. Sortie de secours. *М. Карпович* — Марк Вишняк. Дань прошлому. *Мих. Коряков* — А. Ренников. Минувшие дни 279

БРЕД*

VII

После нового свидания с Шеллем полковник № 1 решил съездить в Париж. Поездка не была связана с делом Майкова. Оно было ему навязано и не очень его интересовало. Теперь же у него был другой, собственный, замысел, гораздо более важный. О нем нужно было поговорить с генералом, занимавшим высокий пост в Роканкуре. Генерал был его школьным товарищем и, несмотря на образовавшуюся с годами разницу в их служебном положении и в известности, они остались друзьями.

Полковник мог отлучаться из Берлина куда хотел и когда хотел, ни у кого не спрашивая разрешения. Высшее начальство чрезвычайно его ценило и предоставляло ему полную независимость. Он не был «требователен к самому себе еще больше, чем к другим» (как часто говорят в некрологах), но свои обязанности действительно исполнял очень строго. Особенно бывал щепетилен в тех делах, где служебные интересы незаметно смешивались с личными. Таково было и это дело. В нем должна была принять участие женщина, рекомендованная ему Шеллем. Но должен был также участвовать его племянник, молодой офицер, служивший в SHAPE по отделу Public Information. О племяннике надо было просить в Роканкуре, и это было не совсем приятно полковнику.

Перед его отъездом пришли очередные сообщения с той стороны Железного занавеса. У него бумаги делились на разряды: restricted, confidential, secret и top secret. Отнес эти к secret, но не преувеличивал их значения. Было одно ценное

---

* См. кн. 38 «Нов. Журн.».

Copyright 1954, by "New Review Inc." All rights reserved.

сообщение; всё остальное показалось ему ерундой и не очень добросовестной. Полковник не рассердился, давно к этому привык. Он начальству так и докладывал: быть может, агенты говорят правду, а может быть, и привирают, — не со злостной целью (это случалось редко), а просто для того, чтобы придать себе значения или оправдать свое жалованье; ничего точно узнать не могут и выдают слухи за факты; худшие же, обычно иностранцы, просто сочиняют. Он полагался главным образом на своих близких помощников и старых агентов. К западной немецкой организации Гелена относился недоверчиво; многое в ее борьбе с восточной немецкой организацией Вольльвебера было ему и неприятно, и забавно. Впрочем, он знал по долгому опыту, что только с честными людьми работать в его деле невозможно. По службе он бывал почти со всеми шпионами вежлив и даже любезен, но к некоторым не мог до конца преодолеть в себе гадливость. Сам он в работе любил точность, факты, цифры, предпочитал самые простые способы, думал, что слишком сложные комбинации в большинстве случаев не удаются.

Всё же было в пору войны одно разведочное дело, чрезвычайно сложное, трудное, имевшее огромные исторические последствия. Союзники бросили в море вблизи испанских берегов труп — якобы погибшего офицера с бумагами, содержавшими дезинформацию об их высадке в Европе. Как и ожидалось, труп прибило к берегу, испанские власти передали документы немцам, они дошли до самого Гитлера, он поверил дезинформации, и это стало одной из причин германской катастрофы. По изобретательности, по смелости замысла, по драматизму, по техническому совершенству исполнения и, всего больше, по результатам, это дело полковник считал неслыханным шедевром в истории разведки. Знал о нем во всех подробностях, но сам к нему отношения не имел. Таким бы делом он хотел закончить свою карьеру. Правда, в мирное время подобная затея была невозможна; но и дезинформационный замысел полковника мог, в случае удачи, иметь громадное значение. На удачу же были большие шансы. «Хромой

попадется на удочку, он всё-таки дилетант в нашем деле, хотя и способный»... Ему очень хотелось одурачить Хромого. Вечная борьба давно вызывала профессиональное соревнование у обоих.

Подали завтрак: такой, какой всегда подается на аэропланах, в вагон-ресторанах, — не очень плохой и не очень хороший. Полковник с аппетитом ел и всё думал о своем проекте. «Шансы есть. Жаль, что она, по его словам, глупа. Но он говорил, что она подчиняется ему беспрекословно»...

Шелль вначале не понравился полковнику. При первом знакомстве он причислил было этого разведчика к числу людей, которые любят репутацию негодяев и ею щеголяют. Полковник встречал и таких; эта порода была ему особенно противна. Затем его мнение о Шелле стало лучше. Он видел в жизни столько зла, что с годами становился всё снисходительнее к людям. «Несомненно очень ценный агент. Его мексиканское снадобье не беда... Странно, что он играет на виолончели. Агенту не полагается иметь эфирную душу. Уж он-то наверно начитался Достоевского, — просто общественное бедствие. Всё же он очень пригодится, как бы ни кончилось то дело Майкова, с научными открытиями... А вот нужно ли привлекать Джима? Он легкомысленный юноша. Однако пора вывести его в люди, еще станет шалопаем. Попробуем, а там будет видно, пока беспокоиться незачем».

Полковник был человеком почти невозмутимого спокойствия, — в этом отношении как бы из Жюль-Верновских англичан. Друзья шутливо сравнивали его с маршалом Жоффром. Обладал он и даром relax, не столь уж часто встречающимся у людей. В аэроплане механически делал «наблюдения», — очень ему надоевшие. Навсегда запомнил лица соседей. Память у него была разных родов и степеней: на лица безошибочная, почти непогрешимая, на всё остальное средняя или даже плохая. Соседи впрочем были неинтересные. Господин с дамой говорили о завтраке; дама объявила, что после кофе никогда не может спать. «А вот как бы ты заснула, например, после моей прошлогодней истории с Гаузером? А я и тогда спал

отлично», — подумал полковник, немного гордившийся своей Мэк-Набсовской невозмутимостью.

Позавтракав, он с наслаждением закурил, — по стилю ему полагалось бы курить либо трубку, либо сигары, но он их не любил, курил только папиросы и недорогие. Достал купленный на аэродроме французский детективный роман, — английские и американские давно прочел чуть ли не все, продававшиеся на аэродромах и вокзалах. В сотый раз пожалел, что во Франции издают книги с неразрезанными страницами, разрезал книгу вложенным в нее картонным прямоугольником с рекламой и стал читать. Роман оказался довольно уютным. Убит был несимпатичный человек, убийство было без зверства, казни не ожидалось, официальный сыщик был не слишком глуп, а частный не слишком умен. Разумеется, оба были поразительно непохожи на настоящих сыщиков; но сходства с жизнью от детективных романов не требовалось. Разумеется, заранее было ясно, что убил не тот, на кого падали подозрения. Искать надо было среди людей, на которых подозрения не падали. Обычно полковник с первых страниц догадывался, кто убийца; догадался и на этот раз. «За что только им платят деньги?» — улыбаясь, думал он. По сравнению с тем, что видел на своем веку он сам, фантазия автора казалась ему некитрой.

Думал он и о скорой отставке. Собирался поселиться в деревне. Мысли о доме в Коннектикуте, о конском заводе были приятны, но он опасался, что будет скучать. «Изредка буду приезжать в ведомство, справляться о новостях... Будет уже не то». Ему вспомнился выживший из ума старик, бывший сослуживец, вечно звонивший по телефону — к умершим людям: помнил их номера, но не помнил, что их давно нет на свете.

В Париже полковник остановился в центре, в хорошей гостинице. Она не принадлежала к числу самых дорогих, и он всегда выбирал ее, хотя путешествовал обычно на казенный счет или именно потому, что путешествовал на казенный счет. Кроме того, он любил эту часть города. С ней связыва-

лись далекие, очень приятные воспоминания об его первом приезде в Париж. Здесь были Пале-Рояль, старая кофейня «Режанс» со столом Наполеона и с лучшим кофе во Франции, книжный магазин с разными полными собраниями сочинений в раззолоченных переплетах. Здесь был и Форе-Лепаж.

Он был в очень хорошем настроении духа. Нисколько не был утомлен полетом, чувствовал себя отлично. Перед зеркалом не в первый раз увидел, что щеки у него пониже ушей отвисают, что подбородок уже можно считать двойным, что его круглые, коричневые глаза понемногу выцветают. Увидел почти без огорчения: о смерти, о болезнях полковник никогда не думал, — что-ж преждевременно огорчаться. Жил так, точно ему было известно, что он будет жить вечно. Погода была хорошая, редкая для парижской зимы. Это — даже у него, хотя он никак не был нервным человеком, — способствовало доброму настроению.

Тотчас он распределил время. Для поездки в Роканкур легко было достать казенный автомобиль, — надо было бы лишь сообщить о себе по телефону. Но он этого не сделал, так как никого из других должностных лиц видеть не хотел. Решил поехать скромно, по железной дороге в Марли. Торопиться было некуда. Его племянник освобождался только под вечер. «Хоть мой шалопай ничего не делает, но я его беспокоить на службе не буду, потом с ним пообедаю», — решил полковник.

На Сен-Лазарский вокзал он отправился пешком. Как всегда, остановился у витрины Форе-Лепажа, всё внимательно осмотрел, прочел разные надписи: «Finement poli en long»... «Choke et demi-choke perfectionnées»... «Quadruple verrou»... «Finissage irréprochable»... Одно ружье очень его заинтересовало. Стоило оно дорого. Немного поколебавшись, он зашел в магазин. Его тотчас узнали, он был старый и хороший клиент. Полковник долго, с любовью, осматривал ружье, не выдержал, купил и велел прислать в гостинницу. Затем зашел в книжный магазин. Себе, потратившись на ружье, ничего не купил, но, увидев хорошо переплетенное издание «Mémorial de Sainte

Hélène», приобрел и распорядился, чтобы послали его племяннику. «Будет ему полезно. Когда человек слишком честолюбив, это нехорошо, но если он совершенно лишен честолюбия, то это просто беда. Пусть почитает о Наполеоне».

Вагон второго класса был пуст: французы ездили в предместья в третьем классе. Полковник надел очки (немного гордился и тем, что пользуется очками только при чтении), и развернул купленную на вокзале парижскую американскую газету. На первой странице ничего особенно важного не было. Он заглянул в спортивный отдел на пятой странице и с радостью узнал, что на скачках «Джи-Ар-Пэтерсон» получил первый приз. «Изумительная лошадь! Изумительная! Я всегда это говорил!»

Затем он вернулся к первой странице. Полковник разбирался в политических делах гораздо лучше, чем большинство офицеров. Германия восстанавливалась со сказочной быстротой. «Это впредь до того, как она будет и вооружаться со сказочной быстротой». Он не имел определенного мнения по вопросу о вооружении Германии. Всё, что говорили его сторонники, было совершенно верно, но всё, что говорили его противники, было тоже совершенно верно. «И главное, на немецкую армию, которую мы создадим в Западной Германии, они ответят точно такой же немецкой армией в Восточной Германии. Правда, западных немцев гораздо больше. Но и восточных немцев с огромным избытком достаточно, чтобы создать те же двенадцать дивизий».

Предместья были довольно убогие. Везде видны были ободранные, старые, антисимметрично стоявшие дома, иногда со стенами без окон. У Пюто тянулось огромное кладбище. Между ним и железной дорогой стояли какие-то домики. «Милая, верно, жизнь, с двумя такими пейзажами».

На крошечном вокзале Марли ему сказали, что автомобиль можно вызвать по телефону, что поездка в Роканкур будет стоить франков пятьсот и что минут пять придется подождать. Полковник погулял перед вокзалом. Ему попались на заборе порванные, истершиеся надписи: «Yanks, go home»...

«Ridgway-la-peste»... Он отнесся к этому вполне равнодушно. Считал свободу слова неизбежным злом. На его памяти она имела порою неприятные последствия: видные члены разных парламентов иногда выбалтывали такие факты, какие оглашать никак не годилось. Делалось это, очевидно, для того, чтобы «осведомить общественное мнение». Полковник не понимал, зачем общественному мнению знать, например, цифры, прямо или косвенно касавшиеся вооружений: оно о них на следующий день забывало, тогда как принимали их, как дар с неба, военные ведомства враждебных стран. Однако он знал, что в Соединенных Штатах бесполезно спорить со словами «public opinion», «public vigilance» (второе выражение казалось полковнику уж совсем забавным). Ему строго сказали бы, что *настоящие* секреты никогда не выбалтываются, — за этим тоже строго следит общественное мнение. Он думал, что обществу надо говорить только о мощи противника, о необходимости тратить на вооружение вдвое больше денег, чем тратилось. Полковник считал печальной ошибкой давнее опубликование доклада Смита об атомной энергии. И уж совершенно напрасно печатали статьи и давали интервью штатские изобретатели атомной бомбы. Кое-какие данные, хотя бы краткие, попутные, могли, — он в этом не сомневался, — очень пригодиться большевикам.

Пренебрежения к штатским людям у него впрочем почти не было. По служебному опыту он знал, что лучшие секретные агенты в пору войны выходили из людей, призванных в армию по мобилизации. Однако штатские люди, члены Конгресса, едва не погубили всё его ведомство, сильно сократив в 1945 году ассигновки. Он тогда хотел стать военным агентом, — была вакансия в одной из главных европейских стран; это тоже было разведочной службой. Но оказалось, что его личное состояние для этого недостаточно велико: должности военных агентов, как и должности послов, в Соединенных Штатах обычно предоставлялись богатым людям. Он не мог без раздражения думать о том, что богатейшая страна в мире не желает оплачивать как следует самую необходимую ей

работу. Всё же разведка была воссоздана благодаря энергии и талантам нескольких известных, авторитетных разведчиков, к которым принадлежал и он сам. Теперь напуганные штатские люди в Конгрессе давали деньги щедро, и ведомство быстро стало, по его мнению, лучшим в мире, вполне сравнявшись с советским. Отношение полковника к Конгрессу и к public opinion смягчилось: всё же они составляли часть American way of life, а в American way of life он верил твердо и любил его.

Старик-шофер повез его лесом в Роканкур. Полковник был в штатском платье, но еще прежде чем он сказал одно слово, шофер распознал в нем американского офицера. По дороге показал полковнику Le trou d'Enfer, показал заповедную охоту президента республики, сообщал исторические сведения.

— Всё это когда-то принадлежало семье Монморанси, самой знатной в мире, — говорил как будто с гордостью шофер, — но ее собственно больше нет, нынешние Монморанси не настоящие.

— Да откуда вы всё это знаете?

— Как откуда? Из книг. Я здесь прожил всю жизнь. Как же не знать? — ответил старик и весело рассказал анекдот об одном президенте, который охотился, совершенно не умея стрелять. «Только во Франции это возможно, поразительно интеллигентный народ», — подумал полковник, любивший французов, но относившийся к ним так, как он мог бы относиться к древним афинянам. Впрочем, он и всех европейцев считал людьми прошлого.

— А это правда, будто вы очень не любите американцев? — спросил он благодушно. — Вот ведь эти надписи «Ridgway-la-peste».

— Tout ça c'est de la blague, — сказал шофер, пожимая плечами. — Надо же что-то делать партиям. Почему мне вас не любить? Это уж скорее вы меня не любите. Вот я и теперь должен буду остановиться подальше от входа: меня во двор не впустят, так как вы всех шоферов считаете ком-

мунистами. А я такой же коммунист, как вы, — столь же благодушно сказал старик.

Полковник оставил ему, вместо пятисот франков, шестьсот.

Он направился к невысокому, длинному светлому зданию с зеленым флагом: там, если не решались судьбы мира, то, по крайней мере, подготовлялось их решение. На необыкновенно высоких, тоненьких флагштоках развевались флаги четырнадцати государств, подписавших четыре года тому назад Северо-Атлантический договор. В вестибюле с ним почтительно поздоровался знавший его офицер и повел его по длинным серым коридорам, выстланным чем-то зеленоватым. Им попадались офицеры в мундирах разных армий. Затем он свернул в другой коридор, на котором был непонятный посторонним людям значек 4-А. Ждал он очень недолго. В большом, хорошо обставленном кабинете из-за письменного стола с телефонными аппаратами встал генерал, моложавый человек, с очень умным, волевым, неласковым лицом.

Затем было то, что всегда происходило в этом кабинете при посещении полковника: краткие, товарищеские приветствия и тотчас после них энергичный монолог генерала. Он отчаянно ругал всех, людей Пентагона, государственных людей, союзные парламенты, союзных генералов. Говорил, что настоящей армии у него нет и, при всех этих господах, и не будет, проклинал день и час, когда его с боевого поста перевели в это трагикомическое учреждение. Союзные министры думают только о том, как бы продержаться у власти еще месяц. Из трех союзных солдат один коммунист, — как же на них рассчитывать? Деньги по настоящему дают только Соединенные Штаты и то очень мало. И есть лишь одна настоящая армия, американская, до смешного численно недостаточная. Затем он понемногу успокоился и очень внимательно выслушал доклад полковника, вставлял толковые замечания, задавал дельные вопросы, из которых ясно было, что он всё понимал с первого слова; кое-что он кратко записывал на лист-

ках из блокнота, кое-что разрешал, кое-что отклонял. Очень одобрил план полковника.

— ...Да, это было бы превосходно. Попробуем. Могут ухватиться за новое, печкой они, кажется, еще не интересовались. А если эта милая дама хороша собой, то пусть мальчик и позабавится, ничего против этого не имею. Я завтра же распоряжусь об его переводе. Там во всяком случае он будет не более бесполезен, чем на его нынешней работе.

Позвонил телефон. Весьма значительное лицо что-то сообщило из Парижа. Лицо у генерала стало еще гораздо менее ласковым.

— ...Для этого у нас существует Public Information, — сердито сказал он. Но, повидимому, значительное лицо просило очень убедительно: генерал, еле прикрыв рукой трубку, выругался, справился по настольному календарю и назначил час.

— Больше десяти минут я им не дам и завтракать с ними не могу, с ними позавтракает кто-нибудь другой... Не стоит благодарности. До свидания, — сказал генерал и, повесив трубку обратился к улыбавшемуся полковнику:

— Вот на что уходит время! Какие-то важные лица из Рекьявика желают меня видеть! Какой еще к чорту Рекьявик?

— Рекьявик это столица Исландии, — сказал полковник, хотя знал, что его указание генералу совершенно не нужно: генералу отлично известно, где Рекьявик и даже что происходит в Рекьявике.

— Если б мобилизовать всё население Исландии, то нельзя было бы образовать одну дивизию! — гневно сказал генерал.

И, как всегда, полковник вышел из этого кабинета несколько успокоенный. Ему иногда, в дурные минуты, приходило в голову, что по существу положение в мире безнадежно — и, как ни странно, для обеих сторон. Теперь он говорил себе, что очень важные дела находятся в руках очень умного человека, превосходно знающего свое ремесло (в военный *гений* каких бы то ни было генералов полковник давно плохо

верил, особенно потому, что всех их знал лично). В этом генерале было приятно еще и то, что он нисколько не стремился принадлежать к intelligentsia или ей нравиться.

Как человека, с которым генерал говорил почти час, его проводили очень почтительно и обещали тотчас вызвать к нему племянника. Служебный день уже кончался. На площади как раз происходила церемония перемещения флагов: они ежедневно по определенному порядку менялись местами; не менял положения только французский флаг, — всегда занимал одно и то же, самое почетное, хозяйское место. Полковник любил военные церемонии, полюбовался и этой. «Все-таки наши солдаты лучшие в мире».

Тотчас появился племянник, молодой красивый лейтенант. Он не ожидал дядю и очень ему обрадовался. Полковник любил Джима, оставшегося с детских лет на его попечении. Джим относился к дяде с ласковой снисходительностью начинающего жизнь человека к кончающему карьеру старику. Ценил его заботливость и щедрость, знал, что при дяде никак не пропадешь, и почтительно выслушивал его постоянные нотации. Всё это могло с натяжкой передаваться словами, что он любит дядю. Но полковник иллюзий себе не делал. «После моей смерти немного погорюет. Даже не сразу утешится наследством в тридцать тысяч долларов, не считая дома в Коннектикуте, который он впрочем скоро продаст», — со вздохом думал он.

— Вы надолго?

— Послезавтра уезжаю. Хочу сегодня угостить тебя хорошим обедом. Надеюсь, ты свободен? У нас будет очень серьезный разговор.

— Я собственно не свободен, — ответил Джим, чуть замявшись. — Но для вас и для хорошего обеда я, конечно, освобожусь, несмотря на ваш очень серьезный разговор. Я должен был обедать с одним приятелем, сейчас ему позвоню.

— Да, позвони ей. Где можно было бы хорошо пообедать?

— Это зависит от того, дядя, сколько вы хотите истратить на наш обед.

— Скажем, двадцать долларов? Это семь тысяч франков.

— Даже восемь. Я меняю доллары по черному курсу. Надеюсь, вы тоже.

— Не надейся, — строго сказал полковник. — И тебе запрещаю.

— Больше никогда не буду!

— Ты знаешь новость? «Джи Ар Пэтерсон» вчера взял первый приз.

— Не может быть! — сказал племянник взволнованно. Он тоже увлекался лошадьми. Это была у него одна из немногочисленных общих черт с дядей.

— Ты не читаешь газет! Быть может, ты не знаешь и того, что идут тревожные слухи о состоянии здоровья «Нэтив Дансер-а»!

— Что вы говорите!

— Надеюсь, ничего серьезного. Это было бы слишком печально!

— Такой лошади у нас не было со времени «Мэн о'Уор»! Кажется, он принес Вандербильту не менее семисот тысяч долларов. Где до него вашему «Джи Ар Пэтерсон»!

— Ну, что-ж говорить о «Нэтив Дансер-е», — сказал полковник так, как если бы при нем очень талантливого молодого поэта сравнили с Шекспиром. — Уже шесть часов. Какой тут лучший ресторан?

— Тут?! Вы не предполагаете угощать меня в здешних ресторанах! Если б вы меня позвали на завтрак, мы еще могли бы поехать в «Pavillon Henri IV» в Сен-Жермэне... Там родился Людовик XIV. Вы скажете, что от этого кухня лучше не становится. Всё же у Линди на Бродвее Людовик XIV не рождался. Но по вечерам в Сен-Жермэне такая же тоска, как в этой дыре. Я повезу вас в Париж.

— Повезешь на чем?

— Так как вы всё еще мне не подарили автомобиля, то я возьму на ваш счет такси.

— Хорошо. А что ты вообще делаешь по вечерам?

— Читаю по латыни Спинозу с карандашом в руке, исправляю последний вариант теории Эйнштейна, размышляю о ведическом периоде в истории арийцев Пенджаба...

Полковник махнул рукой.

— Покажи мне перед обедом вашу печь.

— Какую печь?

— Ту, где у вас сжигают документы. Это ведь рядом?

— Зачем вам печь?

— Не твое дело. Хочу взглянуть из любопытства.

В четыреугольной, не очень высокой кирпичной печи ничего интересного не было. Из нее вырывалось красноватое пламя, как раз что-то жгли. На дороге стоял казенный автомобиль, в нем сидели два офицера, француз и американец. Оба бегло-внимательно оглядели подходивших людей.

— В этом есть нечто символическое, — с торжественным видом, подняв палец, сказал Джим. — Тут сжигается зло мира!

— Меньше бы ты нес вздора, — сказал полковник, впрочем очень благодушно. Своему племяннику он прощал даже то, что тот, очевидно, пробирался в intelligentsia.

VIII

— Надеюсь, дядя, вы предоставите мне выбор блюд? — спросил Джим, когда они уселись за столик в углу ресторана. — Я закажу такой обед, какого вы отроду не ели!

— В этом я несколько сомневаюсь.

— Не отрицаю того, что вы и сами недурно разбираетесь в еде и особенно в винах. Но ваши сомнения будут лишены уж всякого основания, если вы разрешите и выйти из пределов двадцати долларов. Это не беда?

— Не беда. Заказывай всё что хочешь. Я рад сделать тебе удовольствие, хотя ты этого не заслуживаешь.

— Действительно, не заслуживаю, — с полной готовностью подтвердил Джим. — Правда, я еще не знаю, за что именно вы меня будете сегодня ругать. Но ругать будете на-

верное, это ваше ремесло. И во всяком случае вы будете совершенно правы... Я супа почти никогда не ем. Что вы сказали бы об омаре? Только не называйте его Homard à l'Americaine, вы меня опозорили бы! Надо говорить Homard à l'Armoricaine.

— Это очень спорный вопрос. Он обсуждается давно.

— Тут и обсуждать нечего. Стали бы французы называть блюдо в нашу честь! Они к нашим гастрономическим идеям относятся с полным презрением.

— И напрасно.

— Я сам так думал, пока не побывал в Париже. Дядя, а как насчет свежей икры?

— Заказывай и свежую икру, — сказал полковник, опять махнув рукой.

— Тогда я спрошу водки. Будет русское вступление к французскому обеду двух американцев.

Мэтр-д-отель и sommelier почтительно записали заказ: видели, что эти клиенты, хотя и иностранцы, знают толк в еде, разбираются даже в годах вин.

— Ну, сначала скажи, как ты живешь? Вид у тебя здоровый, веселый, счастливый. Так и надо.

— Разумеется, так и надо. Мир пронизывают космические лучи счастья. Надо только уметь их находить! — сказал Джим. «И говорит как intelligentsia. Очень горд своей фразой, верно это из его дневника», подумал полковник с улыбкой.

— Заведи себе трубку Гейгера... Мы должны сегодня серьезно поговорить.

— Условимся так, дядя: вы начнете меня ругать только с дессерта, зачем портить мне аппетит?

— Я начну ругать тебя тотчас после водки. За твой аппетит я не боюсь. Но сегодня ты меня будешь слушать очень внимательно, я этого требую.

— Хорошо. Однако до водки, расскажите мне о вашей аудиенции. Я не сомневаюсь, вы мне сообщите всё, что генерал вам сказал. Вы знаете, что я нем, как рыба.

— Ты не сомневаешься, что я тебе ничего не сообщу. Впрочем, одно ты можешь знать: положение в мире очень серьезно.

— Это я слышал и без генерала. Ничего интереснее вы не знаете?

— Если и знаю, то не для передачи тебе.

— Газеты пишут каждый день, что война вполне возможна. Я этому совершенно не верю. Никакой войны не будет.

— Тебе, конечно, лучше знать. В случае войны Россия выставит двести дивизий, затем очень скоро еще сто, а дальше доведет свою армию до пятисот дивизий.

— Тоже читал в газетах. Но все эти дивизии перейдут на нашу сторону. В России ненавидят дядю Джо.

— Так действительно говорят перебегающие к нам советские люди. При этом они неизменно добавляют, что необходимо только, в случае войны, располагать к себе русское население и повторять, что мы никак не стремимся к расчленению России. Мы им, разумеется, очень благодарны за полезные советы, но мы делаем поправку на то, что эти люди перебежчики.

— Да насколько я могу судить, вся ваша работа, дядя, основана на перебежчиках. Что вы делали бы без них?

— Именно «насколько ты можешь судить». А ты судить не можешь и не имеешь права. Что ты о моей работе знаешь?

— Знаю мало, но думаю, что не вам ругать перебежчиков. Кроме того, к России наши западные понятия неприложимы. Я очень люблю всё русское.

— Икру?

— Икру, «Войну и Мир», русских женщин.

— Ты их знаешь?

— Встречал. А кроме того, вы, очевидно, забыли, что моя бабушка, ваша мать, была русская.

— Она была внучкой русского эмигранта, но родилась в Нью-Джерсее и ни слова по-русски не знала. Все остальные наши предки были коренные, стопроцентные американцы.

— А вы всё-таки о русской бабушке не распространяй-

тесь. Это может не понравиться сенатору Мак-Карти. Если б он был англичанином, он верно выгнал бы Черчилля за то, что у того мать иностранка. Впрочем, я знаю, вы не любите говорить о Мак-Карти.

— Действительно, не люблю. А при иностранцах никогда не говорю, пусть они лучше думают о своих делах, о которых я им не напоминаю... Я решительно ничего против русского народа не имею. Однако перебежчиков-офицеров я всё-таки недолюбливаю. Разумеется, все они, тоже неизменно, ссылаются на опыт Гитлера: вначале русские дивизии одна за другой сдавались в плен немцам, воевать же по-настоящему они стали только тогда, когда увидели, что такое наци. Раньше они, видишь ли, этого не знали. Тут у меня есть свое мнение. Сдавались не отдельные солдаты, а именно дивизии. Никакой возможности солдатам сговариваться о сдаче не было. Кроме того, сдающийся солдат думает о том, как с ним будут обращаться, дадут ли ему поесть, думает о чем угодно, но не о политических вопросах. В том, что говорят перебежчики, много правды, а полагаться на их заверения всё-таки нельзя. Инерция военной дисциплины, да еще такой каторжной, как советская, может действовать довольно долго.

— Что, если за это время советская армия докатится до Пиренеев и Атлантического океана?

— Этого никогда не будет. Но исходить всегда надо из худших возможностей.

— Напротив, исходить надо из лучших возможностей. Так думали все великие полководцы. Наполеон издевался над некоторыми своими генералами: «они думают, что можно воевать без риска!» Но станем на минуту на вашу точку зрения. Если русские войска переходить на нашу сторону не будут, то ведь армия четырнадцати государств неизбежно потерпит поражение, так как у русских на суше тройное превосходство в силах. А если они дойдут до океана и Пиренеев, то их военный потенциал, со всеми промышленными богатствами Европы, будет больше нашего.

— Ты ошибаешься, — сказал полковник с неприятным чувством: он сам иногда так думал. — Наша армия окажет отчаянное сопротивление. Военная прогулка в Париж больше невозможна.

— Маршал Жюэн не так давно объявил, что они будут в Париже на 21-й день!

— С тех пор многое изменилось. Кроме того, маршалы иногда очень преувеличивают, чтобы повлиять на общественное мнение, на правительства, на парламенты.

— Они, к сожалению, не понимают, как такие слова влияют на их собственных солдат. Моя позиция ясна: нам надо искать союзника в русском народе. Вашей же позиции я просто не понимаю. Подождем мальчика, который закричит, что король гол. Неужели генерал думает так же, как вы? Да еще говорит ли он всё, что думает?

— Журналистам говорит не всё, что думает. Генерал, вероятно, знает всё то, что знаешь ты, а кроме того знает и многое другое, чего ты не знаешь. Он умница и один из самых деятельных людей, каких я когда-либо видел. По своей живости он просто не в состоянии сидеть в своей комнате без дела. Пасианс он не раскладывает и почтовых марок не собирает, — сказал полковник, считавший то и другое обычно-верным признаком ограниченности человека. — Таков был и Наполеон... Одно скажу тебе. Он долго говорил о нашем трудном положении, а закончил словами: «Но, разумеется, в том, что мы в конце концов победим, не может быть никакого сомнения! Нас, мир, свободу спасут две вещи: крепость духа и существование атомной бомбы». Заметь, не ее взрыв, а одно только ее существование.

— Он, правда, так думает? — спросил Джим. Его лицо еще просветлело. — Конечно, для американца в этом не может быть сомнения!

— Это ты хорошо сказал. Мы в самом деле ни одной войны в истории не проиграли. В психологическом отношении тут, быть может, некоторое наше несчастье. Мы — и во всем мире только мы одни — не представляем себе, что

можно и проиграть войну. Между тем это очень просто: побеждали, побеждали и, наконец, потерпели поражение. Франция тоже была когда-то самой могущественной военной державой мира. Впрочем, и я уверен, что, если Россия решится на войну, то она будет разбита.

— Дядя, вы противоречите сами себе, — сказал, смеясь, Джим. — И я тоже. Это бывает часто. Я не раз замечал в спорах, особенно в политических, что человек вдруг начинает спорить с самим собой, а не с собеседником. Быть может, это отчасти объясняется тем, что теперь в мире никто ни в чем твердо не уверен; оттого все и изображают такую уверенность. Правда, это глубочайшая мысль? Я один из самых глубоких мыслителей наших дней. А вы, дядя, я всегда так думал, вы удивительно не типичны для разведчика, они наверное совершенно другие. Не хочу говорить о ваших коллегах, какие они... И вдобавок вы человек бронзового века! Очень хороший человек бронзового века...

— А ты теперь кто?

— Я где-то читал, что у каких-то французских аристократов девиз рода одно слово: «fac». Теперь это мой девиз!

— Поэтому ты ничего не делаешь?

— Поэтому я ничего не делаю. Ну, допустим, я завоевал бы весь мир, как Александр Македонский. Это верно не так трудно, правда? Но собственно зачем? Ведь Александр, завоевав весь мир, умер от тоски и скуки, — сказал Джим, просматривая карту блюд. Хотя всё уже было заказано, чтение карты доставляло ему большое удовольствие. — Какое изобилие, дядя, и какие вещи! Подумать, только, что десять лет тому назад во Франции почти никакой еды не было, а у нас были карточки. Вы помните вид карточек?.. Да, так вы говорите, мы победим. Конечно!

— Во всяком случае мы победим в воздухе. Решат дело атомные бомбы. Но что это значит? Это значит, что мы истребим, скажем, пятьдесят миллионов русских, а они истребят только десять миллионов американцев. Весело? Заметь еще и другое. Разумеется, в первый же день войны советское

правительств предложит, чтобы обе стороны отказались от атомного оружия. Это ему будет очень выгодно, так как атомных бомб у него будет всегда гораздо меньше, чем у нас: наша промышленность гораздо мощнее, наши ученые лучше, у нас больше того, что называется know-how. Всё же, повторяю, и они могут истребить несколько миллионов нашего гражданского населения, и мы это знаем. Что, если давление общественного мнения заставит нас согласиться на их предложение? Тогда как же мы победим? Способы, правда, найдутся. Всё же это будет тяжело, чрезвычайно тяжело.

— Поэтому, и по тысяче других причин, надо сделать всё возможное, чтобы избежать войны. Всё совместимое с нашей честью и с нашими интересами.

— Я с тобой совершенно согласен. Но убеди в этом дядю Джо.

— Если же война начнется, то надо будет приложить все усилия к тому, чтобы русский народ был с нами.

— Это один из способов, о которых я только что сказал.

— Простите, дядя, это не «способ». Это цель!

— Если русский народ будет с нами, то это значит, что власть у них перейдет к маршалам. Так? К кому же еще? Всех других вождей там презирает большинство населения, это нам хорошо известно. Удержаться же у власти может только победоносный маршал. Иначе это Петэн. Маршалам придется добиться военных успехов, а, как говорят французы, аппетит приходит с едой. Маршалы не любят отказываться от территориальных приобретений.

— А в общем ничего никто предвидеть не может. Я читал старый роман Беллами «Looking Backward». Этот провидец предвидел радиоаппараты, но не предвидел таких пустяков, как две мировые войны и два десятка революций. И таковы, верно, все провидцы... Кстати, по его роману в будущем обществе человек уходит на покой сорока четырех лет отроду. Подумайте, дядя, мне осталось всего восемнадцать лет работы, стоит ли тогда стараться? А вы уже лет двадцать, как должны быть на покое.

— Не двадцать, а только восемнадцать, — поправил с неудовольствием полковник. — Но бросим политику. Всё, что о ней говорят и пишут, это общие места... Вот несут твою икру.

— Пью первую рюмку за того, кому ей обязан, — сказал Джим.

— Спасибо, мой милый.

— Разумеется, это «Джи Ар Пэтерсон». Ведь, правда, дядя, вы на него поставили?

— Нахал! — сказал полковник. Он требовал от племянника почтительности; Джим это знал и не выходил из должных пределов, придумав форму почтительных дерзостей. — Кстати, я, гастроном старой школы, не заказал бы и икру, и омара. Либо то, либо другое, — подразнил он племянника.

— Я пользуюсь случаем. Без вас я этого себе не позволил бы, денег нет. Это самые вкусные вещи в мире! Если б, как в вечном и глупом предположении, меня сослали на необитаемый остров и предложили там есть всегда только *одно* блюдо, то я взял бы эти *два*. А вы?

— Выпьем по второй рюмке водки и давай говорить серьезно.

— Хорошо. Ругайте меня, если нельзя иначе.

— Нельзя. Когда ты, наконец, станешь человеком? Тебе уже двадцать шесть лет, а по характеру тебе шестнадцать... В каком состоянии твои любовные дела? Ты писал, что расстался с ней, — сказал полковник. Джим ему рассказывал правду о своих интимных делах; по крайней мере, полковник так думал и этому радовался.

— Мы надоели друг другу. Она за что-то рассердилась. Вероятно, она была права. Ничего, найдем другую. Уже одна есть в виду.

Полковник покачал головой, непохоже изображая на лице сокрушение. В душе он немного гордился победами племянника.

— Женщины тебя погубят, мой друг. Плохо верю, что ты найдешь себе подходящую жену. Настоящая жена живо

сбила бы с тебя спесь. Нет великого человека не только для лакея, но и для его жены. Впрочем, бывает обратное, только реже.

— От «настоящей» жены я тотчас, на зло вам, сбегу... А отчего вы не женились, дядя? — спросил Джим, впрочем хорошо знавший, что ответа не получит. Он давно слышал, что дядя в молодости был влюблен в какую-то красавицу и что она предпочла ему богатого промышленника. «Это могло вызвать презрение к женщинам, или ненависть к богатым промышленникам, или решение самому стать богачем во что бы то ни стало, а у дяди ничего такого не вызвало», — всегда думал Джим с некоторым недоумением. — «Правда, он позднее утешался с дамами достаточно часто. Только мне читает наставления. Когда-то он, вероятно, был *тоже* хорош собой». Возраст дяди казался ему пределом старости.

— Это тебя не касается. У тебя вечно будут романы средней продолжительностью в два месяца.

— Это еще не так плохо.

— А затем тебя женит на себе какая-нибудь кухарка... Ты слишком начитался Достоевского, — сказал полковник, приписывавший самое тлетворное действие русским романистам, особенно Достоевскому, о котором он впрочем имел довольно смутное представление: начал когда-то читать «Униженные и оскорбленные» и не мог дочитать от скуки.

— Вы мне уже это не раз говорили.

— Но сейчас ты ни в кого по-настоящему не влюблен?

— Нет. Впрочем, я не знаю, как вы понимаете «по-настоящему»?

— Во всяком случае, невесты у тебя нет? Жениться ты не собираешься?

— О, нет! За кого вы меня принимаете, дядя? — возмущенным тоном спросил Джим.

IX

— Ну, что-ж, перейдем к делу, — сказал, помолчав немного, полковник, — Ты по-прежнему недоволен твоей службой?

— Разумеется, недоволен. Адская скука! Зачем только вы меня на нее определили?

— Мой милый, тебя и сюда определить было нелегко. Не забудь, что ты вышел из Пойнта предпоследним.

— Я действительно вышел предпоследним, но только из-за математики и поведения. Конечно, лучше было бы выйти последним. Это было бы хоть эффектно: последний в выпуске!

— Годишься ли ты вообще для военной карьеры? А если нет, то для чего ты собственно годишься? Не так давно ты хотел избрать специальностью музыку, и действительно у тебя были способности...

— Гениальные! Но вы считали бы семейным позором, если б ваш племянник стал каким-нибудь жалким композитором, вроде Вагнера.

— Ты становишься хвастуном! — сказал полковник. Он знал, что Джим не страдает манией величия, а, напротив, совершенно в себе не уверен; просто усвоил странную манеру речи.

— Нет, я не хвастун. У меня всё зависит от настроения. Иногда я чувствую себя победителем и даже нахалом, вроде как барышня, выставляющая свою кандидатуру на звание Мисс-Америка. А раз как-то на пароходе я увидел на дверях уборной надпись: «Gentlemen» и чуть не спросил себя, имею ли я право войти.

— Это уж, конечно, преувеличение в другую сторону, — сказал полковник, засмеявшись. — В том, что ты джентльмен, не может быть сомнения, но мы говорим не об этом. Молодых людей, играющих на рояле, очень много.

— Но *как* я играю! Я несравненный знаток! У меня даже

есть музыкальный словарь Римана, в который я впрочем никогда не заглядываю, как большинство пианистов.

— Перестань шутить, я говорю очень серьезно. Если б я думал, что из тебя может выйти Вагнер, я первый тебя благословил бы на музыкальную карьеру, — сказал полковник, не вполне искренно. — Но этого не видно. Ты просто «эстет», — довольно пустая порода людей. У тебя были способности и к литературе. Когда у человека слишком много разных способностей... — Полковник не докончил фразы, увидев огорчение племянника. — Как бы то ни было, ты записался в армию добровольцем и прекрасно сделал. На зло тебе, война кончилась как раз тогда, когда кончилась твоя военная подготовка. Но если б ты попал на войну, ты был бы очень разочарован. Война могла быть поэтической в былые времена. Теперь в ней ничего поэтического нет. А новая война была бы просто бойня. Романтики не будет уже потому, что впервые в истории гражданское население будет подвергаться еще большей опасности, чем армия. Тебе никак не удастся рисоваться перед нью-иоркскими барышнями: барышен будет убито больше, чем офицеров.

— Особенно, чем штабных. С тех пор, как существуют аэропланы, между штабами установилось молчаливое соглашение: Фош не бросал бомб на Гинденбурга, а Гинденбург на Фоша; немцы в Африке не старались убить Монтгомери, а англичане не пытались убить Роммеля. Это было бы не элегантно.

— Едва ли не единственный род военной службы, где еще сохранилась романтика, это мой: разведка.

— Отчего же вы меня туда не отдали?

— Не скрою, у меня были колебания. Ты не очень подходящий человек для этого дела. Так ты недоволен работой в Public Information? Что ты собственно там теперь делаешь?

— У меня очень много работы. Прежде всего мне нужно было заучить, какие именно державы входят в Северо-Атлантический союз!

— Да это всякий знает.

— Едва ли знает сто человек на земле. Попробуйте перечислить, дядя.

— Соединенные Штаты, Англия, Франция, Италия, Греция, Турция, Бельгия, Голландия, Дания, Канада... Норвегия... Исландия...

— Браво! Но это только двенадцать, — сказал лейтенант, загибавший пальцы во время подсчета. — А еще две?

— Странно: не могу сейчас вспомнить.

— Вы забыли Португалию!

— Да, правда.

— И Люксембург! Вы забыли Люксембург с его мощной армией!

— А что ты изучил еще?

— Помилуйте, а имена! И какие имена! Знаете ли вы, как зовут представителя Голландии? Его зовут Алидиус Вармольдус Ламбертус Тиарда ван Штарненборг Стакхувер! Попробуйте повторить! И еще хорошо, если я произношу правильно!

— Вижу, что делами тебя не переобременяют. Думаю, что и продвижение твое по службе будет медленным. Это тебя не слишком огорчает?

— Огорчает, но не слишком.

— Я знаю, ты не честолюбив. Или вернее ты сам не знаешь, честолюбив ты или нет. Думаешь ли ты когда-либо вообще о своем будущем: не о нынешнем дне и не о завтрашнем, а о будущем?

— Думаю, — ответил Джим. Хотя сказал он это с чувством обиды за то, что дядя так мало его понимает, уверенности в его тоне не было.

— А по-моему, ты никогда и вопроса себе не задаешь: «Чего я хочу? что я умею делать? что я буду делать в жизни?» Ты умен, я не сказал бы даже, что ты не *умеешь* думать: ты просто не пробовал.

— Это было бы очень грустно, если б было так. Но это не так. Я думаю очень много.

— Быть может, только тогда, когда ты говоришь. Такие

люди есть. Если б я спросил тебя, *о чем* ты думаешь, ты не мог бы ответить. Мой милый, ты, к несчастью, усвоил себе странное, не то шутливое, не то ироническое, отношение к жизни: надо, мол, проводить ее по возможности веселее, а серьезного ничего на свете нет. Серьезное на свете есть.

— Вы преувеличиваете, — сказал Джим. «Может быть, дядя говорит и правду, но странно, что говорит это именно он. Человек, прослуживший всю жизнь в разведке, не должен был бы впадать в тон Эмерсона», — подумал он. — Вы очень преувеличиваете. Я думаю много, и не тогда, когда я *говорю,* а гораздо больше дома, один, за роялем, за письменным столом. Если же вы хотели, чтобы я стал «серьезнее», то, повторяю, зачем вы меня определили в самый пустой отдел в Роканкуре?

— Тебя не хотели брать в другие отделы. А я думал, что тебе будет полезно увидеть Европу, усовершенствоваться во французском языке...

— Я говорю по-французски гораздо лучше, чем Айк, или Уинни, или герцог Виндзорский. Их и понять нельзя, когда они по радио произносят несколько будто бы французских фраз. А я и арго знаю как парижанин.

— Смотри, как бы у тебя шутливое хвастовство не перешло в настоящее, это бывает. Ты действительно получил хорошее воспитание, я для этого ничего не жалел. Ты знаешь и то, что ты мой единственный наследник. Только, пожалуйста, не желай мне скорейшей смерти, — пошутил полковник. — Тем более, что, если б тебе и теперь понадобились деньги, я охотно дал бы тебе аванс под наследство. Конечно, при условии, что эти деньги будут тебе нужны для чего-либо дельного. Тогда напиши мне.

— От души благодарю, приятно слышать. Вы и всегда меня баловали, дядя, и я этого не заслуживаю. О чем же вы хотели со мной говорить?

Полковник еще немного помолчал.

— Хотел ли бы ты работать в том же ведомстве, что я?

— Вот оно что! Вы хотите взять меня к себе?

— Не «к себе». Я просто хочу дать тебе одно поручение. Ты пока остался бы на своей должности.

— Разве это можно?

— Это делается. Ты будешь временно отчислен от своей работы и поставлен на другую. А там будет видно. Я сегодня испросил на это согласие генерала. Он тебя не знает.

— Я представлялся ему два раза!

— Ему представляется много людей, он вас всех знать не может. Он помнил только, что у меня здесь есть племянник. Собственно в том, что я заговорил с ним о тебе, было некоторое нарушение порядка. Но мы с ним старые друзья. Я ему сказал, что́ мне нужно, и он дал согласие или, точнее, обещал закрыть глаза.

— Разве вы хотите поручить мне что-либо незаконное?

— Многие наши действия проходят несколько мимо правил. Тем не менее генерал отнесся к делу благодушно. Спросил меня, хорош ли ты собой.

— Дядя, скажите же, ради Бога, в чем дело! Сюда замешаны женщины?

— У тебя даже глаза заблестели. Не женщины, а женщина.

— Красивая?

— Очень. Не торопись радоваться: она шпионка.

— Не томите меня, дядя! Что мне Гекуба, особенно Гекуба-шпионка?

— Она посылается сюда, чтобы узнать наши военные секреты. Прежде, чем продолжать, я хочу, чтобы ты мне твердо обещал: всё это останется совершенной тайной.

— Клянусь моей жизнью! — сказал торжественно Джим и даже приподнял было руку.

Полковник поморщился.

— Ты сорви-голова и своей жизнью не очень дорожишь. Вместо клятв, дай мне просто честное слово американского офицера, что всё сказанное мною останется совершенным секретом.

— Разумеется, даю слово.

— Для поступления в наше ведомство тебе придется пройти разные формальности, не стоит об этом пока и говорить. Сейчас вопрос только в одном пробном деле. Если ты исполнишь мое поручение хорошо, можно будет поговорить о твоем переходе к нам на службу. Это очень тяжелая служба, но она интереснее твоей нынешней.

— Дядя, откуда же вы знаете, что к нам сюда посылают красавицу?

— У нас не полагается спрашивать начальство о том, чего оно само не сообщает... Они тайно подсылают и в Соединенные Штаты своих агентов в большом числе...

— «Тайно»! Не могут же они испрашивать у вас на это разрешения. Это было бы, как если б во время войны одно правительство просило другое выдать визы для вторгающихся солдат!

— Ты сам говоришь: «во время войны». Холодная война действительно идет, и мы тоже не можем действовать исключительно законными способами... Тебе пришлось бы вступить в связь с этой дамой, — сказал, наконец, полковник.

Джим вытаращил глаза.

— Вот никогда не думал, что услышу такие слова от вас, дядя!.. Вы только что меня спрашивали, не собираюсь ли я жениться!

— Поэтому и спрашивал. Если б ты был влюблен, я тебе этого дела и не предложил бы.

— А если ваша шпионка мне не понравится? Что тогда?

— Глупый вопрос. Нет, в самом деле лучше останься в твоем ведомстве.

— Где же эта Гекуба? Как я с ней познакомлюсь?

— Я тебе сообщу ее приметы, сообщу, где она живет, в каком ресторане обедает. Лучше всего познакомиться с ней именно в ресторане. Остальное будет твое дело. Ты должен будешь повезти ее в Роканкур и показать ей, как журналистке, ту печь. Ее показывают журналистам. Этой печью будешь заведывать ты, по крайней мере в течение нескольких дней. Затем ты в нее «влюбишься».

— В печь?

— Ты ей передашь некоторые документы, которые мы тебе приготовим.

— Понимаю: дезинформацию!

— На этом твоя роль кончится.

— Роль сомнительная... Никак не ожидал от вас!

— Что-ж делать, приходится идти и на такие дела. Если это делается для родины, то тут ничего плохого нет.

— Я до сих пор сходился с красивыми женщинами и не для родины. А для родины готов тем более.

— Тшорт! — сказал полковник.

X

Как только пароходик остановился, Наташа, уже с час ходившая по набережной, издали увидела Шелля и побежала по длинному валу, обгоняя носильщиков с тачками. Он поднял руку, быстро пошел к ней, обнял ее и поцеловал. От него пахло вином.

— ...У тебя прекрасный вид... Всё благополучно? Здорова? Довольна Капри?

— Это просто рай!

— Не всегда. Всё на этом острове зависит от погоды. Если погода плохая, то население разоряется, и тут смертная тоска.

— Погода всё время чудная! А как ты?..

— Ты не кашляла?

— Ни разу не кашлянула, — ответила она весело, хотя этот вопрос чуть ее огорчил: значит, всё-таки он не уверен, что это пустяки.

— Ну, слава Богу, — сказал он и заговорил по-итальянски с носильщиком, который принес с парохода его чемоданы. Наташу удивило, что их так много: пять или шесть, все превосходные. «Неужто он и здесь будет менять костюмы каждый день, как в Берлине!» Его элегантность была чем-то из другого, неизвестного ей, малопонятного мира и, быть

может, именно поэтому ей нравилась. — «А вот лицо у него измученное!» — думала она, когда он с носильщиком укладывал чемоданы в красный вагон фуникюлера. Другие пассажиры с любопытством на них смотрели, и это тоже доставляло Наташе удовольствие. На встречу им спускался другой маленький вагон с уезжавшими людьми. Она подумала, что через десять дней, всего через десять дней, надо будет и им покинуть этот дивный остров.

В «Квисисане» Шелль не остановился: сказал, что там мог бы встретить знакомых.

— А я никого, кроме тебя, видеть не хочу! Недалеко есть очень хорошая гостиница, я в ней жил года три тому назад. Спросим там.

В этой гостинице его узнали. Был недурной номер, но хозяин предложил за те же деньги отдельный домик, расположенный довольно далеко, внизу его круто спускавшейся большой усадьбы.

— Помню, помню. Это было что-то древнее, вы тогда перестраивали. Пожалуй, — сказал Шелль, немного подумав.

— Я устроил там две ванны. Сдаю так дешево потому, что это вы, синьор. И еще, скажу правду, многие не хотят подниматься по несколько раз в день. Но синьоры молоды и крепки.

— Синьора не моя жена. Она уже имеет комнату. Что-ж, ведите нас в этот домик.

Он и по-итальянски говорил свободно, даже щеголял разными «mamma mia!» Втроем они спустились по древним крутым каменным лестницам в саду. Домик был тоже древний, с очень большой комнатой в три окна, с двумя спальнями, с мраморными статуями, с огромными каминами.

Когда хозяин ушел, Шелль опять обнял Наташу.

— Хочешь жить здесь со мной? Я что-нибудь для него придумаю, да их это и совершенно не интересует.

— Никогда. Ты знаешь, что...

— Да, знаю, знаю, — сказал он с нетерпеньем. — Хорошо, не будем спорить. Всё равно, мы...

— Что всё равно?

— Ничего... Милая, мне надо выкупаться, побриться, переодеться. Это займет не меньше получаса.. Ты подождешь меня здесь или там, в главном доме, в гостиной?

— Это не особенно удобно, — сказала Наташа, краснея. Он засмеялся.

— «Что они подумают», да? О, чудо природы! Не воспитывалась ли ты в пансионе для благородных девиц где-нибудь в Испании? Ну, так вот что. Если неприлично подождать меня здесь, тогда пойди на Пиацца Умберто и посиди в кофейне, на террасе. Там, кажется, несколько кофеен, я тебя найду. Ты знаешь, как пройти к Пиацца Умберто? Это здесь единственная площадь.

— Я уже знаю Капри как свои пять пальцев.

— А это не неприлично сесть одной за столик в кофейне? Слава Богу! Что же ты здесь делаешь целые дни? Всё читаешь? Кстати, я тебе привез маленький подарок. Нашел у букиниста старое издание Тургенева.

— Спасибо! Ах, как я рада! Я ужасно люблю Тургенева, «Вешние Воды» и «Первая Любовь», это самые любимые мои книги! Не слишком дорого стоило?

— Нет, не слишком дорого.

Вырываясь хоть ненадолго из своего мрачного мира разведки, Шелль всегда чувствовал необыкновенное облегчение. Теперь действительно, кроме Наташи, никого видеть не хотел. Люди его раздражали. В поезде соседи по отделению вызвали в нем что-то близкое к отвращению. «Кажется, попал в передовую, просвещенную компанию. Верно едут на какой-нибудь передовой, просвещенный съезд»... Он ни с кем не обменялся ни одним словом; тотчас, для предупреждения разговоров, развернул газету, но не читал ее. «Так и есть. Этот азиат бранит Соединенные Штаты за их «не-духовность», возмущается тем, что они дарят слишком мало денег азиатским странам. Зато верно очень восхищается советским правительством, хотя оно отпускает им товары за

плату и по высокой цене. Конечно, из сподвижников Неру, так, так... А эта в фиолетовом платье с кружевами, в очках, тоже страшно передовая, вид самый что ни есть идейный и горделивый. И все они, очевидно, пристроились к разным казенным пирогам, получают большие жалованья. Женятся на богатых — разумеется, не из-за богатства, богатство только случайно пришлось, а у них, видите ли, общность идей... И только я один ничего для себя не нашел, дожил до пятого десятка, ничего не добившись, ничего не имея, купаясь в грязи... Я даже и чувствую себя с ними приблизительно так, как человек, явившийся в грязном пиджачке на вечер, где все во фраках или в смокингах... Так и есть!» — почти радостно подумал он, узнав из разговоров соседей, на какой съезд они отправляются. — «Всё дело в копеечке, несмотря на необычайно идейный и достойный вид. Пропади они все пропадом!» — думал он, утешаясь, как всегда, сознанием своего огромного физического превосходства над этими людьми. «Мог бы каждого задушить как цыпленка».

Он стал думать о Наташе. — «Точно свет зажегся в душе!.. «Банальная история»! Да разве любовь всегда не банальна, и в жизни, и в искусстве? И счастье тоже банально, и слава Богу! Кроме нее, у меня ничего нет и не будет. Я как те правоверные мусульмане, которые будто бы когда-то выкалывали себе глаза, увидев гробницу Магомета: выше, чище этого ничего на свете не увижу», — подумал Шелль — по своему обыкновению «литературно». «Совершенно запутался! Оказалось, я не только прохвост, но и болван. Сам не знаю, чего хочу! «Ах, я безумно влюблен! — Ах нет, влюблен, но не безумно!..» Посмотрим, что будет при первой встрече. Будет ли хоть легкое разочарование?»

Он пил в вагон-ресторане, на вокзалах, пил даже на неаполитанском пароходике. Экзамен сошел прекрасно: не испытал никакого разочарования.

Всё же теперь, в ванне, неизвестно зачем, он попробовал восстановить мучивший его строй чувств. «В сорок лет человек не может быть влюбленным как Ромео... Да, надо при-

знаться, я всю эту поездку на Капри придумал для того, чтобы *овладеть* ею (и слово какое гадкое и пошлое!). Это не очень трудно, обычные приемы, ложь, хитрости, вино, удаются почти всегда. Но я не *могу*, просто не могу пойти на это. Значит, жениться на ней? Наташа только этого и хочет, только об этом и мечтает, и пытается, бедная, не показывать... Жениться с моим прошлым, с моей профессией, с необходимостью всё от нее скрывать?»

Три месяца тому назад первая мысль о женитьбе на Наташе показалась ему дикой. Потом он примерял себя к этой мысли, сначала, по долгой привычке, с насмешкой над собой, в циничной форме: «Потянуло на *свеженькую девочку*»... «Загадочная история или Любовь шпиона, трагедия в пяти действиях с прологом»... С первых же дней его раздражала именно *банальность* истории: падший человек с опустошенной душой влюбляется в чистую девушку. «Вроде как Лермонтовский демон». В душе он с молодых лет считал себя демонической натурой. «Что-ж делать, жизнь так же пошла, как кинематограф».

Понемногу его чувства перешли на другой лад: из цинично-насмешливых стали покаянными. «Да, был опускавшийся, внутренно опускавшийся человек. Но павших людей вообще очень мало, есть падающие и поднимающиеся. Мой путь был от добра к злу, — вдруг с обратным билетом? Меня лет двадцать тяготит моральное одиночество, да и одиночество просто, мы ведь живем как на необитаемом острове... Я иногда на аэропланах думал: хорошо бы, если б он свалился и всё было кончено. Может быть, впрочем, перед собой и лицемерил: нет, и жить хорошо, покончить с собой никогда не поздно, разные мелкие радости остаются, шампанское остается... Жениться? Это теперь и практически почти невозможно. Как я женюсь, когда нет денег и получить их можно, только оставаясь в разведке?»

Когда-то случалось, что денег у него не было совершенно. Но это было давно, он отвык. «Прежде тысяча долларов

казалась почти богатством. Теперь это месяц жизни, в крайнем случае два месяца, если отказывать себе во всем». В последние годы он много зарабатывал. Спрос на его труд, из-за положения в мире, стал очень большим. Кроме того, он обычно играл в карты счастливо. В Берлине же — «как идиот!» — проиграл около сорока тысяч марок. Шелль давно поставил себе правилом не огорчаться из-за совершенных ошибок и не думать о том, что было уже непоправимо. Однако не все правила можно было соблюдать. Воспоминание о проигранных деньгах становилось всё тяжелее.

Полковник предлагал дать аванс в две тысячи долларов. Шелль в самом деле дорожил жизнью меньше, чем ею дорожит громадное большинство людей. Кроме того, поручение было интересное. И, главное, в случае успеха ему была обеспечена сумма, которая, пожалуй, позволила бы бросить давно надоевшую ему, рискованную, изнашивающую человека работу. Он об этом мечтал, хотя совершенно не знал, чем другим мог бы заняться. «Дело заняло бы около трех-четырех недель. Положим (всё еще думаю с «положим»), я мог бы придумать для Наташи предлог. Объявлю ей, что должен уехать для ликвидации дел. Оставлю ей пятьсот долларов. Как проклятой Эдде», — с отвращением подумал он. — «Она будет где-нибудь в Италии работать над своим отзовизмом. Какой же адрес я указал бы ей для писем? И как я стал бы писать ей? Можно было бы, правда, оставить для отправки письма у полковника. «Милая, милая Наташа, когда ты получишь это письмо... Помни однако, что я»... — мелькали у него готовые трогательные фразы. «Если же дело удастся, то всё в порядке. Тогда можно будет от нее скрывать и дальше. Ох, не хочется ехать. И страшно... Конечно, боюсь. Вернуться оттуда мало шансов. Я всё-таки не камикадзе. Как же поступить иначе? Если б было хоть немного денег, переехал бы в Южную Америку... Прямо сказать Наташе, что я разорился, что у меня больше ничего нет? Она верно бросилась бы мне на шею и с восторгом сказала бы, что так гораздо лучше, что она будет работать. — Он невольно

усмехнулся при мысли, что будет жить на «отзовизм». — А то сказать ей всю правду?»

Об этом тоже он не раз думал в Берлине, даже подробно всё себе представлял: «Обед, водка, шампанское. Слово за слово: «Ты любишь негодяя!».. Слова «негодяй» не скажу и после шампанского. «Ты любишь *падшего человека!*» — — Нельзя!» — отвечал он себе и тогда, невольно удивляясь комедиантскому началу в своем характере. — «А как поступила бы она? Ушла бы от меня «с расширенными от ужаса и отчаяния глазами»? Нет, это тоже был бы кинематограф, а уж в ней-то пошлости нет и следа. Я подал бы всё как можно благороднее, рассказал бы ей о своем прошлом, о том, почему пошел этой дорогой, дал бы «идейные мотивы», как Эдде. И это тоже ничего не смягчило бы: «Шпион!» Разумеется, нельзя! И не думать больше об этом здесь на Капри. Не портить себе этих двух недель, вырванных у каторжной жизни»...

Несмотря на его мрачность, запас бодрости ему был природой отпущен огромный. После горячей ванны он стал еще под душ, пустил воду только из холодного крана и через минуту вышел, стараясь не морщиться и не вздрагивать. Как почти всегда, полюбовался в зеркале своим торсом. «Ничего, придумаю что-нибудь. Во всяком случае хоть день да мой! И не день, а две-три недели. Не в этом ли смысл жизни: хоть день, да мой»...

. . . . . .

XI

Джим вышел из гостиницы Эдды на рассвете. Ночной швейцар хмуро принял сто франков и отворил перед ним дверь. «Разве отправить дяде телеграмму? Например: «Пришел. Увидел. Победил». Но телеграммы Джим не отправил. На улице он скоро протрезвился и подумал, что нет никаких оснований шутить.

Проделал же он всё очень хорошо. В час дня зашел в указанный ему дядей ресторан и тотчас узнал Эдду: полковник получил от Шелля ее фотографию. «Действительно, красива!» — Он был очень взволнован: отроду не видел шпионок. Все столы были заняты. Джим прошел по длинной комнате, вернулся, изображая досаду, затем остановился и по-французски попросил у молодой дамы разрешение занять место за ее столиком. Сел, преодолевая отвращение и страх, точно перед ним находилась змея. Немного помолчав, Джим спросил, можно ли взять карту блюд.

Эдда, тоже взволнованная — «вот повезло!» — по-английски ответила, что меню ей больше не нужно, она всё заказала. Чуть улыбнулась, всё же сохранила *неприступное* выражение лица. У полковника фотографии не оказалось, но он очень точно описал его Шеллю. «Девяносто шансов из ста, что это он!» — думала Эдда, — как удачно вышло!» Правда, Шелль сказал ей, что американский офицер каждый день завтракает в этом ресторане, — но вправду повезло: сам к ней подсел! Такая случайность могла бы показаться подозрительной; однако нее подозрение и не шевельнулось. Действительно, никак на разведчика не походил. У него лицо всегда прямотой и честностью (особенно же когда он лгал красивым женщинам). «Да, по виду, кажется, дура», — думал Джим. — «Да, по виду, кажется, дурак», — думала Эдда. «А вдруг всё-таки не он? Я живо выясню. если и не он, то беда невелика. Будет просто приятное знакомство». Оба спешно обдумывали план

— Вы прекрасно говорите по-английски, —

— Меня учили языкам с детства. Мой дед был владельцем большой гостиницы. Я швейцарская журналистка, — ответила Эдда. Так ей велел сказать Шелль. «Быть с первых же слов сообщать не надо

Джим тотчас объявил, что у него тетка владелица стиницы в Атланте. Никакой тетки у него не было, но,

его мнению, разведчику полагалось врать возможно чаще и возможно больше: надо только всё помнить.

— Ее зовут Мильдред Рессель. Она чудная женщина.

— Атланта это, кажется, в Соединенных Штатах? Вы американец?

— Я американский офицер. Служу в SHAPE. — Джим тоже подумал, что это сообщать с первых слов не следовало бы. Впрочем, он еще накануне решил вести дело именно в темпе Юлия Цезаря. «Ну, вот значит, и никаких сомнений нет!» — подумала Эдда. — Вы в Париже давно?

— Позавчера приехала.

— В первый раз?

— О, нет, я хорошо знаю Париж.

— Я тоже. Я здесь служу уже два года (он служил только год). Позвольте представиться...

Он назвал себя. Эдда назвала свою новую фамилию, по паспорту, который получила через Шелля. Лицо у нее становилось всё умнее и всё хитрее, а у него всё прямее и честнее.

— ...Вы похожи на один знаменитый портрет, только я не могу сейчас вспомнить, на какой именно! — сказал Джим. Он это говорил всем женщинам, за которыми ухаживал, и это имело неизменный успех.

— На какой же? Только не говорите, что на Жоконду! по-моему, она безобразна.

— О, нет, на современный портрет. Ван-Донген? Лазло? — Джим называл первые приходившие ему в голову имена. — Нет, не Лазло и не Ван-Донген... Вспомнил: Тревелиан! Габриель Джошуа Тревелиан! — радостно воскликнул Джим. Этого живописца он также изобрел, по каким-то бессознательным ассоциациям: Россетти был Габриель, Рейнольдс был Джошуа. — Вы живой Габриель Джошуа Тревелиан! Верно, вы знаете его портреты, они теперь завоевывают Америку. Он мой личный друг. («Запомнить: Габриель Джошуа Тревелиан»).

— Да, как же, я много о нем слышала. Я очень интересуюсь американской культурой. Так вы служите в SHAPE?

Что это такое? — спросила Эдда. Ее вопрос показался ей очень тонким. Сама Мата-Хари не могла бы вести себя умнее. — Я этого слова не знаю.

— Неужели? — спросил Джим и объяснил ей значение слова.

— Вот как? Ах, я так далека от всего этого! А кто здесь американский главнокомандующий?

«Либо она совсем идиотка, либо у нее какая-то очень хитрая комбинация. Но какая же комбинация тут может быть?.. Если все советские шпионы таковы, то Соединенным Штатам большая опасность не грозит?», — подумал Джим и объяснил, что главнокомандующий действительно американец, но он не американский главнокомандующий.

— Он Сакюр.

— Это фамилия?

— Нет, это сокращение составленное по первым буквам: Supreme Allied Commander Europe, — ответил он. К ним подошел лакей. Джим заказал дорогое вино и самые изысканные блюда из тех, что были в этом второстепенном ресторане. Считал это полезным для дела; кроме того, ему, как всегда, хотелось есть и пить. Перед Эддой стояла только маленькая бутылка минеральной воды. Он попросил разрешения налить ей вина. К концу завтрака они уже весело болтали.

Полной игривости еще не было, но она приближалась очень быстро.

— Хотите, проведем вместе вечер? Умоляю, не говорите, что вы заняты.

— Я и не говорю. Я не занята.

— Поедем в театр. В какой вы желаете? В Фоли-Бержэр?

— Ни за что! Я признаю только серьезный театр.

— С вами готов куда угодно, хотя бы на пьесу Корнеля во Французской Комедии! Я не думаю, чтобы иностранец, притом здоровый, нормальный человек, мог получать удовольствие от этих высокопарных стихов, но для вас готов и на эту жертву!

— Очень жаль, что вы не любите поэзии. Я сама поэтесса.

— Ради Бога, простите. Я обожаю современную поэзию! Прочтите мне ваши стихи!

— После того, что вы сказали, ни за что на свете.

— Я обмолвился. Я сказал глупость! Это не первая у меня и не последняя. Умоляю, прочтите.

— Нет, вы не стоите. И я не в настроении.

— Что нужно для вашего настроения?

— Любовь и вино.

— Мы проведем вместе чудный вечер.

— Как-нибудь в другой раз.

— Ни за что! Сегодня же! Я этого хочу! Приходите сюда обедать. Вы далеко живете?

— Я живу в этой гостинице.

— А я здесь завтракаю и обедаю. Разве вы не видите в этом перста судьбы?

— Ах, я всегда верила в судьбу!

— И я тоже. Мы будем встречаться каждый день. — Он хотел было добавить: «и каждую ночь», но это был бы уж чрезмерно-быстрый темп. Джим теперь почти и забыл, что Эдда шпионка. Разговаривал с ней так, как всегда разговаривал с красивыми женщинами. За ликером вспомнил и изумился. «Слишком много выпил. Не беда. Сегодня же дело будет доведено до победного конца! Или, вернее, до победного начала. «Veni, vidi, vici!» — повторял он себе.

В пьесе изображалась гостиная в стиле Второй Империи. Лакей ввел в нее молодого человека, они довольно долго и загадочно разговаривали. Понемногу создавалось настроение. В гостиной никак нельзя было погасить электрический свет. Звонок то действовал, то не действовал. Книг в комнате не было, но был нож для их разрезания. Была Барбедьенновская бронза; оказалось, что она очень тяжела, и молодой человек еле мог ее приподнять. Он хотел получить зубную щетку, но лакей ответил, что зубная щетка здесь не нужна. За-

тем лакей ушел и, последовательно появились две дамы. Одна из них был в голубом платье и поэтому не хотела сесть на зеленый диван. Согласилась сесть только на коричневый, и молодой человек ей его тотчас уступил. Оказалось также, что в гостиной в стиле Второй Империи очень жарко и что нет ни одного зеркала. Это повергло всех трех в тоску. Первая дама думала, что молодой человек — палач, но он решительно это отрицал. И понемногу выяснилось, что эта гостиная — ад.

Молодой человек был бразильский пацифист, он был расстрелян и проявил при этом трусость. Обе дамы рассказали о том, что было на совести у них. Первая дама спела парижские куплеты. Молодой человек слушал ее в раздумьи, закрыв голову руками. Так как зеркал не было, то первая дама предложила второй в качестве зеркала свои глаза. Затем вторая дама плюнула первой в лицо и целовалась с молодым человеком, а первая дама из ревности доказывала, что нельзя любить труса. Молодой человек объявил, что обе они ему противны. Он отчаянно зазвонил, но звонок не действовал. Он стал ломиться в выходную дверь, молил, чтобы его выпустили, соглашался подвергнуться самым страшным пыткам, лишь бы не оставаться в этой гостиной. Дверь, наконец, растворилась настежь. Наступило долгое молчание. Молодой человек передумал и решил не уходить из гостиной в стиле Второй Империи. Первая дама издевалась над ним. Вторая дама сзади бросилась на нее, хотела вытолкать ее, умоляла молодого человека помочь ей, тот отказался и сказал второй даме, что остается в аду из-за первой. Первая дама была этим радостно поражена, но он назвал ее гадюкой и стал снова целовать вторую даму. Первая же кричала в муках ревности. Молодой человек оттолкнул вторую даму и объяснил, что не может сойтись с ней в присутствии первой. Тогда вторая дама схватила нож для разрезания бумаги и пыталась им убить первую даму; та захохотала и объявила, что убить ее невозможно, так как они все ведь умерли. Вторая дама в отчаянии уронила нож. Первая дама его подхватила с пола и хотела себя убить, однако это было невозможно по той же

причине. Затем все опустились на зеленый и коричневый диваны и захохотали.

На этом пьеса кончилась. Она имела большой успех. Публика бурно аплодировала, — особенно многочисленные, странно одетые молодые люди. Из людей же более пожилых некоторые, как показалось Джиму, аплодировали нерешительно и как будто с недоумением. Автор был очень известный и очень модный писатель, вдобавок новатор, прокладывавший новые пути в драматическом искусстве. Эдда восхищалась, при особенно ценных и глубоких замечаниях ахала и подталкивала Джима. Он тоже аплодировал. Про себя думал, что во всей пьесе не было ни одного умного или хотя бы только остроумного слова, но признавал свою некомпетентность в литературе. Впрочем, Джим слушал не слишком внимательно. Спрашивал себя, не сделал ли в *работе* какой-либо ошибки. «Не надо было оставаться в ресторане до трех часов: она может себя спросить, как же этот американский офицер сидит в ресторане в служебные часы? И не слишком ли много я пил? Она впрочем пила не меньше меня. И ничего «змеиного» в ней нет, вздор! Просто...» Он благоразумно захватил с собой плоскую карманную бутылочку коньяку. «Куда же ее потом отвести?»

После спектакля они сидели в кофейне на отапливавшейся закрытой террасе.

— Я закажу шампанского. Хочешь? — спросил он по-французски, чтобы говорить на ты.

— У вас, американцев, всё «чампэнь», — передразнила его она, хотя у него акцент был очень легкий. — Кто же пьет шампанское так, в кофейне на террасе?

— Я хочу! — заявил он тем повелительным тоном, который принес ему немало успехов у женщин. К приятному недоумению лакея, он заказал шампанское, с видом богача-туриста, очень к нему шедшим и очень нравившимся Эдде.

— У тебя на лице экстаз! — сказал он, когда бутылка подходила к концу. — Я, конечно, привык вызывать у жен-

щин такие чувства, но старайся их не показывать, это непристойно.

— Ты глуп, очень глуп, потрясающе глуп... А что, если б я в тебя влюбилась?

— Я принял бы это к сведению, — ответил Джим. Собственно *техника* не менялась от того, что он имел дело с шпионкой. Джим рассказал не совсем пристойный анекдот. Эдда рассказала совсем непристойный. Затем он опять потребовал, чтобы она прочла ему свои стихи.

— Но, разумеется, не здесь!

— Так поедем в мою гостинницу.

— У тебя можно?

— This is a free country, — ответила она, смеясь уже почти полупьяным смехом. Эдда была уверена, что все американцы так говорят постоянно, по любому поводу.

Номер у нее был угловой, из двух комнат. Соседей не было и, несмотря на поздний час, можно было не стесняться. Они и не стеснялись. За коньяком Эдда читала ему французские стихи. Читала она то простирая вперед руки, то поднимая их к небу, грациозно наклоняясь и откидываясь назад. Эти жесты, особенно последний, на него действовали. Действовали и стихи.

Она в рубашке сидела у него на коленях и *вырывала у него тайны.* От нее пахло коньяком, папиросами, хорошими духами. Он подумал, не вырвать ли у нее какую-нибудь тайну, но вспомнил, что это в его задание не входит: дядя велел ни о чем ее не спрашивать, он должен был только — не сразу конечно, — выдать ей свой секрет.

Эдда была в восторге. Теперь она была Далила. В Священное Писание она отроду не заглядывала, это было уж совсем vieux jeu; оперу же видела несколько раз. Говорила, что признает только музыку конкретистов, и в Берлине угощала друзей пластинками Вареза и Антона фон Вернера, но по-настоящему она обожала именно Сен-Санса. В эту первую ночь Эдда еще не пыталась получить секретные документы. «Было бы неосторожно, да и не носит же он их при себе в

карманe». Для первой ночи вполне достаточно было только узнать, — «в чем великая сила его». Джим в пьяном виде и сам немного чувствовал себя Самсоном. Хотел было даже для начала выдумать что-нибудь вроде семи сырых тетив, которые не засушены, и потом «разорвать тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь». Но ничего не мог придумать. Задание было простое, и он *выдал* ей, что заведует в Роканкуре печью, где сжигаются самые важные, секретнейшие документы.

XIII-XV

. . . . . .

XVI

У Эдды было намечено два варианта. По первому она искусно похищала у Джима секретные документы, отдавала их для фотографирования (ей было указано, куда надо отдать), он оставался чист, и всё было в совершенном порядке. Трудность была в том, *как* похитить. Эдда долго ломала себе голову и ничего не могла придумать. «Ведь он прямо со службы увозит их в печь? Мой картежник, верно, придумал бы план. Запросить советского полковника? Но он такой хам, так сухо тогда со мной разговаривал! И это значило бы погубить свой престиж: «познакомиться ты с ним познакомилась, а больше ничего сама выдумать не можешь!» Она уже послала полковнику указанными ей путями свое первое победное донесение. Тщательно его зашифровала, ей для этого был дан толстый словарь: надо было каждое слово обозначать страницей и порядком слова на странице. Зашифровка заняла у нее часа два; она работала с ужасом и с наслаждением, заперев на ключ дверь своего номера.

Второй вариант был гораздо более драматический: следовало *совратить* Джима. В подробностях обдумала: «Вино, очень много вина. Затем оргия!?» — на тему оргии уже заду-

мала поэму, где говорилось о страстных лобзаниях и безумных объятиях — перечеркнула: страстные объятия и безумные лобзания. Была замечательная аллитерация и совершенно новая рифма: «поблекла» и «Софокла». «Потом сказать Джиму *всё:* я шпионка! Мне поручили тебя выслеживать и через тебя узнать тайны Роканкура! Шпионкой же я стала никак не ради денег, а по убеждению: у коммунистов правда, они спасают мир от ужасов новой войны, надо им служить! Но со мной случилось несчастье: я вдруг безумно в тебя влюбилась! Теперь реши всё сам! Если хочешь, убей меня! Если хочешь, сообщи твоему начальству, и меня казнят! Но если ты меня любишь, порви с твоим прошлым, стань моим единомышленником, будем работать вместе!..»

Этот вариант умилял ее до слез. Впрочем, и у него были серьезные недостатки. Джим говорил, что безумно в нее влюблен, да это было и совершенно очевидно. Всё же она не была уверена в том, как он поступит. «Быть может, в самом деле тут же меня убьет! Хотя это маловероятно. И как же он меня убьет? Звонок — над кроватью. Если он схватит меня за горло, я зазвоню, дверь оставлю отворенной... Нет, он поднимется на постели — и уйдет. Тогда я тотчас улечу в Германию. Виза есть, деньги есть. Если даже он такой подлец, что пойдет доносить ночью, — нет, ночью нельзя, некому, подождет до утра, — то во всяком случае я улечу во время. Денег полковник тогда больше давать не будет, но и я ему остатка не верну. Буду в Берлине ждать картежника. Если же Джим согласится — не может не согласиться, он так в меня влюблен! — то всё будет чудно. Мы доставим документы, получим деньги и уедем в Италию». Тут, правда, было новое осложнение: она очень рада была бы поехать в Италию с Джимом, но не хотела надолго расставаться с Шеллем: «Оставишь его без надзора — ищи ветра в поле»...

Как бы дело ни сложилось, несомненно была налицо *игра жизнью*, — то самое, что ей больше всего нравилось в литературе и в кинематографе. Решила еще немного подумать. Назначила дату для оргии, на случай второго варианта: 13-ое

марта, это была пятница, — совпадение тяжелого числа с тяжелым днем, — она бросала вызов судьбе. «Так ему и скажу: «J'ai lancé un défi à la destinée», по-английски это выходит хуже»... Долго с наслаждением всё себе представляла: он рыдал, затем падал перед ней на колени и клялся ей порвать со своим народом, со своими родителями, с братьями, — «теперь у меня ты и только ты!» Затем они опять пили шампанское и она читала ему стихи. Затем они отправлялись в Венецию и вечером, при луне, обнявшись, плыли на гондоле... «Gentille gondolière, — dit le pêcheur épris, — je cède à ta prière, — mais quel en sera le prix?»..

Осуществился именно второй вариант, лишь с самым незначительным отклонением от выработанной программы. Шампанского Эдда не купила: слишком *радостное* вино, к такому случаю не подходит, да и где же заморозить ночью? Заменила его бутылкой коньяку. Так выходило и дешевле, — полковник дал ей не очень много денег. Между тем расходы были большие. Она купила для оргии ночную рубашку из черного крэп-де-шин с черными же кружевами, длинную, в талию, похожую на платье, très travaillée, от Лебиго; давно о таких мечтала, это и подходило лучше, чем пижама; заплатила десять тысяч франков. Эдда думала, что шпионкам платят деньги, не считая. Оказалось не так.

Всё сошло как нельзя лучше. Он возил ее в Роканкур и показал ей печь. Там отдал толстый пакет, который тут же при них был сожжен. Она видела, что он распоряжается печью, как хочет. К концу же пятой оргии Эдда — правда, не очень кстати — восторженно заговорила о русской музыке и балете. Джим был с ней искренно согласен: любил русскую музыку и балет. Затем она сказала, что на современную Россию клевещут. Он не спорил и с этим: действительно клеветы немало. Она ругнула американское правительство. Он поддержал. Минут через десять Эдда объявила ему, что служит советской власти, несущей мир и счастье всем народам. Джим не схватил ее за горло. Еще минут через пять он стоял перед ней на

коленях и *восклицал,* что ее народ будет его народом, что для него нет больше ни отца, ни матери, ни братьев (их впрочем у него и в самом деле не было). Джим вспомнил фильм «Тарас Бульба», который видел в Париже. Знал, что играет он не очень хорошо, и всё больше удивлялся: «Неужто такая дура может быть шпионкой! Правда, дядя говорил, что в его ведомстве дураков еще больше, чем психопатов».

— ...Я принесу тебе одну очень важную информацию, — сказал он, *задыхаясь.* — Но ее в тот же день надо будет бросить в печь. Пусть твои ее быстро сфотографируют.

— Не «твои», а наши! Ты теперь наш! Мы будем работать вместе!

— Для тебя я предаю родину! Теперь у меня больше никого нет, кроме тебя! Мы вместе бежим!

Он получил письмо от дяди. Полковник поздравлял его с успехом и сообщал, что ему будет дан для дуры важный пакет и что отдать его надо непременно 18-го марта. «Вижу, что у тебя угрызения совести. Помни однако, что ты это делаешь не для себя, а для отечества», — писал полковник, с трудом выдавливавший пышные слова. — «Кроме того, дуре никакая опасность не грозит. Пусть она уезжает из Франции куда ей угодно. Судя по тому, что ты о ней сообщаешь, она нам больше ни для чего не нужна. Постарайся спровадить ее поскорее. Если это необходимо, можешь уехать с ней ненадолго и ты. Отпуск и деньги тебе будут даны. Ты окажешь делу большую услугу. Скажу правду, я предпочел бы, чтобы ты расстался с ней по возможности немедленно. Но если иначе нельзя (слова были подчеркнуты два раза), то поезжай в Италию и расстанься с ней там. Дай ей от себя сколько признаешь нужным, — всё-таки не очень много: казенные деньги надо беречь еще больше, чем собственные. На досуге ты подумаешь, хочешь ли ты и дальше работать в нашем деле. Кстати, скоро буду в Италии и я. Мы могли бы встретиться в Венеции».

Пакет был действительно очень важный. Запершись у себя в кабинете и почти никого не принимая, полковник работал целый день и часть ночи, испытывая чувство, очень близкое к тому, которое называется вдохновением. В его деле преобладала мрачная, злая проза, часто отравлявшая ему жизнь. Но порою он находил в своей работе и настоящую поэзию: так необыкновенны иногда бывали замысел, осложнения, комбинации, психологическая игра. Дезинформация относилась к атомным бомбам, к их числу, мощности, распределению по местам. Составлено всё было необыкновенно искусно, особенно письмо из Пентагона Сакюру. Это было opus magnum всей жизни полковника.

(Продолжение следует)

М. Алданов

СТЕНЫ

Ни на кого не променяю
Тебя, — ни прелести твоей.
Я ничего не забываю,
Живу сияньем прежних дней.

И если в сердце нет измены,
Оно открыто чудесам.
Печальна ты... А в окнах — стены
Растут всё выше к небесам.

Но пусть растут они огромней,
Пусть холоднее милый взор,
Я только близость нашу помню,
И солнце в окнах, и простор!

18 декабря 1932, Париж

З. Гиппиус

ПАДЕНИЕ ТИТАНА*

РАЗГОВОР ФЕДОРА НОВИКОВА С МИХАИЛОМ ГОРИНЫМ

Наступило молчание. В комнате сразу стало тесно. Два человека остро, смертельно ненавидели друг друга. Федору вдруг захотелось выпить стакан вина. Он сел за стол, откупорил бутылку. — Простите, Михаил Алексеевич, что ваше вино пью, — сумрачно усмехнулся он. — Но, право, я принес бутылку, чтобы вместе с вами отпраздновать наш договор. Вместо этого я вынужден заливать свою неудачу. Печальный удел.

Михаил, продолжая стоять к нему спиной, не пошевелился.

Федор вдруг спросил писателя: — Зачем вы вернулись из-за границы, Михаил Алексеевич?

Михаил вздрогнул.

— Что, испугались моего вопроса? — усмехнулся Федор, и в глазах его загорелись злорадные огни. — Небось, сами сотню раз об этом себя спрашивали. Пальцы ломали, скрипели зубами. Да, это была ваша первая ошибка, Михаил Алексеевич. Сидели бы себе на Капри среди чудес Средиземного моря, подписывали бы манифесты в пользу Советов, протесты против линчевания негров, играли бы в гуманиста и получали бы гонорары.

— Даже слепая собака приходит умирать в родной дом,... — тихо произнес Михаил.

— И там ее добивают, потому что она слепая... Нет, не спорьте. Вы сделали ошибку, когда приехали три года назад в Россию. И знаете что? Русский народ, желая вам добра, погубил вас. Он погубил вас своею любовью. Когда на площадь перед Курским вокзалом под дождь собрались без всякого при-

---

* Мы печатаем эти два отрывка из романа «The Fall of the Titan» по русскому тексту, присланному нам автором, с любезного разрешения издательства *W. W. Norton and Company*. — *Ред.*

нуждения (заметьте, без всякого принуждения) сотни тысяч людей, чтобы встретить вас с небывалым энтузиазмом, тогда для многих проницательных людей стало ясно, что вы обречены. Видите ли, в России кричать аллилуя полагается только для одного человека. Вы, конечно, об этом не знали. Где же вы могли узнать о таких вещах? Вы витали под облаками на белых крыльях своих идеалов, вы были слишком заняты мечтаниями о счастье человечества, чтобы разбираться в таких пустяках, как судьба нескольких миллионов русских мужиков. Да, народ ошибся в вас. Народ считал вас смелым, правдивым, сердечным. Помните, как женщина упала перед вами на колени и, заливаясь слезами, просила вас заступиться за ее сына? Я слышал ее слова: «Михаил Горин, вы большой человек, у вас есть сердце...» Доброе сердце, вот что больше всего ценит народ в человеке! Русский народ изголодался по доброте. Он смотрел на вас, как на свою совесть. Но какая вы совесть? Вся страна вокруг корчится в судорогах, миллионы умирают в страшных муках, а вы не заметили ничего. Кто поверит такому абсурду? Нет, вы знали, вы обо всем хорошо знали, но вы притворялись наивным. Вам было выгоднее быть наивным, ибо так удобнее философствовать и играть в гуманиста.

— Почему вы так говорите? — спросил Михаил, обернувшись к нему и внимательно вглядываясь в его лицо. Оно было злое и отталкивающее. — Что с вами? Вы очень странно себя ведете. Я не узнаю вас.

— Вы еще узнаете меня! — Федор выпил залпом второй стакан вина. Кровь ударила ему в лицо, оно покрылось красными пятнами. — Вы многое узнаете, если не будете нарочно закрывать глаза. Почему вы не спросите, например, где домочадцы? Ведь они обслуживали вас три года, кормили вас, поили, убирали за вами, а вы их даже не вспомнили. Почему вы не спросите меня, где они?! — с неожиданной страстью крикнул Федор и стукнул кулаком по столу. — Знаете что, Михаил Алексеевич, вы любите человечество, но вы ненавидите, не переносите отдельных людей. Скажите, ведь это правда?

— Глупость! Пьяная чушь!

— Зачем вы притворяетесь передо мной?.. Но это не самое главное. Вот вы только что назвали меня автоматом и, конечно, считаете меня рабом. Себя же вы считаете свободным человеком, даже сейчас, находясь под арестом. Воображаю, как вы гордитесь собой: «Я арестован, но я свободен духом. Никто не в силах сделать меня рабом...» и прочее в этом роде. Не будучи писателем, я лишен таланта составлять красивые монологи, но ручаюсь, вы уже произнесли его. Он был для вас лучшей музыкой. И вы, конечно, смеетесь надо мной: «Вот, жалкий человечишко попытался сломать геркулеса духа, титана мысли. Надутый пигмей захотел было тягаться с горой и, конечно, опозорился, лопнул, сел в лужу. А сев в лужу, с отчаяния стал чуть ли не на коленях умолять меня, заклинать своей ничтожной, никому ненужной судьбой. И я с презрением отвернулся от него». Разве не так? Картина прямо для театра. Сильный, возвышенный дух победил земные, плотские соблазны. Прекрасно... То-есть, было бы прекрасно, если бы всё это случилось на самом деле. Но в действительности, Михаил Алексеевич, вы никого не победили. Это вы нарочно напевали себе монологи, как неизлечимо больной тешит себя заговорами. Ваша речь на свадьбе лучше всего отразила состояние вашего внутреннего мира. Эта речь была криком вашей души! Вы выли, потому что вам было больно, гораздо больнее, чем когда сержант бил вас по лицу и вязал вас веревками. До этих веревочек вы были уже связаны, Михаил Алексеевич, до этих веревочек! Ха-ха-ха! — Федор дико хохотал, глядя прищуренными глазами в лицо писателя.

Бледный, едва владеющий собой Михаил стоял перед ним с помутневшими от гнева глазами. Но вид его только раззадоривал Федора. Кроме того, бутылка подходила к концу. — Вы пьяны, — сказал Михаил. Он положил широкую ладонь на лоб, точно желая охладить себя. — И пьяный вы очень назойливы. Я этого раньше не замечал в вас.

— А «Иван Грозный?» Ну-ка, ответьте мне по чистой совести, как можно расценивать эту пьесу? — не унимался Федор. — Вы должны гордиться этой работой, свободный худож-

ник! Правительство наградило вас не зря. Как же! «Иван Грозный» было свободным творением свободного гения.

— Что вы хотите этим сказать? — резко спросил Михаил, чувствуя в словах ректора злобную иронию. Он подошел к столу. Федор поднялся, и они стали лицом к лицу. — Что вы хотите сказать своими словами? — повторил Михаил сорвавшимся голосом.

Федор пьяно ухмыльнулся, провел пальцем перед глазами писателя. — Тат-тат. Да я, кажется, задел вас по-настоящему, вы весь в огне. Я хочу сказать, что каждая строка этого прекрасного произведения написана в страхе Божьем... за свою шкуру. Вы думали снова войти в доверие к Сталину, чтобы он отпустил вас заграницу. Вы хотели хитростью исправить свою ошибку, которую сделали три года назад.

— Ложь! Чудовищная ложь! — вскричал Михаил. Он схватил Федора за воротник, встряхнул его. Федор не сопротивлялся. — Почему ты врешь, пьяная морда? Почему издеваешься надо мной!? — кричал Михаил вне себя.

— Ха! Да вы совсем рассвирепели, даже драться лезете. — Федор, вдруг перестав улыбаться, резко оторвал от себя руки Михаила. — Кажется, прав был Берия, когда сказал, что лучший аргумент интеллигента — кулаки. Вы дошли до предела — это хорошо. Может быть, в вас заговорит совесть, наконец, и вы не будете строить из себя невинную девочку. — Крупными шагами Федор начал ходить взад и вперед вблизи Михаила и отрывисто выкрикивал слова в такт шагам. За ним по стене металась тень. — Я следил за вами давно, Михаил Алексеевич. Когда вы писали пьесу, вы походили на игрока, играющего ва-банк. Вы были прижаты к краю пропасти и ваш «Иван Грозный» был отчаянным прыжком в неизвестность. Вы познали глубину падения: уже прозрев, уже не обманываясь ни в чем, уже охватив весь ужас своей страны, вы всё-таки нашли возможным своим талантом обелить диктатора... О чем еше говорить? Я кончаю. Обидеть вас я не хотел, да я и не мог бы — как не может оскорбить один раб другого. Но мне обидно видеть такого большого человека, как вы, так позорно при-

нужденного служить насилию, так беспомощно пытающегося спрятать отсутствие в себе человеческого достоинства. Обидно видеть, как образ героя, который я носил с детства в моей груди, рассыпается перед моими глазами в прах. Сейчас вы не герой для меня. Напротив, я считаю вас ниже себя, ибо вы лишены храбрости признать горькую правду, вы лицемерите и еще имеете нахальство спрашивать меня о чести и достоинстве... Так делайте, что вам приказано делать. Вот вам бумага и чернила. Продолжайте до конца свою карьеру. Раньше вы заблуждались или делали вид, что заблуждались. Теперь вы не смеете притворяться, вы видите — я знаю всё, вам нет смысла отпираться. Вы не имеете права смотреть на меня и на подобных мне с презрением, называть меня автоматом, марионеткой. Я хочу, чтобы вы делали свое дело, зная прекрасно, что вы раб, такой же раб, как я, как вся советская интеллигенция. Я хочу, чтобы вы исполняли с открытыми глазами волю диктатора. Я хочу смыть с вашего лица эту противную маску наивности и неведения.

— Вы сумасшедший, — прошептал Михаил белыми губами.

— С вами станешь сумасшедшим!.. Садитесь за стол и пишите. Теперь я даже не даю вам темы. Зачем? Вы достаточно опытны, чтобы сообразить самому. Зачем объяснять гулящей девке...

Федор не договорил. Дрожа всем телом, Михаил с глухим рычанием кинулся на него. В расширенных глазах его застыл ужас. Он был жалок и вместе с тем грозен. Федор хотел ударить его, но последним усилием воли сдержался. Он только обхватил Михаила за туловище и бросил его на кровать. В этот момент он ощутил мстительную, злобную радость и не стыдился ее. Тяжело дыша, он стоял над Михаилом.

— Я ухожу, Михаил Алексеевич. У меня есть одно неотложное дело. Один небольшой секрет... Но я вернусь к вам, и к тому времени взвесьте каждое мое слово и больше всего оцените одно: я говорил с вами откровенно.

И Федор вышел, сильно захлопнув за собой дверь.

КОНЕЦ ЛАРИНА

Большая голова Ларина лежала на стекле письменного стола. Под стеклом — во весь стол — карта Северо-Кавказского Края. Широкий, важный край, полновластным хозяином которого был Ларин. Край, размеры которого превышали Германию, а население — Швецию, как любил напоминать Ларин своим подчиненным.

Теперь по этому краю медленной лужей расплывалась темная кровь. Перепуганные «лучшие люди Ростова» стояли группой у двери нового Мирзояновского кабинета, глядели застывшими глазами на остатки того живого Ларина, которого они боялись, которому они завидовали, которому они подражали, начиная от львиной манеры держаться до привычки бриться в кабинете... Смотрели и не верили своим глазам. Мирзоян, с бледным осунувшимся лицом; Дуров, с дергающимися желваками; Каширин, окаменевший и совсем не воинственный. Жались друг к другу, боялись подойти к трупу.

— У него под рукой бумага, — заметил кто-то в толпе.

— Телеграмма как будто...

— Возьмите ее.

— Не надо! Подождите лучше Верия...

— Возьмите телеграмму! — чей-то возбужденный, почти истерический голос крикнул в толпе. — Мы должны знать из-за чего он застрелился!

— Прочти ее, Дуров, — прошептал бледными губами Мирзоян. Дуров подошел к столу и, приподняв тяжелую руку, сжавшую в мертвой хватке наган, взял телеграмму. Медленно прочитал ее, кивнул понимающе головой: «Вызов в Москву...»

Всё стало ясно.

Вошел Верия. Посмотрел на труп, прочитал телеграмму, запачканную кровью. Сплюнул ожесточенно на паркет.

— Дерьмо! — и выругался грязно и длинно. — Тоже герой! Советский человек должен и с женой спать, и помирать — не когда ему хочется, а когда Москва велит. Уберите его!

Протиснулся сквозь толпу в коридор. Там была давка. Окинув презрительно сотни застывших в испуганном вопросе лиц, крикнул визгливо:

— Чего толпитесь! Ничего особенного не произошло. Только дурак пулю в лоб пустил. Почему музыка прекратилась? Всем — приказываю — обратно валите в зал, танцы продолжать!

Вскоре послышались беспорядочные звуки румбы; музыканты с перепугу путали ноты.

Мимо Верия пронесли тело Ларина. Он даже не взглянул на труп; сверкнув пенсне, коротко приказал: — Товарищ Дуров, останьтесь со мной, — и вошел в кабинет, закрыв за собой дверь.

Толпа медленно расходилась. Кое-где слышались отдельные фразы: «Ничего не понимаю. На обеде он выглядел таким веселым...» — «И ел неплохо. Я сам нарочно следил...»

Да, Ларин во время банкета совсем не был похож на человека накануне смерти. Он шутил, улыбался и, казалось, совсем не замечал нахального поведения Верия. Он успел успокоиться, прийти в себя и, главное, успел принять кое-какие меры.

Первые минуты после митинга были ужасны. Была растерянность, смятение, боялся видеть людей. Но сердцем чувствовал, что итти домой, изолировать себя от событий, было бы подобно самоубийству. Поэтому с площади уехал в Крайком партии, огромное здание на улице Энгельса. Там была власть, там были нервы края, там было его спасение. Проходя в свой кабинет, он бросил дежурившему адъютанту: «Вызовите ко мне товарища Лебедева».

Сейчас как никогда надо было держаться доверенных людей, и не было у Ларина друга более верного, чем Лебедев. Кроме него да племянника — редактора краевой газеты «Молот» — не верил никому. Он знал, отступятся все, только отвернись от него удача.

Больших и многолетних трудов стоило Ларину подобрать вокруг себя преданных людей, душой и телом верных ему.

Хитро плел Ларин вокруг себя паутину, но влетела назойливая пчела — Верия, грозит разрушить всю его хитроумную нить и даже задеть его своим смертельным жалом.

Ларин сидел в кабинете, сжав виски, прислушивался. Всё тихо вокруг. Но он знал сердцем, что тысячи мозгов лихорадочно работали; кипит тайным волнением битком набитое здание Крайкома. Перешептываются, переглядываются, смотрят со злым недоверием друг на друга, гадают в предсмертной тоске, кто победит. Два лагеря, Ларина и Верия, приготовились к последней схватке. Ларин взял трубку телефона.

— Соедините меня с кабинетом редактора.

Тишина, потом через минуту ответ: — Товарищ Ларин, редактора нет в кабинете. Желаете говорить с его помощником?

— Нет, не надо. — Опустил трубку. — «Однако, долго не идет Лебедев. Пройти ему всего три минуты, спуститься с четвертого этажа на третий».

Во вторую дверь, ведущую прямо в коридор, кто-то тихо постучал. Эта дверь, толстая, обитая войлоком и кожей, была всегда заперта на ключ. «Лебедев, — подумал Ларин. — Только почему он, чудак, идет не через приемную?»

Ларин подошел, тихо открыл дверь. Внутрь быстро проскочил коренастый человек, крепкий, как кремень. Через большую голову — лысина, глаза спрятаны за хитрыми морщинами.

— Никто не заметил, в коридоре пусто, — произнес он, быстро оглядывая кабинет Ларина.

— Не во-время ты пришел, — сказал раздраженно секретарь. — Я жду Лебедева.

— Напрасно ждете, товарищ Ларин. Как раз о нем-то я и хочу вам сказать пару слов.

Коренастого человека звали Прохор — глаза и уши Ларина. Таких у Ларина было много, но этот был один из лучших. Прохор работал в секретариате у Верия. Доверял ему Ларин, и не зря: знал, предан он ему душой.

Раньше Прохор работал в редакции. Был неплохой заме-

ститель редактора, только имел один недостаток — любил выпить. Следил за корректурой, когда не было редактора, сам подписывал к выпуску газету. Но случилось, нализался Прохор не во-время и прозевал. Какой-то дурак наборщик пропустил в лозунге на первой странице рядом с именем Сталина одну букву. Получилось неприличное слово, а весь лозунг — политическая ересь. Так и вышла газета «Молот», поразив утром, как громом, читателей. Прохора вели на расстрел, когда его спас Ларин. А тот хитро повел дело, обвинил во всем редактора. Что ж, Прохор только охотно уступил своему начальнику почетное место у стены. А Ларин, вместо несчастливого редактора, поставил в газету своего племянника Ольгина.

После этого случая отрезвел Прохор. Стал серьезнее глядеть на жизнь и помнил даже во сне — не будь Ларина, не быть бы ему в живых. Ларин приютил его тоже со смыслом: в отделе второго секретаря. Когда Верия приехал в Ростов, Прохор уже был там, поджидал своего начальника. Только на новой работе развернулся полностью талант Прохора. Умно он играл свою роль: с виду простак, шутник, любитель выпить, а внутри: хитрый, храбрый и беспощадный как зверь лесной. Прохор сумел влезть в доверие к Верия, хоть и ненавидел грузина всей душой. Только читать мысли Верия Прохор не научился, а то всё знал. Шага не делал второй секретарь, о котором не было бы известно Ларину. Теперь он стоял, весь какой-то щетинистый, острый, смотрел нетерпеливо на Ларина, жмуря узкие глаза. Видно, принес важную новость.

Ларин запер дверь в приемную. Сказал коротко: — Говори!

Прохор оглянулся, подошел вплотную к Ларину и тихо прошептал в волнении: — Ольгин и Лебедев только что были у Верия.

Ларин широко раскрыл глаза — мутные, страшные.

— Ольгин, мой племянник?

— Да...

— Врешь! Не может быть... Смотри! Знаешь, что будет, если врешь?

— Разве я врал вам когда? Ну, ясное дело, пришли они сговориться... подлизаться. Пришли запуганные. Пока ждали в приемной, искурили дюжину папирос.

— Так... и что потом?

— Потом вышли весьма довольные. Очевидно Верия накачал их до-полна идеями, обозрел их. И они уже, разговорчики успели кое-где пустить: конец, мол, вам пришел. Некоторые начали пример с них брать.

Ларин подошел к окну, уставился наружу пустым взглядом.

«Ольгин, Лебедев, — думал он. — Самые преданные собаки перебегают, спасают свою шкуру. А мой племянник, как быстро он оправился. Что ж это? Неужто конец?»

— Плохи дела, — сказал он вслух. — Собаки, сволочи... Не ожидал... Ну, пускай, делать нечего... Спасибо, Прохор, больше ко мне не ходи... Не рискуй. Если всё обойдется, я не забуду тебя. — И вдруг, прижав рукой сердце, Ларин подошел к креслу, грузно опустился в него.

Не понимая еще, что происходит, Прохор подскочил к Ларину, помог ему сесть. Прохор никогда еще не видел его таким подавленным. Он молча смотрел на него, вдруг, тряхнув его за плечо, закричал:

— Товарищ Ларин! Товарищ Ларин! — Прохор ничего больше не мог выговорить. Лицо его исказилось от волнения, холодный пот выступил на белой лысине.

Вопль Прохора, страшный, почти звериный, вдохнул в сознание Ларина неожиданную силу самозащиты. Как степной ветер, ворвалась в его душу дерзость, разгоряченную голову охватил азарт игры в жизнь и смерть.

Он встал.

— Прохор, спрячься на минуту вот за этой занавеской.

Увидев резкую перемену в Ларине, Прохор почти весело махнул кулаком как бы говоря: «Так бы давно!» Спрятался за тяжелой занавеской окна.

Ларин открыл дверь в приемную, крикнул дежурному: «Принесите мне личные дела на товарищей Лебедева и Ольгина».

— Сию минуту!

Ларин сел за стол. Лицо бледное, но решительное. «Хорошо, — думал он, — вонючий поток предательства еще не поздно остановить. Только нужно действовать скорее, скорее... Всё дело в минутах — не сумею во-время принять меры, останусь один, без всякой опоры. Надо показать свою силу, пусть знают, что еще опасно играть со львом, есть у него острые клыки и когти!». Ларин ударил по столу: раздавил предателей.

Дежурный принес две папки. Положил на стол перед Лариным.

— Товарищи Лебедев и Ольгин пришли. Ожидают в приемной, — сказал он почтительно.

— Хорошо, я позову их.

Ларин открыл папку Лебедева. На первой странице фотография. Начальник отдела пропаганды края. Лицо подхалима. «Как я не раскусил его раньше? Его язык всегда поддерживал тех, кто в силе. Ладно, подожди же, сволочь!»

Красным карандашом в личном деле было отмечено то, что искал Ларин: компрометирующие данные, самые грязные, самые интимные, о которых они наверное забыли и которых, может быть, и не было. «Хорошо, я напомню им, и, если надо, сделаю факты».

Ларин снял трубку телефона, крикнул нетерпеливо дежурному:

— Пусть оба войдут.

Ольгин и Лебедев вошли быстро, уверенно. Привыкли к дружественным приемам своего патрона. «Только посмотреть на них, — подумал Ларин, — забыли уже, как на площади шлепнулись разом на ступеньки».

Ольгин, племянник Ларина, вел себя особенно развязно. Бухнулся без приглашения в кресло, покосился на толстое брюхо Ларина и затрещал сорокой:

— Товарищ Ларин, как вам нравится буза, что развел Верия? Я думаю, он перегнул, шельмец! Вряд ли Москва останется довольна.

— Я тоже так думаю, Верия переборщил, — поддержал его Лебедев и улыбнулся невинно. — Разрешите взять папиросочку?

— Пожалуйста, пожалуйста... — ответил Ларин, готовый рукой стереть с лица Лебедева улыбку, так ненавистна она была ему.

Редактор Ольгин продолжал трещать:

— В конце концов есть предел всему. Десяток лет мы пишем одно и то же. Биография Сталина всем известна как собственные пупы. И вдруг какой-то Верия преподносит сюрприз...

Ларин ждал, пока они высказались полностью. Затем круглыми, тяжелыми глазами посмотрел на них и сказал очень серьезно:

— Всё это так, мои друзья. Только я вызвал вас по другому делу. Очень серьезное дело. Товарищ Верия только что просил меня разобрать кое-какие стороны вашей личной жизни. Он сказал, что некоторые родители жалуются на вас, что-то вы там сделали с их ребятами. Вам, как моим друзьям, я могу сказать, не выдавая секрета: товарищ Верия собирается привлечь вас к уголовной ответственности. Лично я очень за вас беспокоюсь.

Сразу оба точно проглотили свои льстивые языки. Не отрывая от Ларина глаз, глядели на него, ничего не понимая

«Какие родители? Какие ребята? Какая уголовная ответственность?» — вертелось у них в головах.

Ларин говорил не спеша, с наслаждением. Для полного эфекта перелистывал страницы их личных дел своими маникюренными пальцами. Он видел перед собой двух людей, чьи жизни попали в эти холеные, но беспощадные руки.

— Вам известно, что бывший заместитель Калинина, Енукидзе, был расстрелян за такие штучки... — продолжал он.

— Что же это такое! — закричал побледневший Ольгин.

— Только что разговаривали с Верия, и он ни словом не обмолвился об этом. Напротив он очень тепло... — он вдруг осекся.

— Так, продолжайте, продолжайте, — Ларин подбодрил их мягко. — О чем же вы так тепло говорили с Верия?

— Так, ни о чем, ничего особенного...

Ларину наконец надоело играть. Он встал. Прежний Ларин, высокий, тучный, одним своим взглядом вгонявший в холодный пот подчиненных.

— Врете, сволочи, — отчетливо произнес он, багровея. — Думаете вам так пройдет за моей спиной подлости делать, с Верия в заговоры играть. Щенки! — И, обойдя стол, подошел к ним вплотную, прошипел им в лицо: — Кончилась игра для вас. Завтра вы оба оденете деревянные сорочки...

— Ч-что, ч-что вы говорите? — бледнея прошептал редактор. Оба, как по команде, вскочили со своих кресел.

— Прохор, — приказал Ларин, — выходи!

Прохор вышел из-за занавески. Зло оскалив крупные желтые зубы, проговорил:

— Здравствуйте, дорогие товарищи. Давно не видались.

Ольгин и Лебедев попятились от него, как от привидения. У редактора от неожиданности отвисла челюсть.

— Товарищ Прохор, вы, вы здесь?

— Здесь, здесь, милые. А почему же вы не у Верия, а?

Теперь они поняли, какую опасную шутку сыграл с ними Ларин. Тот зловещий факт, что Ларин не постеснялся показать им Прохора, означал, что он уже не боялся их, считал их за нуль, пустоту, значит...

Редактор, вдруг страшно взвизгнув, кинулся к двери. Но Прохор, изогнувшись, как кошка, бросился на него и тяжелым ударом кулака по голове свалил его на ковер.

— О-о-х! — простонал редактор. Длинные его ноги в начищенных сапогах широко раскинулись на полу, на подобие ножниц. Прохор ударил его ногой по голове. У того кровь пошла из ушей.

Между тем Лебедев, с лицом, покрытым сероватой бледь-

ностью, осторожно крался к окну. Ларин вынул наган, направил на него. Тяжелые складки его лица нервно задергались.

— Ну, ну, сволочь, без шуток. Стой на месте! — пролаял он.

Прохор подтолкнул Лебедева в спину, носом к карте, висевшей на стене. Сильно ударил его по затылку.

— Стой здесь, не шевелись! Изучай свою географию! — Затем вместе с Лариным отнесли всё еще стонущего Ольгина в угол комнаты, повернули его тоже лицом к стене.

— Товарищ Ларин, — шепнул Прохор. — Позвоните лучше в особый отдел Грабу. Мне пора смываться...

— Там майор Семенов. Он может предупредить Верия.

— Нет, Семенов уехал с письмом к Горину. Вернется через часа два.

— Очень хорошо. Ты следи за ним, пока я позвоню. — Ларин снял трубку. — Во второй отдел... Товарищ Граб, это вы? Говорит Ларин. Зайдите ко мне сейчас же. Да прихватите пару ребят, понадежнее. Только тише... Да.

— Ларин, тебе это даром не пройдет! — проговорил нервно Лебедев. — За незаконное насилие ответишь в порядке партийной дисциплины...

Прохор грубо толкнул его лицом в стену.

— Заткнись, говорю, не то будет хуже, — затем повернулся к Ларину: — Погляди в коридор — пусто ли?

Ларин осторожно открыл дверь, посмотрел.

— Никого нет, можешь итти.

— Ну, пока. Будь осторожен, товарищ Ларин! Доведи дело до конца, отступать нельзя.

— Знаю, знаю...

— Хорошо. Теперь все гады будут шарахаться от дверей Верия, как от врат ада, — сказал Прохор и подмигнул Ларину. Исчез в темноте коридора.

Еще закрывая дверь Ларин услышал в коридоре размашистые шаги. Это шел Граб со своим конвоем. Они прогремели тяжелыми сапогами через приемную, мимо вскочившего в испуге адъютанта.

Высокий военный, в форме НКВД, в галифэ с крыльями летучей мыши, вошел в кабинет. Темное прыщавое лицо Граба было мрачное, в глазах красные жилки: не то от бессонницы, не то от водки. Взглянув на Лебедева, стоящего лицом к стене, Граб спросил Ларина:

— Что с ним сделать?

— Товарищ Граб? — закричал Лебедев, отвернувшись от стены. — Арестуйте Ларина! Он незаконно вместе с...

Лебедев не успел закончить. Граб прыжком подскочил к нему и страшно ударил ребром ладони по шее. Ларин поморщился. Голова Лебедева безжизненно опустилась на грудь. Тело его поползло по стене, потянув за собой карту.

— Говорите, товарищ Ларин.

— Нужно оформить этих двух, — Ларин указал на Ольгина в углу. — Моральное разложение. Понятно?

— Есть, товарищ Ларин. Всё будет сделано.

Ларин ближе подошел к Грабу и сказал тихо:

— Семенов тебя не видел?

— Нет, он ушел, — так же тихо ответил Граб.

— Слушай, мой друг, сделай так, чтобы через час ничего от них не осталось. Не позже. Понятно? Принеси их признания не мне, а Дурову. Постарайся, чтобы Дуров поставил на них какую-нибудь резолюцию.

— Это всегда можно сделать. Он подпишет, подсуну среди других бумаг.

— Вот, вот... — Ларин улыбнулся. — Теперь иди, не теряй времени.

Граб подал сигнал трем конвоирам. Те привычным движением подхватили пленников под плечи, потащили их через приемную. Совершенно испуганный адъютант смотрел пораженно на окровавленные безжизненные лица Ольгина и Лебедева.

Ларин в дверях улыбнулся ему: — Легкий обморок, скоро придут в себя. — И добавил: — На том свете.

Вернувшись к столу, приказал:

— Пускай принесут мне завтрак в кабинет...

Ларин уплетал курицу, когда в его кабинет ворвался взбешенный Верия:

— Товарищ Ларин, в чем дело, почему арестованы Лебедев и Ольгин?

Спокойно, как о погоде, Ларин ответил:

— Спецотдел арестовал их, кажется, за моральное разложение. Только что от Дурова получил их показания... Вот полюбуйтесь... — И Ларин, чтобы не испачкать жирными пальцами листы бумаги, толкнул их локтем к Верия. — Их же рукой подписано. Ужас какой-то! Вот уже не ожидал...

Верия перелистал страницы, бросил их на стол.

— Такие дела нужно тщательно расследовать, — заметил он, и добавил, очевидно хитря: — Я, пожалуй, с ними сам поговорю.

Ларин махнул крылышком курицы безнадежно.

— К сожалению, поздно. Они повесились у себя в камерах.

Молчание.

— Оба?

— Оба, — ответил Ларин, усердно обсасывая косточку.

Верия окинул ненавистными глазами толстое лицо Ларина, измазанное вокруг рта жиром. Лицо дышало здоровьем, лоснилось на свету. Сталин глядел со стены на собеседников, улыбался прищуренными глазами. Трудно было сказать, кого он больше одобрял.

Верия резко встал, отбросил с треском кресло.

— Хорошо, товарищ Ларин!.. До свидания. Увидимся, надеюсь, на банкете.

— Конечно, конечно... Только вот если косточкой не подавлюсь...

Верия захлопнул дверь.

Ларин посмотрел ему вслед и сплюнул мрачно на ковер. Нервная вспышка Верия радовала его. Весть о гибели Лебедева и Ольгина уже пролетела вокруг. Теперь все боялись подходить к Верия. Разговорчики и перешептывания прекратились. Каждый видел в другом агента Ларина. Словом, парт-

ком зажил нормальной жизнью. Ларин был и остался полным хозяином края. Охотников опровергать этот факт не находилось.

Когда дежурный зашел убрать посуду, Ларин сказал ему, зевнув: — Я засну на часок перед банкетом. Никого не пускайте ко мне.

Ложась на кожаный диван, он думал: «Пускай Верия мечется в своем кабинете, как пума в клетке. А я посплю. Нет ничего лучше заслуженного отдыха».

На банкете он сразу заметил перемену к лучшему. На него глядели с уважением, со страхом. Ларин совсем повеселел, стал расточать направо и налево улыбочки, откалывать вельможные шутки. Когда начались танцы, группа девушек подошла к нему с просьбой разрешить полузапрещенный танец румба. Ларин величественно дал согласие.

— Разрешаю. Румба, конечно, ядовитая отрыжка западной культуры, развлечение не для коммунистов. Однако, здесь все политически подкованы — бояться нечего! Чорт с вами, травитесь!

Слова Ларина были встречены громким «ура» и восторженным писком девушек. Музыканты на радостях рванули с эстрады такую какафонию, что Ларин чуть было не отменил разрешения.

— Нализались, черти беспартийные.

Сразу же оказалось, что никто не знает румбы. Все жались к стенкам, поглядывали друг на друга. Нашелся один только знаток, главный инженер с завода Сидорова. Он видел в Москве в ресторане «Интурист», как танцовала одна французская парочка. На инженере, как и на большинстве мужчин, были сапоги и кавалерийские галифе, — костюм явно неподходящий для изысканного танца. Однако, он решительно подошел к одной тоненькой девушке и, вдруг, схватив ее с такой силой, как будто она была норовистая телка, стал мять ее у всех на глазах, загибать ее самым непристойным образом. Девушка краснела, опускала стыдливо глаза, но поддавалась, пила запоем запретную отраву.

За инженером повалили другие. Учились румбе находу, наступали друг другу на ноги. Мужчины ржали, восторженно ругались, подмигивали друг другу, девушки только визжали и охали. Стало совсем весело, когда Ларин, приняв в свои вельможные объятия одну хорошенькую блондиночку, начал выделывать слоновыми сапогами западные кренделя.

И вдруг.

— Товарищ Ларин, вам срочная телеграмма.

Адъютант весело толкался около, ждал.

— Ах, телеграмма... потом, потом...

— Срочная, товарищ Ларин.

Ларин пожал плечами, изысканно попросил извинения у очаровательной блондинки, пошел, отдуваясь, за адъютантом.

— Ну, давай. Хотя пойдем лучше в коридор, здесь слишком тесно.

Если бы Ларин взглянул в ту минуту на Верия, он бы увидел, как тот злобно улыбнулся, сверкнув своими золотыми зубами. Не понравилась бы Ларину эта улыбка. Но Ларин ничего не замечал. На своей щеке он всё еще ощущал щекот шелковых волос, а в ушах слышал четкий ритм румбы: тра-та-та, тра-та-та...

В коридоре он неспеша открыл конверт, в котором лежала уже расшифрованная телеграмма. Он взглянул на нее и вдруг побелело, перекосилось его лицо. Жгучая, нестерпимая боль пронзила его мозг и сердце. Пол закачался под его ногами. Он вдруг разинул рот, готовый закричать о помощи, но только застонал. Адъютант посмотрел на него опасливо.

— Будет ли ответ, товарищ Ларин?

Ларин, не отвечая, слабо махнул рукой. Потом, шатаясь, побрел по коридору. Коридоров было много, длинные, запутанные похожие на лабиринт, на западню. Всюду пахло свежей краской и ваксой. Ларин грузно шел, не зная почему, учащая шаги, как будто спешил к какой-то цели, туманной, но очень важной.

Вдруг позади послышались шаги. Он свернул в узкий тем-

ный коридор. Шаги шли за ним. Он побежал. Кто-то тоже побежал.

— За мной следят...

Теперь цель была ясна: «Надо бежать, бежать от этих шагов, от невидимого врага... Как я раньше об этом не догадался?» Ларин тяжело дышал, холодный пот проступил на спине. «Им хочется моей крови, им хочется слышать мой крик. Садист в Москве хочет насладиться моей смертельной агонией».

Ларин забежал в темную комнату, спрятался за деревянный предмет — наверное, преподавательский пюпитр. Притаился. Так притаившись, он прятался за кустом, когда мать с хворостинкой искала его... Милое, прекрасное детство. Ларин улыбнулся в темноте.

У дверей послышались шаги. Проходили двое. Тихо разговаривали.

— Он пробежал дальше...

— Да нет! Мы ошиблись, он не заходил в этот коридор совсем.

Оба чертыхнулись и повернули обратно.

«Ага, обманул, обманул», — радостно забормотал Ларин и высунул язык врагам. Он поднялся осторожно, закрыл дверь и, нащупав выключатель, зажег свет. Он стоял в хорошо обставленном кабинете, ковер, кресла, диван. Предмет, за который он спрятался, не пюпитр, а большой письменный стол со стеклом. Под стеклом карта.

— Наверное кабинет Мирзояна.

Ларин сел в кресло.

Надо торопиться они могут опять прийти...

Нервным движением он вынул револьвер из кармана. Посмотрел на него — черный, холодный предмет. «Но нельзя сомневаться. Надо решать... в этом мое спасение. Да и чего бояться? Меня здесь нет. Я остался далеко... маленький мальчик, прятавшийся в кустах. А здесь — здесь все враги, смертельные враги: Верия, Дуров, садист в Москве, и Ларин... Да, да — Ларин. Жирный, противный, жестокий Ларин и, главное, ненужный никому. Маленький мальчик, что с тобой? Ты плачешь?

Не надо плакать. Тебе не будет больно. Ведь ты остался там, далеко, ты всё еще играешь в тихом, солнечном детстве. А эти мерзкие рожи надо бить, бить, бить... Хватит ли пуль? Пять, шесть... Ну, не на всех, так на самых главных!.. Так, берегись, Верия! Берегись, Ларин! Я буду стрелять до последнего патрона, все вы, гады, получите свое...»

Ларин приложил револьвер к виску и нажал курок. Раздался один только выстрел.

Игорь Гузенко

***

Серебро листвы в тускловатом свете,
Как медных волос усталая рожь.
Неужели век мотаться на свете?
Неужели во век ничего не поймешь?

Прозвонили полночь часы на башне.
В ответ за углом — последний трамвай.
Я иду одна, забыв о вчерашнем,
О случайных словах, о любви невзначай.

Мария Толстая

НИНЕЛЬ*

11.

Анна Сергеевна усердно чистила в кухне неожиданно раздобытую мороженую рыбу, скоблила ее ножем. Рыбьи чешуйки летели в лицо, приклеивались к щекам, волосам, бровям. К крайней досаде, как раз в это время позвонили, а Алексей Васильевич ушел в библиотеку. Утершись локтем, Анна Сергеевна накинула на мокрую руку фартук, открыла дверь и удивилась: в неурочное время пришел Алеша.

Не понравился он ей: черезчур шумно и даже не снимая кепки ввалился в кухню.

— Рыба? Ну, в этом деле я мастак, — отойдите, тетя Анют!

Начался такой вихревой фейерверк рыбьей шелухи, что Анна Сергеевна поскорее сполоснула руки и скрылась в комнате: Алеша благоухал спиртными пара́ми.

Это было в первый раз. Отчаянная стремительность, страшные каскады воды из крана, звяк и лязг посуды. Видно — градус энергии Алеши немалый. Лучше не вмешиваться. Пусть уж почистит.

— Варить или жарить? — зычно вопрошал Алёша. — Ах, тушить? Ну, это уж вы сами, тетя Анют! Полуфабрикат — в порядочке.

Анна Сергеевна вернулась в кухню и опять удивилась: внезапно присмиревший Алёша осторожно пробовал остроту наточенного кухонного ножа. Гипнотизирующе смотря расширившимися зрачками, без улыбки процедил: — Смерть.

---

* См. кн. 37 и 38 «Нов. Журн.».

Посмотрите-ка — одно из воплощений смерти. Вернее — потенциальная смерть. Пуля тоже. И веревка. Это всё призрак смерти. Скелет — тот для меня — никакого впечатления. А вот лезвие. Знаете, как курицу... Ччирк... А ну-ка, послушайте, тетя Анют:

Наделать бы погромче кутерьму,
Отчаянное выкинуть коленце,
Сыграть ва-банк, рассеять скуки тьму,
Подбросить в тлеющий костер поленце —
И сесть потом, пожалуй, хоть... в тюрьму!

Вы скажете: типичный хулиган.
Но что меня толкает в стан апашей?
Сорокаградусный любви стакан?
Нет, тесный воротник «эпохи» нашей,
И вместо музы — у меня... наган!..

Продекламировал и лихо смотрел на Анну Сергеевну.

Она, сердцем ужаснувшаяся, спокойно взяла из его руки нож.

Алёша — за топор.

— Нет, Алексей, дрова готовые есть. Сегодня не надо. Знаешь что, пойди, почитай в своем кресле. Может быть, тебе чаю дать? До обеда далеко. Давай, давай топор.

Алёша усмехнулся: — Заметили, тетя Анют? А я ведь чуть-чуть, думал — не видно.

Через две-три минуты Анна Сергеевна услышала трескотню пишущей машинки. Алёша, потряхивая русым чубом, что-то усердно печатал. Еще позже затих, — оказывается, — прикурнул в кресле.

Вернулся Алексей Васильевич. Анна Сергеевна поманила его пальцем в кухню.

— Там Алексей. Выпивши. Как хочешь, но ты ему скажи, что во второй раз в таком виде не пущу. А уж стихи мне сказал такие... Ну, уж и страсти! С ним что-то делается неладное.

Алексей Васильевич повел бровями и тихонько прошел

к своему столу. У машинки лежал лист с напечатанными стихами.

Алёша проснулся, вскочил и виновато улыбнулся: — Скандал сегодня со мной, Алексей Васильевич. Простите.

Профессор долго не отвечал. Шарил на столе; нужно ему что-то, или...

— Да, — пробормотал он, — Анну Сергеевну ты напугал. Ты уж, брат, второй раз так не делай, а то дружбу нашу... как бы это сказать... разобьешь.

Алёша посмотрел в окно (вон какой снег глубокий на крышах, на балконах...).

— Кляксу поставил, это верно, — согласился он. — И, может быть, напоследок.

— Что это значит? — быстро спросил профессор.

Алёша махнул рукой, подошел к машинке и поспешно взял напечатанный лист. — Читали?

— Чужого без разрешения не читаю... и тебе не советую.

— Так я вам прочитаю... (а сам свернул и положил в карман).

— Нет, Алёша. Тебе не хочется. И через силу ничего не делай.

— Алексей Васильевич, мне не то что не хочется, а... *вам не надо* знать... Вас это не должно касаться и волновать, вот что.

Профессор глянул недоуменно-добрыми глазами:

— Неужто... любовь? — спросил он неуверенно.

— Нет. Ненависть.

— Ненависть?.. К кому бы то ни было это чувство, оно тягостно, Алёша. Оно разрушает и опустошает. Ненавистью жить нельзя. Где ненависть — там дышит смерть. Необязательно физическая, но смерть — трезвой мысли, разумных поступков, истинных человечных чувств и... творчества. Если бы я был художником, я изобразил бы лохматую ненависть с белыми сумасшедшими глазами, без зрачков.

— А разве вы не видите, что отовсюду глядят на нас эти белые глаза? Верно. Они — белые и без зрачков. Из

каждого уголка подглядывают они за каждым из нас. Жизнь воспитывает ненавидеть. И я ненавижу того, кто меня ненавидит. Может быть, где-то там, где можно по-человечески чувствовать, любить и думать, как ты хочешь, — там я поверил бы в дружбу, в то, что ненависть можно победить любовью... Здесь я в это не верю. Ненависть лезет из меня помимо моей воли. Так пусть знают, как я ненавижу. Другие терпят, а я не могу. Кто-нибудь должен же заорать во всё горло?! Вы думаете, мало нас таких, что прячут кукиш в карманах? Будьте покойны, кукишей много... Но должен же кто-то с отчаяния показать его, как умеет, — вот он, мол, этот всенародный кукиш!.. А о том, что ненависть и смерть родственники, это я сам знаю... Помирать за то, что кукиш показал, — дорогая цена кукишу... Я и не думаю помирать. Мы еще поборемся. Эх, так вот развернуться кулаком и — вввых!..

Профессор решительно протянул руку: — Теперь дай мне прочитать.

Алёша вынул лист, протянул было его, но потом снова спрятал: — Нет. Вам не нужно читать. Знаете почему? Потому что я люблю вас. Люблю, может быть, так, как никогда никого не любил. Человека в вас люблю. Настоящего человека.

Опять повернулся Алёша к окну. Глубокий белый снег на крышах, на балконах; желтоватый, изъезженный, исхоженный — на улицах. Из труб в морозное небо — прямой дым. Холодно в такое время путешествовать. С поезда на поезд. Где пешком, где на грузовичке, брюхом гребущим сугробы по дорогам между колхозами, подвезут ведь. Да-а-алекий путь. В шапке-ушанке, пар выпуская изо рта, словно курильщик дым...

Слышно было, как в кухне воевала Анна Сергеевна, раскрасневшись от жара духовки...

— Но почему же всё-таки напоследок? — после долгого неподвижного молчания спросил профессор. — Ты... уезжаешь?..

— Ухожу, Алексей Васильевич. Дошел до точки. Опять вчера меня «прорабатывали». Еще немного, и всё-равно каюк мне. Только дурак не почувствует, что пора сматывать удочки... А каяться и вилять хвостом — всё-равно, что в морду себе наплевать. Да и всё-равно не поверят. Не теперь, так позже...

— Куда же ты?

Алеша подумал, поглядел на профессора и пожал плечами: — Точно сам не знаю... как удастся. Кажется, через Сибирь — туда, к желтокожим.

— Зачем же к желтокожим? — изумился профессор.

— Это этап только, Алексей Васильевич... а там с английским не пропаду. Потом, авось, и дальше... сам не знаю.

— В Америку?

Алёша опять пожал плечами. Вдруг быстро подошел к профессору: — Вы не подумайте, что я от вас скрываю. От вас мне не скрывать. А вот честное слово — не знаю. Только не говорите пока тете Анюте, ведь она всю душу из меня вынет... Завтра утром ухожу.

Профессор встал, взял голову Алёши в дрожащие руки и поцеловал в лоб.

Анна Сергеевна пришла позвать их к обеду, и уж очень подозрительным показалось ей молчание будто повздоривших двух Алёш. А, может быть, и не повздорили: оба ласково взглянули на нее. Профессор деловито осведомился, какое меню, и узнав, что рыба, ни к селу — ни к городу бросил: — Да, вот оно и выходит, что рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше.

— Уж где теперь человеку лучше — и ума не приложу, — покачала головой Анна Сергеевна.

— Может быть в Китае, тетя Анют?

Нинель внимательно и быстро записывала лекцию Зенфа. Ее конспектами пользовались многие. А поспеть за Отто нелегко. Надо быть очень привычной к его речи... Что за безо-

бразие: кто-то скрипнул дверью в аудитории и просунул близсидящему записку. Записка из рук в руки добрела до Нинель. Это ей! Боясь пропустить важное в лекции, Нинель продолжает записывать, а другой рукой разворачивает бумажку. Наспех карандашные каракули рукой институтского партсекретаря:

«т. Лысич. срочное совещание, прибыть немедленно».

Странно. Можно было бы подождать перерыва. Нинель передает самопишущее перо соседке, а сама неслышно выходит в коридор. По дороге ее нагоняют еще двое комсоргов с других секторов.

Что случилось?

В парткомитете человек десять. Явно взволнованный директор, подтянутый и суровый партсекретарь, нахмурившиеся члены бюро. Партсекретарь, подсчитав глазами явившихся, садится за письменный стол, рассаживаются, как попало, и остальные. Директор остается стоять у окна и подрыгивает ногой.

— Товарищи, — зловеще чеканит секретарь, — все мы с вами ни к чорту не годимся. Под самым нашим носом созрел абсцесс, мы допустили ему нагноиться, не вскрыли своевременно ланцетом беспощадной критики, и теперь сидим в контрреволюционной луже.

Такая цветистость не предвещала ничего хорошего. Присутствующие опасливо переглянулись: что произошло?

— Я не знаю, сколько времени висело это дерьмо на щите стенгазеты, не знаю, когда его навесила изуверская рука гада, но допускаю, что кто-то это уже видел и читал. И если бы не буфетчица из лекторской комнаты, то через двадцать минут весь Институт захлебнулся бы в этих, с позволения сказать, помоях. Товарищ Визирова сознательно позвала меня... и вот вам поэма нашего врага. Которого мы не выявили во-время. А кое-кто защищал во время последней проработки. Говорила ты, Лысич, что надо не столько карать, сколько помогать к исправлению? Говорила ты, что он парень с талантом? Говорил ты, Карнаухов, что отсечь из коллектива

за драку и хулиганство преждевременно? Он мол, образумится и станет на правильную платформу? Вот тебе и стал! Этот гад не сдается. Вот. А мы, значит, прошляпили.

Директор поморщился, переступил с ноги на ногу и посоветовал: — Придется секретно ознакомить партийный и комсомольский актив с вылазкой кулацкого подголоска. Не думаю, чтобы кто-нибудь захотел об этом рассказывать.

Партсекретарь сделал томительную, грозную паузу, выдвинул взвизгнувший ящик стола и достал оттуда лист с напечатанными на машинке стихами. Положил брезгливо на край стола.

— Читать вслух? — спросил он директора и, не дождавшись ответа, отрицательно мотнул головой: — Кто хочет, пусть сам прочтет эту «литературу», а чтоб вслух — не-ет!

Никто первый не хотел брать лист. Переминались.

Директор нервно кашлянул и полез за папиросой: — А, по-моему, тов. Ширванов, кто-нибудь один для всех. Скорее. Да вот, пусть Лысич.

Нинель взяла лист и, не придавая голосу никакого выражения, прочитала:

Хвостатая страна

Хвостам все возрасты покорны.
Что наша жизнь... без хвостов?
Мы превращаемся бесспорно
В породу новую скотов.

Студент ли ты иль школьник малый, —
От понуканий страждешь ты:
Грызи гранит, лентяй отсталый,
Чтоб ликвидировать хвосты.

По диамату ль, по склоненьям,
По алгебре иль запятым —
Буксир поможет без сомненья:
Зачеты впишут нам в листы...

...Смотри, — на улице при стуже,
А то на солнцепеке вряд

Красуются хвосты снаружи:
Перед распредами стоят.

Хвосты! Им нет конца и края...
Но, может быть, хвосты как раз
Прямым путем ведут всех нас
К вратам обещанного рая?

И что за зуд спины пониже?
Не прорастают ли хвосты?
Мы все виляем, пятки лижем,
От страха прячемся в кусты.

Умей вилять, умей лукавить —
Вот, в чем нам истина дана...
О, как легко тобою править,
Мильонохвостая страна!..

Партсекретарь и директор жадно смотрели на лица слушающих. Можеть быть, скажется улыбка, жест, игра глаз или что там еще?

Нет, все окаменели. Опустив головы, слушали негромкий голос Нинель, порозовевшей (негодование, стыд...?) и не совсем справлявшейся с дыханием.

Партсекретарь послал за буфетчицей. Нет, она не видела, когда и кто привешивал стихи, она только несла посуду в корзине и увидела болтавшийся на стенгазете листок, ну, прочитала из любопытства и, не чуя под собой ног от ужаса, помчалась к директору.

Буфетчицу, вспотевшую от предупреждения, что она должна забыть о прочитанном, поспешили отослать назад — как раз началась большая перемена, — завтрак. Пришли еще два преподавателя диамата. Прочитали про себя и чертыхнулись. Дверь закрыли на ключ, чтобы никто не побеспокоил.

Партсекретарь спрятал стихи в свой портфель: — Я без всякого сомнения об авторе. Кузмичев это. Кто возражает? Он. Это он обозлился.

Спорить, конечно, не приходилось. Значит, он на собрании сектора только мнимо признал свои ошибки, а теперь полез на стенку. То, что он сделал, было беспримерным, не-

вероятным и влекло за собой сложные последствия. Кузмичев, имевший в прошлом приятельские отношения со многими студентами, отбрасывал и на них тень. Ведь может случиться и так, что он не одинок, что кто-то его поддерживает. Надо выявить, в таком случае, скрытых сообщников. Кто они? Гм, да и как долго висели стихи, кто успел их прочесть? И если прочитал и промолчал, значит, втайне поддержал. Кто?

Кузмичева в Институте, конечно, не было, и никто его не видел. Вызванные Егор и Жан сказали, что утром их сожитель будто бы собирался, как обычно, на занятия. Позвонили в общежитие. Завхоз сбегал наверх, долго мешкал, а снова подойдя к телефону, расстроенно сообщил, что кровать Кузмичева прибрана, но никаких его вещей и чемодана нет.

— Это похуже... похуже, — кусал себе губы секретарь парткома. — Убежал. Ну, у нас руки длинные, не убежит.

Дело осложнялось. Решили поручить головке Института выработать дальнейшие шаги и согласовать со специальными инстанциями.

Поспешно натягивая на себя шинель и еще раз проверяя в портфеле — всё ли там положено, партсекретарь посмотрел на стихи и его осенила мысль: — Гляньте-ка, на какой машинке это отпечатано?

В самом деле, где мог напечатать свою крамолу Кузмичев? Все стали рассматривать шрифт, лиловый цвет букв, калибр печатных знаков. Сличили с институтскими машинками и пришли к выводу, что шрифт необычный, и похоже, что это старинная машинка.

Вызвали эксперта — старенькую, гладко на пробор причесанную седенькую машинистку с испуганными глазами. Показали ей только заголовок, остальное прикрыли чистым листом бумаги.

Машинистка озиралась, войдя в кабинет, — по лицам присутствующих восприняла без слов напряженность момента и заволновалась.

— Шрифт такой машинки знаете? — и желтый проку-

ренный четырехугольный ноготь ткнул в строчку. — Нет, дальше секретное, — без рассмотрения.

Машинистка присматривалась и прямо и сбоку и, как на страшном экзамене, ответила:

— Такие теперь редко попадаются. Очко очень крупное. Старый Ремингтон.

— А лента?

— Ну, лента теперешняя. Бывает черная, лиловая и красная.

Общее молчание. Испуганные глаза недоуменно обводят присутствующих. Руки сложены, как на молитву.

— Так. Не задерживаю вас, тов. Шлезингер. Можете продолжать свою работу.

Машинистка бесшумно выскальзывает из кабинета и мелкими шажками спешит к себе в канцелярию. Сердце стучит у горла, и нельзя его успокоить.

Муся, выстукивающая на широкой каретке ведомости для зарплаты, любопытствует, зачем вызывали в партком.

Седенький пробор склоняется над ворохом бумаг для переписки. — Так... технический вопрос.

Муся косит черным молодым глазом на Шлезингер и понимает, что та не хочет говорить. Не хочет или не может?

А Шлезингер чуть не два часа подряд делает опечатку за опечаткой и то и дело стирает резинкой: а что если это старый Ундервуд? Боже мой, кажется — Ундервуд... нет, скорей Ремингтон.

Через час партсекретарь звонил директору по телефону.

— Ага... угу.., — мычал директор, — да, конечно... Собрание? Общеинститутское? Когда? Через неделю? Почему через неделю, можно раньше провернуть... Ага... Понимаю... Подборка по всему городу? Да-а? Когда будет статья? Какая? Общая? Не только о нашем Институте? Есть сигналы? Угу... Вечером? Здесь? В порядке.

Нинель, подобно всем членам ошеломленного актива, вглядывалась в лица студентов. Такие же, как и всегда. Там,

как будто бы, сзади трое шепчутся о чем-то. О чем? Об этом, может быть?

Вспомнила Кузмичева. Гад. Неужели гад? Но ведь нагадил и смылся. Ну да, а если бы не смылся? Исключат. Арест. Всё-равно — арест. Не скроется, найдут. Жалко. Подумала так и испугалась, как же это подумалось?! Как родилось чувство «жалко»? Да правда ли жалко? В самом деле — жалко. Да как же, как может жить чувство жалости к врагу? Жалею — значит — сочувствую. Сочувствую — значит... Я не должна, не имею права жалеть..., а как же сделать, чтобы это чувство ушло, чтобы задушить его, как преступное? Разумом. Мыслью... Мысль может что-нибудь поделать с сердцем? Сердце помнит бесшабашный вихор Алёши, помнит его симпатичную усмешку. Да, нет, пересмешник он, зубоскал. И... и любил?.. Да разве такие могут любить? Волновало меня? Меня?!.. Дура. Да, конечно, он неглуп. Тем хуже. Талантлив? Обидно. Искренен до наивности? Гм. Искренен и в этой мерзости, может быть? Искренен в том, как видит. Но видит ли правдиво? «Хвостатая страна»! Это что же? Значит, и у меня хвост, и я виляю? Ни разу! Врет!! Искренний порыв самокритики, сознание своих ошибок — не виляющий хвост... Жалко. Опять «жалко»? Да что же это я? А, может быть, провинившегося можно жалеть? Мать наказывает ребенка и — жалеет его. Может ли страна-мать жалеть тех, кого наказывает и наказывает по заслугам?

В субботу утром в городе разорвалась газетная бомба. Большим «подвалом» на двух страницах статья: «Добить право-левацкое охвостье».

Найдите уголок в городе, где бы напряженные глаза не обшаривали газету, не натыкались бы с волнением различных оттенков на знакомые фамилии и с сердцебиением не искали бы — а нет ли вдруг и их напечатанных имен... Если находили, — впивались в каждое слово, искали и то, что не напечатано, но что звучит под словами, между строк. Горячечно,

про себя, возражали, а, возражая, чувствовали нарастающее безысходное отчаяние, неминуемую беду: пропасть, до дна которой, может быть, живым и не долетишь, а искалечен, разорван будешь выступами острых камней вдребезги.

Как у стигматиков, воспаленное воображение уже открывало душевные раны, уже истекало кровью сердце, тоскливо и с перебоями трепетавшее. ...Докатилась волна, о которой шепчущая молва несла пока только вести... Наступал девятый вал... вот, он выплеснется, неумолимый, каскадами мук и горя, потребует много жертв, «стрелочников»... захлебнутся они, и кто, кто сможет им бросить спасательный круг?..

«Притаились, как паразиты, в темных щелях... ловко маскируясь под советских людей, дышат ненавистью и злобой, плетут сети предательства, путаются под ногами героев Великой Социалистической Стройки в то время, когда наша партия в единении со всем преданным ей советским народом выкорчевывает гнилые пни, оставшиеся от проклятого прошлого, чтобы гордо и победоносно показать всему прогрессивному миру пример расцвета рабоче-крестьянского государства. Революционная бдительность разоблачает врагов беспощадно. Наш город (надо сказать со всей большевистской прямотой и честностью) не очищен целиком и полностью, — право-левацкое охвостье орудовало среди нас... Сигналы неблагополучия и опасности, поступающие с мест, говорят, что благодушию и попустительству, которые были проявлены группой руководящих лиц в ряде предприятий и учреждений нашего города, должен быть положен конец. Пора дать по рукам срывщикам, саботажникам и искоренить вредителей, на каком бы участке ни обнаруживалась их подрывная деятельность, пора призвать на помощь революционную законность...»

«Ой, — тихонько охал Горошин, точно его покалывали булавкой, и скользил глазами по колонкам, — искал, — кого же «хлопнули». — Ну, вот, — директор Хлебзавода. Не-

делю тому назад еще видел... За что же? Ах, покрывал инженера Артемьева... «разбазаривание продукции... для кормления мелкого скота необобществленного сектора... вылазка подкулачника»... Ой, что-то не то... Кажись, сам Облпартком толкал на это... Гм, а это кто? ЗавГорПо базой?.. «наглые высказывания об «исконной» вражде города и села, отрыжка контрреволюционного троцкизма»... Гм... а ведь дело-то дрянь... А это? Не может быть!! — «Вылазка на идеологическом фронте»... в Мукомольном Институте ассистент Эпштейн цинично позволяет себе сеять среди нашей молодежи «жалость» к кулакам и выражать сомнения в правильности ликвидации кулака, как класса... Проф. Лигарев протаскивает реакционные западные «теорийки» в вопросах строения материи, не считаясь с единственно научными данными и указаниями классиков марксизма-ленинизма... Ага!» — тут Горошин вскочил, и первым движением его было схватить газету и промчаться в кабинет Лысича. За первыми двумя широкими, поспешными шагами следующие были мельче и замедленнее, а затем — остановка. Выйти, конечно, можно: его прием начинается через десять минут. Но без газеты. Разумеется, без газеты. Зачем показывать особую заинтересованность газетой. В корридоре посетители, да и свои, поликлиничные. И, вообще, газету лучше спрятать в протфель. Пусть она никому не мозолит глаза.

Лысич как раз готовился принять последнюю древнюю пациентку. Горошин задержал ее: — Сейчас, гражданочка. Я на одну секунду.

Отвел Лысича к окошку: — Читал? Ну как «что», — статью в «Коммуне» читал сегодня?

Нет, Лысич не читал. Горошин, побрызгивая слюнкой, в двух словах объяснил: начали под гребенку, и Нина с немцем тоже там, но легонько, легонько так. Они-то отбрешутся, а другим — фу! Даже моего актера, по-моему, по уху смазали, но пока без имени.

— Какого твоего актера?

— Ну, этого — Агарова, с которым мы все вместе были в ресторане.

— Кто все вместе?

— Да что тебе Нина не рассказывала? Ну, как же ты, братец, фу. Ты как-то ничего не знаешь. Теперь всё надо знать, ко всему принюхиваться. Иначе как же лавировать?! Достань газету.

После приема Леонтий Андреевич, встревоженный, нигде уже не достав распроданной газеты, отправился читать ее в витрине редакции; пришлось сделать круговой путь. У витрины толпилось необычно много прохожих. Подождал, пока протиснулся к листу.

Да, имена Лысич Нинель и Зенфа упомянуты:

«...в связи с вышеупомянутым неслыханно-дерзким появлением в коридорах Института Иностранных Языков гнусной стихотворной листовки, автором которой несомненно является нравственно разложившийся алкоголик-студент Кузмичев, всегда вызывавший подозрения у классово-чуткой части студенчества, приходится придти к выводу, что у ЛКСМ-руководства, в частности — у тт. Н. Лысич, Е. Гули и С. Звагича утрачена классовая бдительность».

О Зенфе же в другом абзаце:

«...Вызывают сомнения и заставляют насторожиться лекции преподавателей Института И. Серганова, С. Кирбис и О. Зенфа. Первый утверждает, что в истории бывали моменты, когда классовая борьба перекрывалась общностью действий различных социальных слоев и прослоек, — вторая подозрительно настойчиво подчеркивает роль церкви в развитии любого языка, третий, читающий на немецком языке, склонен отдавать иногда целиком всю лекцию сомнительному эстетическому анализу буржуазных лит. произведений... он явно недооценивает могучее революционизирующее влияние пролетарских писателей Германии, борющихся с фашистским мракобесием...»

Да, конечно, это, по сравнению с другими именами, которые указаны в группе контр-революционеров и песенка которых спета бесповоротно, — это еще не так безысходно..., но указующий перст уже устремлен и на них.

Леонтий Андреевич довольно давно не видел Нину. Теперь стало понятным, что ей мешало. Однако, именно теперь она могла бы придти к отцу и поделиться своей бедой. Видно, Отто ближе. Оба поскользнувшиеся. Думают и гадают, как выйти из положения. А, главное, оба на «партийном пути». Тем тяжелее. Как водится, — будут «каяться».

Вечером надо заглянуть к ним, если Нина не придет к семи-восьми часам.

Еще поднимаясь по лестнице, Леонтий Андреевич понял, что они у себя: слышно было — Зенф играет на пианино нежную песенку, наивную и сентиментальную.

Сразу увидел, что оба обрадовались; вносил что-ли Леонтий Андреевич своим появлением разрядку в какой-то спор, а то, может быть, в размолвку? Лица были расстроенные. Но каждый, кажется, по-своему. В глазах Нины еще отблески рассерженности. У Отто — полу-улыбка непокорного упрямства. Вероятно, он и сел за пианино, чтобы не разговаривать.

Нинель заботливо помогла снять пальто и уютно потерлась горячей щекой о щетину отцовской бородки.

На письменном столе лежала развернутая газета.

— Читал? — спросила Нинель и с возмущением пожаловалась: — а Отто с непростительным легкомыслием даже не хочет и реагировать на критику.

Зенф со смешком закурил папиросу: — Это никакая критика. Критика предполагает иметь спор, говорить возражения. Здесь это напрасно.

— Завтра общеинститутское собрание, каждый должен объяснить свои ошибки, а если неправда, то защитить себя. Повидимому, Нинель при отце с новой надеждой вернулась к спору, который до прихода Леонтия Андреевича кончился вни-

чью. Зенфу было скучно, он уже раньше привел свои доводы и пришел к неизменному решению.

— Папа, ведь правда же, нельзя молчать? Если верно обвинение, — признай его, а если ошибочно, докажи это! Он даже сначала не хотел идти на собрание, но ведь это трусость, это не по-большевистски, да, да, Отто, не возражай! Если хулиган Кузмичев сбежал (представь себе, папа, он сбежал!), так он еще мальчишка, скверный мальчишка, который играет в архаические майн-ридовские приключения. Конечно, я виновата, что не доглядела, не уловила его настроений, я — и вся наша комсомольская группа. Разве в этом стыдно признаться?

Отто отрицательно помахал папиросой: — Ты виновата? Группа виновата? Нет.

— А кто же тогда?

— Жизнь виновата: она подает тэмы для таких стихов.

Нинель ахнула. Даже приложила руку к груди: — Отто, это для меня новость! Ты понимаешь, что ты говоришь?!

— Понимаю. Если подумать, какие стихи повесил студент, то где же там контр-революция? Хвосты есть? Есть. Правда? Правда... Правда есть не контр-революция. Правда есть *революция.*

— А ты читал эти стихи? Знаешь, сколько там злых интонаций, не наших интонаций критики и самокритики, а ненависти? Правда одно, а ненависть совсем другое.

— Нет, я стихи не читал. Ты же не показала мне их. Только рассказала.

— Такие стихи *нельзя* показывать. Ты что же — *мне* не веришь?

— Я верю, что тебе не нравится, что директору не нравится, партийной группе не нравится, но...

— Тебе понравились бы, что ли? Отто, ты что, с ума сошел?!

— Я хочу сказать, что не могу судить по рассказу. Я должен видеть своими глазами. И каждый, кто хочет серьезно

критиковать, должен знать точно, что он критикует. Судить можно то, что со всех сторон видно.

— Содержание ты знаешь, что же тебе форму подавай? Вот и выходит, что ты формалист, в чем тебя и упрекают! — Нинель кипятилась.

Зенф усмехнулся. Он продолжал спокойно рассуждать: — Почему, например, не показать на собрании стихи? Все будут видеть, как плохо сделал поэт...

— Поэт! Негодяй он, а не поэт, — негодует Нинель.

— Мне кажется, что кто-то боится показывать людям такие стихи, потому что будут сильно смеяться, может понравиться.

— Пусть только попробуют смеяться! — угрожающе сдвинула брови Нинель, — Два-три притаившихся сообщника хихикнули бы в кулак, а вся масса была бы оскорблена. Ты, значит, хочешь, чтобы мы оскорбляли собрание? Оно и так задаст нам, головке, вопрос, как мы могли допустить враждебную вылазку? И, в самом деле, разве мы не виноваты, что допустили такую гнусь?

Отто наморщил лоб и осведомился: — Как? Was ist «гнусь»?

— Безобразие, подлость, предательство!

— Плохо. — Зенф покачал головой. — Очень плохо, что ты будешь виновата, еще раз повторяю, в том, в чем ты не виновата. Студент угадал: вот и ты будешь... как это?.. *виляйть*... да, несознатэльно виляйть хвостом. Ты не понимаешь? Ты злая. Подумай спокойно — будешь понимать. Трус виляет сознатэльно, — плохо. А очень больно, когда у человека никакая вина, а он думает, что виноватый, и виляйт.

Леонтий Андреевич заметил, что Нинель, бледная и дрожащая, готовится сказать что-то отчаянное Зенфу и вставил от себя: — Нет, Отто, читать на собрании стихи нельзя.

— Конечно, — радостно согласилась Нинель.

— Пожалуйста? — вежливо обернулся Зенф к доктору.

— Я не знаю, насколько правдивы стихи студента (это сатира, что ли?), но если они расцениваются, как контр-рево-

люция, их нельзя оглашать: они вызовут не смех, а мучительное молчание, — всем будет страшно. Понимаете — смертельно страшно.

— Понятно, — кивнула Нинель, — разумеется будет страшно, что среди нас ходил враг, а мы и рты раскрыли, — симпатичный, мол, одаренный, свой парень — что надо. Он еще любить осмеливался! Дружили с ним, за уши тянули! Не умели раскусить, — вот это, действительно, страшно...

— Нет. — Леонтий Андреевич закрыл глаза и покачал головой. — Нет, дочурка, не так ты поняла. Да и поймешь ли? Страшно читать такие стихи на собрании потому, что, слушая, люди внутренно так или иначе отзываются, — не грамофонный же это валик, механически записывающий любой звук, — это живые сердца, а им, оказывается, нельзя быть живыми. И вот, сидят сотни людей, слушают — и ни живы, ни мертвы. С эстрады на них смотрят, справа, слева, сзади — отовсюду смотрят, и разве знаешь, *как* смотрят? Уверен ли ты в соседе, как и что читает он на твоем лице, как он истолковал мелькнувшую у тебя мимолетную улыбку, почему ты опустил глаза, отчего нервно моргнули твои ресницы? Разве ты не замечала, как на таких собраниях в публике мучительное окаменение, настороженная сосредоточенность? Каждый думает: замру, застыну с ничего не выражающим лицом... Я, может быть, неправ только в одном, — в том, что приписал *всем* такое состояние. Не все такие. Есть на собраниях и другая категория — это актеры, актеры в жизни. Они лезут из кожи, чтобы показать свое негодование, если это нужно, — восторг, если он требуется... Что за пружина их поведения? — Страх. Они бурно аплодируют, когда подан сигнал из президиума, а боковым зрением чутко следят за соседями, видят ли их усердие, да еще контролируют себя — не переиграть бы. Понятная защитная мимикрия. Зачем же лишний раз терзать людей, читать стихи, когда обсуждение их немыслимо и вопрос, как говорит Отто, предрешен?

— Freilich, — согласился Зенф.

Нинель слушала стоя, подбоченившись, и улыбалась так,

как это делают в ответ на детские нелепицы, но внутренне она вся трепетала, очень глубоко в себе, в подавляемых тайниках своих мыслей улавливала истину, всё более раскрывавшуюся в последнее время ее внимательным наблюдениям, истину, которую *нельзя* признавать. Этой истине нельзя давать воли и силы, иначе всё в ее душе развалится, всё пойдет на смарку. Подыскивает она самые колючие, разительные слова, и ей уже всё равно, что скажет она их — отцу, Отто.

Услышав «freilich» Отто, крикнула: — Стыдно, стыдно, коммунист Зенф! Где же ты видел советских людей, скованных страхом?

— Первое — в Москве. Второе — здесь. Проверил. И ты, как честная, проверишь и увидишь.

«Что же я, убивая в себе уже добытую правду, *вредную* правду, нечестная? Нет, именно — честная...» — это про себя, в смятении.

Отто словно припечатал: — Нас боятся.

— Кого это нас?

— Коммунистов. Правильно сказать — тех, кто называет себя коммунистом.

— Значит, ты не коммунист. Разложился. Забыл о партийной дисциплине?

— Партийная дисциплина превратилась в приказ без обсуждения, а я хочу быть свободный коммунист. Чтобы и я не боялся и чтобы меня не боялись.

— Да где вы оба видели страх? Разве меня, например, кто-нибудь боится?

— Вероятно. — Это вставил Леонтий Анреевич и повысил голос, чтобы перебить дочь: — Нина, а ты не заметила, *что* и *как* ты сказала несколько минут назад. Когда Отто предположил, что чтение стихов на собрании может вызвать сочувственный смех, ты пригрозила: — «пусть только попробуют посмеяться». Ведь это первичная репрессия. Ты этого не чувствуешь, не понимаешь? Впиталась что ли бессознательно в тебя эта манера, эта повадка — прикрикнуть, устрашить. *Устрашить*, Нина! Не замечаешь ты этого потому, что

стоишь наверху, ты — внутри этой управляющей машины, ты одно из ее колесиков. И ты подходишь к роли колесика по своему властолюбию. По характеру и... наивности.

— Настоящее для меня, папа, — ворота к будущему, и на тех, кто хочет эти ворота закрыть, испортить, — я имею право кричать, я должна кричать. Когда люди не хотят добровольно идти через эти ворота, — их надо заставить силой войти.

— Ach, nein, es ist nicht so, — затряс головой Отто с гримасой отвращения, — нет не силой, а убеждением.

— А если убеждения не действуют?

— Значит, плохие убеждения. Надо словом, делом, примером. Делает это партия? Она кричит, как ты.

Нинель долго мерила Зенфа с ног до головы и удивленно и с презрением:

— Ты что же, ревизуешь линию партии? Оппозиционер?

— О! о! какое слово. Нет, я хочу быть настоящим коммунистом. В Тюбингене я был настоящим. Меня не боялись, меня любили. А здесь и меня уже боятся, как тебя.

— Кто же, например?

— Мы с тобой в ресторане были? И ты не заметила, как доктор Горошин нажимал под столом ногу пьяному артисту и показывал на меня и на тебя глазами. Не заметила? Кто с нами будет говорить так откровенно, как говорим сейчас мы? Ты думаешь, тебя студенты твои не боятся? А у нас, я думаю, коммунисты были не начальниками, а друзьями.

— Друзьями, потому что *еще не стали* начальниками? — спросил Леонтий Андреевич.

Зенф не понял.

— Там у вас коммунисты — в процессе борьбы за свое коммунистическое государство, но если бы они стали управлять, не случилось бы так же, как у нас?

— О! — задумался Зенф, — это страшная мысль. Но что я знаю вам отвечать? Неудачи русского опыта могут спасти западный опыт. — Он взглянул на оскорбленное лицо Нинель:

— Я не говорю больше о такой проблем...

Нинель показалось, что она поймала мгновенное выражение глаз Отто: не то сожаление, не то какое-то опасение. Чего испугался Отто? Что мелькнуло в его мыслях при взгляде на нее?.. В этот момент его выутюженные брюки, мастерски завязанный галстук, ровные и холодные движения рук и головы отвратительны. Совершенно незнакомый человек. Совершенно.

— Так, значит, наша страна только подъопытный кролик? И всё это страшный опыт, от которого у всех спазма в горле? И у тебя и у папы? Послушайте, может быть, вы... вы *боитесь* и... меня? Может быть, жалеете, что всё сказали, потому что... потому что я... Слушайте, говорите начистоту — *боитесь* дочери и жены?

Ответа нет.

Тогда Нинель помедлила секунду, сорвалась с места, схватила пальто. Ее трясло, как при горячечном ознобе. В торопливости никак не могла просунуть руку в рукав. Разорвала подкладку. Еще раз подошла вплотную к Отто. Показалось, что глаза у него стали совсем другого цвета, губы сложились в незнакомую улыбку, бровь изогнулась недоброй линией. Повернулась к отцу: тот сидел с горько опущенной головой. И он... даже не взглянет...

— Отто,.. не может же быть, — сказала она просительно (в голосе дрогнула теплота... надежда), — не может же быть, Отто, — ты не так думаешь... ты просто споришь... Отто, да?

Крепко стиснув кулачки, ждала.

Они молчали.

— Чужие! Чужие!.. Я вам не нужна! — выкрикнула она со слезами и выбежала из комнаты.

...Зенф точно проснулся. Засуетился. Махнул рукой и бросился без пальто вслед за ней.

...Леонтий Андреевич долго сидел, не двигаясь. Встал затем и бесцельно походил по комнате, перебирал безделушки на столике. Был среди них и фарфоровый слоник с отбитым хоботом. Тот самый слоник, которого Рая подарила крошечной Нине на счастье.

Постоял у открытого пианино... Добрался до письменного стола, написал записку на рецептном бланке:

«Приходите-ка завтра после собрания ко мне».

Написал, подумал и разорвал.

Оделся и вышел.

Ни на лестнице, ни на улице их не было.

12

Директор, окруженный ближайшими сотрудниками, появился ровно в семь. Актовый зал Института был уже переполнен. Многие пристроились на низких подоконниках больших двухсветных окон, стояли под стенками, в проходах. Нарядно в зале, но холодно, поэтому большинство в пальто.

Президиум проследовал на эстраду и расположился за длинным столом с темно-зеленой скатертью. По предложению секретаря парткомитета кооптировали в президиум прибывших представителей Горисполкома и прессы.

Пошептавшись между собой, руководство открыло собрание с угрюмой серьезностью и медлительностью. В зале стало еще холоднее.

Директор в новом темно-синем костюме, видно, только что побывал в парикмахерской, чувствовал себя подтянутым. Взобрался на кафедру сбоку от стола, долго раскрывал папку; в полной тишине притаившегося зала слышно было, как он шуршит бумагами. Не то эта затяжная пауза нарочно придумана для нагнетания напряженного настроения, не то она — та минута, когда в последний раз продумывается ответственное слово.

Егор Гуля нашел себе неплохое местечко. Он уселся в конце зала на вторую кафедру, отодвинутую за ненадобностью в угол. С высоты всё видать. Соблазнительное место. И, собственно говоря, если потесниться, то можно сесть вдвоем. Поэтому Ира и тянет его за штанину: — Подвинься, подвинься, парень, дай дорогу женщине, — шепчет она, играя карими с золотцем глазами, — что мы с тобой только в цирке тесно сидим?

Егор даже доволен: «от бабы хорошее тепло идет».

— А ты тоже выступишь?

— Ну, что за вопрос, — раз в газете облаяли, молчать негоже.

После первых фраз, очень похожих на газетную статью «Добьем...», директора слушали не очень внимательно. Только когда он перешел к «позорным фактам, обнаруженным у нас в Институте» и каким-то обиняком коснулся «вражеской вылазки выродка Кузмичева» — все насторожились.

Голос директора наростал, приобретал зловещие переходы интонаций. Он спрашивал и отвечал: — Допустили мы, товарищи, подобное? Допустили. Потеряли бдительность? Потеряли. Кто виноват? Надо прямо сказать, — весь коллектив в ответе. Каждый из нас несет долю вины, и мы это должны самокритично признать, но больше всего отвечают те...

(Здесь была сделана томительная драматическая пауза. Директор величественно снял пробку со стеклянного графина. Булькала вода, переливаясь в стакан. Директор сделал несколько глотков с таким чувством, что многим захотелось пить).

..Но больше всего отвечают те, — с новой энергией повторил директор и даже поднял палец, — те, которые непосредственно общались с вредителем и не уловили его, так сказать, запаха. Совершенно неоспоримо, что к этой вылазке была подготовка. Враг где-то уже высказывался, и его слушали, пропуская яд мимо ушей. Считали остряком. Кто-то подсмеивался, не соображая, что этим он соучаствует в подрывной работе. Староста комнаты, например, где жил диверсант, ни разу не сигнализировал в соответствующие инстанции, — чем дышит и как высказывается предатель.

— Ой, — шепнула Ира, — это он тебя кроет, Егор.

Егор только прищурился и проглотил слюну.

— Если бы не третий из их комнаты, тов. студент Иван Колесник, не потерявший классового чутья, то мы ничего бы и не знали о хулиганстве Кузмичева, устроившего чуть ли не поножевщину на улице. Староста Гуля промолчал об этом.

А во время драки негодяй уже делал контр-революционные намеки. Они и стали сюжетом бездарного стихотворения, которое он хотел вывесить в Институте. Благодаря большевистской честности буфетчицы, тов. Визировой, эта диверсия была своевременно ликвидирована. Но я не уверен, не сидят ли здесь лица, успевшие прочитать грязный пасквиль и *промолчавшие*... Может быть, они сейчас среди нас и продолжают молчать?!

(Снова графин и бульканье).

Никто не смотрит на соседа. Ни шопота, ни кашля. Как будто — в зале никого нет.

— Не меньшая вина, если не бóльшая, лежит на нашей организации Комсомола и, в частности на ответственных за быт, учебу и культмассовую работу — товарищах Звагич и Лысич. Самоуспокоились, занялись высокими материями и упустили врага из поля зрения. Занимаются личным благоустройством. Подменяют живую работу голым администрированием.

— Это он о Нинельке, — горячим шопотом дует Егору в ухо Ира, — это — что она... с Зенфом. А где они?

— Она у колонны, — еле слышно отвечает Егор, — а Зенфа нет.

— Не-ет?! — Ира потрясена и глазами проверяет, так ли это.

— Но этот эпизод, окунувший наш Институт в помои, кричит и выдает себя с головой, а за ним прячутся другие факты, на которые надо во-время обратить внимание. Они кажутся, на первый взгляд, незначительными, но в свете происходящих событий, они становятся тревожными. Я бы сказал — наш город отстает, не обнаружил той зоркости, как в других местах, и поэтому появление четкой статьи в нашей газете надо только приветствовать. Наша пресса помогает вскрыть наши промахи и гнойники. У нас есть вредные тенденции в преподавании, и кафедры попустительствуют искажению истории классовой борьбы, не видят замаскированной религиозной пропаганды, замазывают революцион-

ную иностранную литературу и приучают нашу молодежь к красивеньким стишкам феодального типа...

— Егор, Зенф пришел! Смотри, — в дверях.

Зенфа увидели студенты, сидевшие около двери. Крайний привстал, чтобы уступить ему место. Зенф, спокойный и вежливый, задержал его на стуле рукой и остался стоять. Он долго и внимательно осматривал ряды, пока не увидел Нинель.

— ...Все эти вопросы мы должны обсудить и выслушать самокритику. Порядок выступлений — по записи. Желающие подавайте записки.

Директор сел за стол под дружные, но короткие аплодисменты.

Егор отнес на эстраду свою записку и вернулся назад.

— Волнуешься? — Ира погладила его незаметно по спине.

Напряжение в зале нарастало.

Первым попросил слова преподаватель Серганов. Маленький, стриженый бобриком, с припухшими веками, в громадных роговых очках, ежеминутно сползавших на кончик носа, он подпрыгивал на кафедре и однообразно жестикулировал рукой. А голос — высокий фальцет, и всё на одной ноте.

— Надо быть благодарным тем указаниям, которые открыли кафедрам и, в частности, мне глаза на грубые ошибки в нашем преподавании. Конечно, это ничего общего не имеет с диверсией врага, но...

Но его уже перестали слушать.

«Хвост», — подумала Нинель. Она часто проводила рукой по лбу: в голове что-то творилось, путалось, в висках быстро и болезненно отстукивало. В пальто, а зябко. — «Ведь и вправду хвостом виляет. А вот что он по-настоящему думает?»

За Сергановым, с удивительным увлечением разбившим самого себя в пух и прах, на кафедре появилась изможденная, большеротая преподавательница языковедения. Всё се-

рое — и платье серое, и волосы серые и лицо серое, разве что малиновые пятна на скулах — только сегодня.

Смотрела она поверх голов и чем больше хотела казаться безразличной, тем больше видно было ее волнение. Лучше бы не пила воду, — вон как стакан пляшет в костлявой руке. Странно говорит она: три слова и пауза, два слова и пауза. Слов боится. Ну, конечно, правильно в газете, всё правильно. Недопустимо было говорить о значении церкви в распространении грамотности. Сама не понимает, как она переоценила этот фактор. Хотя, впрочем, если взять к примеру Лютера. Библию его. Лютер, как известно, оформил новый немецкий язык. Или если вспомнить Кирилла и Мефодия, то опять же...

Секретарь парткома помассировал лысую голову, а потом шепнул директору. Директор, повидимому о чем-то замечтавшийся, встрепенулся и позвонил колокольчиком: — Товарищ Кирбис, закругляйтесь, закругляйтесь.

Кирбис растерянно посмотрела на президиум. Поморгала недоуменными глазами и вдруг заторопилась: — Да, так вот я и говорю, — недопустимо выпячивать церковное влияние. Совершенно согласна с указанием... и... и больше это не повторится.

Она уже спускалась с кафедры, смотря под ноги, — не оступиться бы, и неожиданно вновь поднялась: — Я хорошо это продумала, — это вредно, да!

Теперь она уже совсем ушла с эстрады и плелась к своему месту, вытирая большой рот платком, виновато улыбаясь.

«Жалкая, — решила Нинель, — тоже по-своему виляет».

— Слово имеет..., — директор посмотрел в список, — студент тов. Гуля.

Егор громко спрыгнул со своего места и громадными шагами затопал через весь зал на сцену. Схватился ручищами за ребра верхней доски кафедры, пожевал губами, тряхнул головой и по-митинговому гаркнул: — Товарищи! Что можно сказать по этому вопросу? Ничего нельзя сказать, товарищи. Вся критика, можно сказать, в самую точку. Всё

правильно. Не доглядели? Ясно. Кто виноват? Мы сами. Урок это нам? Урок на всю жизнь. Конечно, поножевщины никакой не было. По существу — кулаками промеж собой дрались. Но я это безобразие прекратил. Теперь: видели мы, как Кузмичев стихи писал? Нет, не видели. Я хочу сказать, что должны были видеть. Тут еще насчет алкоголизма... как бы сказать... перегнуто. Выпивал он, само собой. Но так, чтобы алкоголик, — я бы не сказал. Но это неважно. Сигнализировали мы об этом? Жан, то-есть, я хочу сказать тов. Колесник ярко сигнализировал, в стенгазете каррикатура была, как тов... то-есть, я извиняюсь, *враг* Кузмичев в объятиях с бутылкой находится. Не так, значит, надо было. За врагом по пятам надо ходить. Так что критика нас учит, как быть советскими людьми, и за то партии и правительству наше пролетарское спасибо!

Егор торжествующе проследовал на свое место. Ира прижалась к нему:

— Орал ты очень, а так хорошо: не долго.

Егор в ответ: — Без антимоний. Придумал заранее, чтоб четко было.

Нинель сидела с закрытыми глазами. Всё ей слышалось издалека. Кажется, что кто-то слегка покачивает ее на качелях.

Соседка толкнула ее в бок: — Иди, твоя очередь. Фу, какая ты зеленая.

Нинель медленно всходит на кафедру. (— Вот Нинелька сейчас даст жизни, — настораживается Ира). Странным всё видится Нинель. Зачем ей этот зал, эти люди? Разве нужно что-то говорить? Сейчас бы лечь и не двигаться. И ничего не нужно. Ничего.

— Тов. Лысич, вам предоставлено слово. Мы ждем, — еле доносится до нее. Она делает напряжение, и в ушах проясняется. Что это, будто проснулась? Ну да, конечно, всё реально, понятно; что это с ней?

И Нинель, придя в себя, досадуя на себя за свой дурман, обращается к залу, привычно владея и словом и голосом. Сколько ей приходилось говорить!

Да, она считает эту газетную статью нужной и справедливой во многом... («во многом», не во всем? — Головы в президиуме настороженно поворачиваются к ней).

...Верно, когда говорят, что и руководство и она сама и весь коллектив оказались не на высоте... («что это, и я виляю? Но не виляю же я, я говорю что думаю и чувствую!!»)... но враг ли Кузмичев? Может быть, он просто сбившийся с дороги парень, на которого не обратили достаточного внимания, накричали на него, отдалили от себя, ожесточили?.. Он сделал из мухи слона. Этот слон, конечно, отвратителен, но он всё-таки — муха («о чем шепчутся в президиуме? Они мешают мне»)... Мухи и у преподавателей... Они же не сумасшедшие, чтобы проводить контр-революцию. Посмотрите, как они испуганы своими ошибками... зачем пугать... надо помочь. Они просто не знают, как по-большевистски надо подходить... Они хотят правильно, но они ошиба... оши...

...Провал...

...Ничего нет для Нинель...

Партсекретарь первый заметил, что Нинель легла грудью на кафедру и начинает сползать. Опоздай он на секунду, и тело ее тяжело рухнуло бы вниз. Из переднего ряда подбежало несколько мужчин. В зале зашевелились, заговорили, начали вставать. От двери к эстраде бежал Зенф.

— В корридор ее, в корридор, — повторял партсекретарь и досадливо морщился.

Попробовали поставить Нинель на ноги, но она была без чувств. Пришлось вынести на руках и положить на широкую скамейку под окном. Зенф сбросил с себя пальто, скрутил его в скатку и подложил под голову Нинель. Страшно было ему смотреть на ее неподвижное лицо. Но она дышала, мелко и часто. Егор умчался на поиски извозчика. Ира и еще две подруги растерянно стояли рядом.

Из зала кто-то крепко прикрыл дверь. Собрание продолжалось.

Нинель неожиданно сделала глубокий вздох. Второй. Третий.

— Посадить ее надо, нехорошо лежать, — засуетилась Ира.

Когда поднимали Нинель, она нешироко открыла глаза, очнулась, рукой отстранила приложенную к губам жестяную кружку с водой, сказала — «нет». Глянула на окружающих, с удивлением увидела Отто, ожила и тревожно спросила:

— Почему?

Действительно, было странно, почему она в этом коридоре, почему около стоят и страдательно смотрят на нее?

Из зала прибежал студент, пугливо скользнул взглядом по жалкой Нинель и сообщил, что товарища Зенфа зовут на сцену: ему предоставлено слово.

Зенф покачал головой: — Я не имею речь. Я не просил.

Студент побежал в зал и почти сейчас же вернулся: — Вам нужно, тов. Зенф, на эстраду. Президиум считает, что вы должны выступить.

Отто встретился взглядом с Нинель. Она смотрела странными, немигающими глазами.

Зенф медленно пошел к двери. Обернулся и опять увидел те же непонятные глаза.

— Ein Moment, — обратился он к Ире и жестом объяснил, чтобы она следила за Нинель.

Все головы в зале повернулись к нему и молча следили, как он идет на эстраду. Носком задел за порог, удержался рукой за угол кафедры. Встал ровный, статный.

— Можете говорить по-немецки, — предупредил директор: — сделаем перевод.

Зенф заговорил по-русски: — Я имею сказать толко такое: когда я вредно читаю лекций, я должен не читать лекций, не правда ли? Я должен учиться для правильного преподавание. Also, я не могу теперь преподавать. Это есть мое решение. Это всё.

Он уже успел быстро спуститься в зал и подойти к двери, когда его остановила реплика директора: — Собрание ждет от вас развернутых объяснений. Решение вынесем мы, а не вы.

Зенф повернулся к президиуму и повторил: — Я сказал *мое* решение. Guten Abend.

Головы в президиуме склонились друг к другу. Партсекретарь сильно массирует лысину. В зале что-то странное: тихо, даже очень тихо, а кажется взвихрился беззвучный шумок, сотни глаз блеснули и сочувственно проводили фигуру немца, плотно закрывшего за собой дверь.

— Товарищи, что за шум? — спросил раздраженно директор в абсолютной тишине.

...В корридоре было по-старому. Нинель сидела в окружении подруг. Вот только Егор вернулся: извозчик у подъезда.

Странно, что Нинель ничего не говорит Зенфу, странно и то, что он заботится о ней, но без слов.

— Нинель, ты можешь идти? — спрашивает Ира.

Нинель привстает и при помощи окружающих медленно плетется по длинному корридору, еще медленнее спускается по лестнице и карабкается в извощичьи сани. Зенф садится рядом, поддерживает ее за талию и говорит извозчику свой адрес.

— Нет, — слабо качает головой Нинель и называет адрес отцовской квартиры.

Подруги и Егор смотрят вслед: покачивается тельце Нинель от неровного хода лошаденки; вот, сани поворачивают влево, Нинель еле удерживается при толчке, и голова ее никнет к плечу Зенфа.

— Д-да, — вздыхает Ира, — что же это с ними, а?.. Ну, идем на собрание.

Они с Егором возвращаются в зал, когда партсекретарь уже в апогее своей темпераментной речи:

...В порядке самокритики выступали тут товарищи и безоговорочно признали свои ошибки. Это здоровый подход,

товарищи, и мы создадим условия. Кафедры поставят вопрос и обсудят ликвидацию неполадок. Мы им поможем. Однако, мы слышали здесь и другие сигналы. Надо сказать прямо, — нам надо насторожиться. Например,... тов. Гуля. Он замазывает вредительство. Поножевщины, говорит, не было. Кузмичев не алкоголик и так далее и тому подобное. Что это, я вас спрашиваю? Вместо того, чтобы раскрыть дополнительно гнусные факты, он отрицает. Неверно, товарищи. В корне неверно. Но тов. Гуля будет иметь возможность на особом КСМ-собрании сказать еще раз, и мы послушаем. Тов. Лысич пыталась протащить типично меньшевистскую соглашательскую политику. Для нее вылазка врага — муха. Вы только подумайте: му-ха! Здоровая критика для нее жестокость...

— Больна же она... больна! — раздались голоса из разных концов зала.

— Больна она — это верно, — согласился оратор, а только известно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке...

— Больной — не пьяный, а больной, — выкрикнул кто-то.

Партсекретарь негодующе посмотрел на директора. Директор звякнул колокольчиком: — Не срывать собрание! Кто это там из толпы говорит? (Молчание). Я спрашиваю, кто сказал?

Сбоку поднялся студент.

— Призываю к порядку, — внушительно пригрозил директор, — в следующий раз выведу.

Партсекретарь заканчивал: — Предлагаю передать вопрос о Лысич в бюро КСМ на рассмотрение. Результаты с характеристикой переслать в ГорКСМ, где она работала по кооптации.

— Егор, Егор, — шепчет Ира, — уловил? Не «работает», а работа*ла*. Понимаешь?

— Никуда не годится позиция преподавателя Зенфа. Обиды у нас ни к чему. И никто не дает права преподавателю самодемобилизоваться. Нездоровые суждения у лектора: со-

ветский театр неверно играет Шиллера... Немецким пролетарским писателям не хватает культуры. Какой культуры? Буржуазной?.. На лекциях чтение любовных стишков Гейне. Предлагаю — поставить вопрос о тов. Зенфе в партбюро и на кафедре...

Чувствуется конец собрания. Еще сидят, но уже надевают кашне, смотрят на часы.

Директор вынимает из портфеля лист бумаги и сообщает, что поступила резолюция. Читает предложения партсекретаря. — Кто «за»?.. Опустите руки. Кто против?.. Нет никого. Кто воздержался? Тоже никого. Собрание объявляю закрытым.

На улице Ира встревоженно спрашивает: — Егор, а Егор, разве ты защищал Алёшку?

Егор шагает так, что Ира вприпрыжку еле за ним поспевает.

— Надо, видишь ли, двумя хвостами крутить, одного мало... Придется еще самокритикнуться, всё-равно.

13

...Долго ли, коротко ли, дни, месяцы, а, может быть, годы лежит вот так Нинель в своей прежней комнате? А может быть, всего несколько часов?

Всё полустерто в мыслях. Не память, а мерцание: то выплывает — вот перед ней настороженные головы, головы на собрании, — то на санях, и пылит приятно снежная пудра ей в горячее лицо, то Отто бормочет что-то, укладывает ее в постель... Ничего не сообразить, было это или чудится?.. Пчелы. Вот пчелы летают вокруг, и так жарко ей... Ах, пчела вонзила жало в бедро, как ядовито-жгуче! Почему же, откуда пчелы?

Нинель открывает глаза. Одеяло откинуто. Леонтий Андреевич в ночной сорочке (шея худенькая, губы плотно сжаты, глаза строгие) смотрит на точку инъекции, снимает иглу со шприца, прикрывает Нинель одеялом. Нинель делает страшные усилия и садится в кровати.

— Ложись, ложись, дочурка, — уговаривает Леонтий Андреевич.

Но Нинель не может лечь, пока не скажет. Она знает, что́ сказать; ей давно уже надо сказать об этом, только вот... слова не вспоминаются. Сейчас, она найдет слова. Сейчас.

— А я на него ногами топала. Папа, я топала... А он заплакал.

— Хорошо, хорошо, ложись, — ворчливо приговаривает Леонтий Андреевич и взбивает ей подушки, — всё это приснилось тебе, ничего ты не топала, и Отто не плакал.

Нинель обижается: — Как же не топала? Я тогда хотела, чтобы он умер... чтобы ты умер... папа, и чтобы я тоже умерла.

— Мало ли чего хотела. А вот мы все живы. Ну, ложись, готово.

Нинель с отчаянием смотрит на отца. — Мы в лесу были. У речки. Я снег ела. Я прогнала его... папа!..

Нинель начинает тягостно, захлебываясь, плакать. Откидывается на холодные, рыхлые подушки, облизывает соленые от слез губы, закидывает горячие руки за голову.

Леонтий Андреевич садится рядом и увещевает: — Нехорошо. Выдумала и плачешь. Тебе не плакать, а спать надо.

— Он больше никогда не придет, — горестно шепчет Нинель.

— Кто это не придет?

— Отто.

— Зачем же ему приходить, когда он всё время здесь.

— Нет.

На пороге появляется полуодетый, с помятым лицом Зенф. Нинель долго смотрит на него, протягивает к нему руку, рука падает, а Нинель затихает с неплотно прикрытыми веками, — поблескивает мокрая полоска белка из-под тени ресниц.

— Ложитесь, Отто, — Леонтий Андреевич строг, — сва́литесь и вы, а тогда для вас обоих больницей пахнет. Сегодня моя ночь. Завтра вы опять подежурите.

Две недели Зенф, несмотря на вызовы, никуда не являлся. Написал только в Москву, в немецкую секцию Коминтерна. Получил, между прочим, анонимное письмо: «Смелый человек, вы не одиноки. Икс». Сочувствие? Провокация? Ему сейчас всё равно: по-матерински угадывая каждое неясное движение, каждый вздох, следит он за Нинель, горестно записывает температуру — всё выше сорока, готовит ей питье, раздобыл за сумасшедшие деньги апельсины, бродит около нее, старается разобрать ее шопот, и кроме этой вот Нинель — нет для него иного мира, всё замкнулось в этом горячечном кольце.

А партсекретарь беснуется, увязывает, согласовывает, звонит по телефону, ездит в Горком и Обком. Директор только покачивает головой, подписывает отношения, запросы и, наконец, телеграмму в центр. (— А было сообщено насчет его фото-снимков? Ага. Хорошо).

...На второй день, после того, как кончилась устрашающая борьба во всем существе Нинель, и она заснула без бреда и сновидений глубоким и ровным сном, а Леонтий Андреевич, желто-серый, с ввалившимися глазами, весело хлопнул по плечу Зенфа в кухне со словами: — Ну, поживем втроем еще маленько, — вот, в этот день Отто получил из Москвы немедленный вызов.

Вечером Нинель лежала в полутьме и мечтала. И так хорошо мечталось: нежное, доброе шевелилось в душе, — ничего еще оформленного и ясного, а так, вообще, как бывает у поборовших лютую болезнь и начинающих выздоравливать. В соседней комнате было светло, там тихо разговаривали они, Отто и Леонтий Андреевич, уютно позвякивала посуда, — вечернее чаепитие. Ничего, — теперь еще несколько дней, и она будет вместе с ними, все втроем за столом. Там, за окнами ходят люди, едут извозчики, звонят трамваи, но это не то, что нужно Нинель, — ей бы покрепче схватить в охапку жизни их обоих, не упуская, держать у самого сердца.

Не выдержала, еле слышно позвала: — Отто, — и загадала, если услышат...

Услышали. Двинули стульями. Встали. Оба идут.

Она улыбается, молчит. Отто нагибается, а она пальчиком стирает морщину меж его бровей: — Теперь уже не надо хмуриться.

Отто в ответ улыбается утомленными глазами. Леонтий Андреевич покряхтывает и очень интересуется, плотно ли занавешено окно.

— Отто, не всегда же будет зима? Придет зеленая, ты понимаешь, зеленая весна. Правда, папа?

— По законам природы за зимой неукоснительно следует весна, если земля не перестанет вращаться вокруг солнца, — докторально отвечает Леонтий Андреевич. Шутит. Разве нельзя придумать шутку без «если»?

А потом Нинель снова мечтала и не заметила, как заснула.

Отто крепко поцеловался с Леонтием Андреевичем, захватил небольшой чемоданчик и пожал плечами, когда доктор на лестнице в последний раз сказал: — Я предчувствую, что вы скоро вернетесь. Они потребуют самокритики. В конце концов, без этого не обойдешься... ради Нинель, Отто.

В середине декабря Алексей Васильевич специально ходил на почту получить какую-то странную, неожиданную посылку. Из Иркутска! Отправитель «Чоу».

Анна Сергеевна сосредоточенно распаковывала небольшой пакет; из трех оболочек вынырнула круглая коробка, а в ней кетовая икра. Анна Сергеевна даже сняла очки.

— Алёша, здесь не меньше трех фунтов, ты понимаешь?

— Угу, — согласился профессор и кончиком ножика взял несколько красных налитых икринок, попробовал: — Превосходная. Такая же, как двадцать лет назад. В Иркутске, оказывается, есть.

— А ты знаешь, кто? — почти одними губами спросила Анна Сергеевна, — ведь это — Алексей.

Профессор кивнул головой. И ему представился Алёша с отмороженным носом, в валенках и ушанке, проваливающийся в снежных сугробах. Уходит, всё дальше, всё дальше... вот видна только точка. Но эта точка движется, чорт возьми, движется по прямой!

Профессор помнил просьбу Алёши: если подаст весть о себе, передать дочери доктора Лысича две аккуратно завернутых тетрадки.

Не откладывая в долгий ящик, Алексей Васильевич отправился на следующий день — как раз в воскресенье — на квартиру доктора. На всякий случай настукал коротенькую записку, не застанет — попросит зайти к нему. Записку засунул под веревочку, ею был с педантической аккуратностью крест-на-крест обвязан сверток.

Открыл ему дверь Леонтий Андреевич.

— Да, дочка дома. Она после тяжелой болезни. Было крупозное воспаление легких, а поэтому сидит еще в своей комнате, самой теплой. Вероятно, она уже одета.

Профессору совсем недолго пришлось дожидаться; доктор пригласил его к дочери. Нинель показалась маленькой, слишком тонкой. Сурово сдвинутые брови. Она и разговаривала как-то странно: скажет несколько слов и задумается. Слушает, опустив голову, отвечает не сразу, а каждый раз будто проснувшись: не оставляет ее какая-то своя мысль, самая важная; всё, что она слышит — второстепенное.

Профессор сделал коротенькое вступление, что, мол, он, профессор Нозинский, имеет честь выполнить взятое на себя обязательство от одного своего молодого друга — студента Кузмичева.

— Кого? — с изумлением переспросила Нинель.

— Алексея Васильевича Кузмичева, которого вы, очевидно, изволили знать.

— Да, изволила, — иронически подтвердила Нинель. Опять задумалась.

— Я позволяю себе вручить вам эти тетрадки от него, при чем уведомляю, что содержание их мне неизвестно.

Профессор кладет пакетик на столик и ждет. Глубокая пауза.

Нинель замечает под веревочкой зажатую записку, вынимает ее, разворачивает и долго вглядывается в короткий напечатанный текст.

— А это что за записка?

Профессор спохватывается. Ах, он забыл ее вынуть, он оставил бы ее в случае, если бы...

Нинель возвращает ему записку и говорит странную фразу: — Не печатайте, профессор, на этой машинке. Долго не печатайте.

Профессор в недоумении и даже не знает, просить ли объяснений. Но Нинель сама приходит на помощь. Профессор узнает очень неприятные вещи...

— Вот, что наделал ваш «молодой друг». Он и вас ставит под удар. Где он теперь? — нехотя интересуется Нинель.

Нозинский разводит руками.

Нинель разворачивает тетрадки и видит тот же шрифт.

— Я их уничтожу, — сообщает Нинель, делает опять тягостную паузу и добавляет: — может быть, не читая.

Профессор смотрит на ее скорбно сложенные губы, опять разводит руками: — Вы вправе сделать, что вы пожелаете. Я выполнил лишь поручение.

— Если только вы знаете, где он, — не переписывайтесь с ним, — он этого не заслуживает.

Нозинский встает, церемонно кланяется и уходит.

Только на улице он чувствует, что его охватывает волнение. Не боязнь, нет — досада: любовь слепа. Алёша, конечно, любил ее. Вот эти суровые, холодные глаза? Ну, и натворил же бед... А Анне Сергеевне совершенно не к чему рассказывать обо всем, тем более о машинке... Ах, Алёша. *Она* не заслуживает тебя.

До тетрадок ли Нинель теперь? Так и лежат они час, два, три — еще не просмотренные... А вот — карандашом

набросанные строчки, строчки Отто, только что приехавшего в Москву и обещающего писать ежедневно, — они перечитываются, и кроме этих строчек ничего не нужно... Ежедневно? Однако, ни вчера, ни сегодня — новых писем от него нет. Уже три письма она отправила в Москву по адресу Франца Шахтель. Пусть Леонтий Андреевич иронизирует над ее нетерпением, и под его подтруниванием припрятана тревога, от Нинель ведь не скроешь, нет. Оповещение о том, что она освобождена от исполения обязанностей кооптированного члена ГорКСМ? Ну, и что же? Рассказ Иры, что Нинель вывели из институтского КСМ-бюро? Ах, да это всё ненужное, мелкое. Уехать бы подальше, в Москву, в Ленинград. Скверный наш городишко. Как на подбор сидят карьеристы и трусы. В центре, конечно, всё по-иному: бурлит созидательная смелая жизнь, там и Отто дышал бы иначе. Здесь он задохнулся, оттого и бродят у него странные мысли. Но почему он не пишет? Что случилось?

Бродит тенью Нинель по комнате и вспоминает, какой была она счастливой в первые дни выздоровления.

Опять эти тетрадки подворачиваются под руку! Ну, что в них? Стихи. Конечно.

«Мечтать нельзя нам. Разучились...»

— Да, так мечтать, как он, нельзя...

«Не верь себе, — ты в обольщеньи,
Кому ты служишь? Оглянись...»

— Нет, он ничего не понимал. Не «кому», а *чему* мы служим. Неужели он так никогда и не понимал, для чего сломано прошлое?..

«За веру нашу в сатану
Придет однажды ангел мщенья...
Где якорь нашего спасенья?
В Любви. Поверь в нее одну...»

— А что если... если показать всё это в бюро? И шрифт известен, и все ниточки начнут распутываться. Заплатить этим

за спасение моей любви. Не мистической, с большой буквы, а *моей*. Ведь там, у полувыжившего из ума, старорежимного старика с допотопной машинкой — не один, может быть, «молодой друг», гнездо целое?.. Проклятая я, — этим не спасешь, а на смерть убьешь любовь Отто... Если бы он узнал, что я только подумала так...

Вернулся с прогулки Леонтий Андреевич. Обещал зайти на квартиру Отто.

...Да, он был там... Комната опечатана. Хозяйка в отчаянии. Ночью был в его комнате обыск.

Нинель разожгла в кухне плиту и спалила алёшины стихи. Тетрадки горели, огонь переворачивал и испепелял листы, но не сжег в памяти нескольких строк. Наоборот, они разгорались в голове ярче:

«За веру нашу в сатану —
Придет однажды ангел мщенья...»

...На следующее утро почтальон принес письмо от Франца Шахтель:

«О. Зенф поручил мне сообщить Вам в том случае, если он не вернется после допроса ко мне. Он не вернулся. Ф. Ш.»

Леонтий Андреевич был бессилен повлиять на Нинель. Пусть она слаба, но она едет в Москву. Там, конечно, не здешние бюрократы и шкурники. Это всё они подстроили. Она всюду пойдет. Она к самому Калинину пойдет. У Горошина есть связи. Он сейчас закажет по телефону билет. Всегда есть из какой-нибудь брони. А в Москве можно без прописки устроиться на несколько дней у того же Шахтеля или кого-нибудь другого.

Леонтий Андреевич оделся, отправился к Горошину. Вечером он провожал Нинель. У Горошина же перехватил 250 рублей на дорогу, — в доме осталось всего несколько десятков.

На вокзале столкнулись с Горошиным и... Агаровым. Актер тоже ехал в Москву. Хорошо, — присмотрит за Нинель. Он и Горошин были навеселе.

— Опрокинули за здравие, Ниночка, за здравие. Всё знаю и всё понимаю, не говори. Уверен, что привезешь мужа здравым и невредимым. Ты ведь ловкая. Обязательно — где нужно — реверанс, где требуется — «бияше себя в грудь», а, главное, — «с коммунистическим приветом». Нельзя иначе. Каждое время имеет свой этикет. Вот, я всё Агарова инструктирую и, видать, не без пользы. Ну-с, а теперь мы носильщика приспособим, надо же нижние места, ведь почти сутки ехать.

Горошин суетился, отдувался и пыхтел винным духом. Не смешно, противно Нинель. Молчит рядом с ней вялый Леонтий Андреевич, держит саквояжик; Нинель даже второго платья не берет.

Носильщик с тараканьими усами повел их через какую-то служебную дверь. Другие пассажиры стояли еще в очереди перед выходом на перрон.

В вагоне было уже много народу, «по блату» раньше времени засели.

Нинель мельком посмотрела на свое купе, оказавшееся только на двоих (Аргаров храбрился: — пара пустяков — полезу наверх). Носильщик пристроил вещи. Вышли и долго еще стояли у вагона, слушая прибаутки Горошина. Может быть, ему самому надоело болтать, но он считал своей обязанностью повеселее напутствовать уезжающих. После второго звонка, стоя в вагоне у окна, Нинель нетерпеливо ждала, когда тронется поезд — скорей бы в Москву. Поехали! Нинель, в первый раз улыбнувшись, кивает отцу и посылает воздушный поцелуй.

Он и Горошин делают несколько шагов рядом с поездом, потом смотрят, как он, подгибая под собой рельсы и шпалы, лязгает на стрелке, загибает за водокачку и уходит в темноту. Вон — только красненький фонарик последнего вагона плывет, уменьшаясь, всё дальше и дальше...

— Идем, Леонтий Андреевич, — мягко, по-дружески тянет за рукав Горошин. Он, как актер, уходящий за кулисы

по окончании спектакля, снимает с себя грим. Роль сыграна. И лицо Горошина пасмурное и усталое. — Идем. Может быть, ко мне? Нехорошо тебе сейчас быть одному. Ах, ты еще к больному? Ну, до трамвая вместе. Жалко девочку. Посыплются ей теперь в Москве на голову всякие шишки.

— А ты же говорил, что уверен в удаче.

— Леонтий Андреевич, — с плаксивой укоризной и удивлением тянет Горошин, — как же можно в дорогу пророчить страхи? Обнадеживать надо, обнадеживать...

Агаров дымил папиросу за папиросой. От его платочка в наружном кармане несло крепкими неприличными духами. Шуршал бумагой, — вытащил ресторанные слоеные пирожки и с большим аппетитом принялся за них: понюхает, откусит и посмотрит на оставшуюся половинку.

Нинель отказалась от его угощения. От дыма стала кашлять, в висках ломило, покалывало.

Вышла в коридор и засмотрелась в окно: снег светил в мутной ночи, снег, легший на поля, леса, речки, хаты. Эта зима принесла ей счастье... и она же отнимает его. Короткое счастье. Да, оно ранено, но не умерло. Лишь бы встретиться с Отто. Она не может без него. Увидит и скажет: — А ты знаешь, упрямый, жестокий и чудесный Отто, нас будет скоро трое, ты понимаешь — трое: ты, я и... кто оно?.. Нет, четверо, Отто, — у третьего — есть странный, но такой родной — дедушка... Где же тебя искать, Отто? Ведь я найду тебя?..

— Вы найдете его, разумеется, — мягким, рокочущим баском сказал над самым ухом Агаров. Он давно поглядывал из купэ в коридор на маленькую пригорюнившуюся фигурку. От Горошина он знал, что произошло в семействе Лысич. Слоеные пирожки исчезли, промасленная бумажка выброшена через окно и осталась лежать на неведомой насыпи, бестолково сначала повертевшись в шумном вихре мчавшегося по-

езда... Из саквояжа была извлечена бутылочка коньяку, оказавшегося отменно жгучим и ароматным. Вместе с алкогольной теплотой родилась теплота сочувствия, и она была тем проникновенней, чем осязательней было ощущение личной удачи. Надо подойти к ней, к этому падшему комсомольскому ангелу.

— Вы найдете его, разумеется, — повторил он и сделал трогательные глаза. Можно было подумать, что он подслушал ее мысли. — А, кроме того, я не сомневаюсь, что у вас есть опыт, и убедительная искренность и то, что я начинаю приобретать в конце своей жизни.

— Что же именно вы приобретаете в конце жизни? — нехотя поинтересовалась Нинель.

— А это в двух словах не расскажешь. По-моему здесь дует, и вы можете снова простудиться. Не лучше ли вернуться в купэ. Я проветрил и, клянусь жизнью, курить там больше не буду.

В купэ он доверительно тронул ее коленку: — Вы помните, как я там, в ресторане?.. Ну, не без того, что тогда переложил за галстук, но сейчас я свеж, как поцелуй младенца, в трезвом уме и твердой памяти, хоть завещание пиши. Каюсь, было у меня этакое... как бы сказать... пассивное сопротивление... Я это и бухни на производственном совещании в театре, что так, мол, и так — недостоин играть роль вождя. Как это!? — напустились тут на меня всякие ячейки. Чистили, чистили, — от меня, знаете, пар пошел, и перья летели. А потом дирекция в кабинете со всеми конфиденциями ухватила меня за пуговицу. — Это говорят, заслуженный артист? Завтра, говорят, развернутая рецензия о вашем Миллере в газете пойдет, и мы туда интервью с вами прибавим насчет роли Ленина, а вы такое делаете? Вы что? Да тут же при мне по телефону в редакцию дзинь-дзинь: задержать рецензию впредь до нашего уведомления, а на меня страшными глазами смотрят: ведь другая рецензия может быть такая, что вы, милый, закачаетесь. Ну, понятно, не совсем такими словами, это я для фигуральности. Тогда я начистоту и выложил им: —

боюсь, мол, сорваться. А они мне: если как следует будете подковываться, лекции прослушаете, десяток книжек прочтете, то с нашей поддержкой выйдете победителем. Отправим вас в Москву — в Институт Маркса и Энгельса, пересмотрите портреты Ильича, в мавзолее проанализируете, с тамошними актерами, которые уже вождя играли, проконсультируетесь, со старыми партийцами и политкаторжанами (у них там вроде богадельни что-то), они живого Ленина знали, может быть, с самой Надеждой Константиновной Крупской наяву повстречаетесь, — и дело будет в шляпе. Конечно, поработать надо, а вы что же, заслуженный, и уже почили на лаврах? Мы актуальных мастеров поддерживаем, путь к «народному» открываем... И вот, тут я вам скажу от чистого сердца, — начала в моих мозгах происходить метаморфоза. В самом деле, соображаю, что от меня требуется? *Политическое созревание.* Неужели застыть? «Создал песню, подобную стону и — духовно навеки почил»? А ведь классические роли, на которых я собаку съел, — это вроде как стон прошлого. Да имею ли я право не идти с народом вперед? Не найду ли я в своей потрескавшейся душе энтузиазм сегодняшнего дня?.. И вот, я задумался. И чем больше думаю, тем больше прозреваю. Ну, и доктор Горошин, умнейший, я вам скажу, человек, — *современный,* так вот — и он меня «прозревал», если так можно выразиться. И вот, я чувствую, как растет во мне этакая созвучность с моментом, растет и растет... И уж когда я явился в дирекцию для окончательного ответа, то они по моей физиономии поняли, что я им скажу «да» (а ведь у нас, у актеров, физиономия покупная — не разберешь, от себя или от роли). Но тут уж сама морда без притворства. Да ведь и перспектива: в Москву! А я ее, матушку, четверть века не видал. Да, говорю, товарищи, — решаюсь и горд. Давайте командировку. Ну, мы рады, говорят они, что вы настоящий советский актер. И знаете, я-то, я-то — на пробу за книжку, за другую, — представьте себе — раскрывается передо мной нечто невообразимое! Величественное!.. Я уже и голову иначе держу, — хочу, как он, вот —

такой поворот. Купил патефонные пластинки с его речами, — всё слушаю, слушаю, впитываю в себя... Даже энтузиазм приходит, горение, — вот это то, что вы, молодые, всегда в себе носите... Отыграл я очередные спектакли, в новых меня уж не занимают, творческий отпуск, и теперь три месяца — Москва, психологическая и политическая перезарядка, горизонты... Лысый парик мне будет делать величайший спец, бешеные деньги...

Нинель не выдержала: — А зачем вы *мне* всё это рассказываете?

— Как зачем? Показать, как в нашей стране люди делаются другими!

— Какие же книги о Ленине вы уже проштудировали? — Нинель спросила, потому что надо же что-нибудь спросить.

Агаров наморщил лоб, прищурил глаза.

— Мм... эту... как ее... вот, авторов никогда не запоминаю... Раз даже забыл, кто «Макбета» написал. А эта... небольшая такая, вот такого формата, а переплет светло-коричневый...

— Зиновьева, что ли? — подсказала с издевкой Нинель.

— Вот-вот, кажется его, — подхватил Агаров.

— Но ведь Зиновьев злейший оппозиционер.

Агаров замахал руками: — Ну, конечно, не его! Что это я, право. Вот, сболтнул. Боже сохрани! Нет, вполне доброкачественную, — театральный парторг лично вручил... Что это? Мы останавливаемся? Интересно, какая же это станция?

Он выскочил в коридор и пропадал там очень долго, вступил в оживленную и красочную беседу с каким-то военным, прибежал на минутку в купэ, чтобы захватить с собой остатки коньяку, и провалился до полночи.

Сквозь сон Нинель слышала его великолепные гаммы смеха. А сон Нинель — прозрачный, овеянный тоской и хрупкой надеждой.

14

На третий день после отъезда Нинель Леонтий Андреевич получил телеграмму с цензурным штемпелем. Это была телеграмма не от Нинель, а заграничная. Латинскими буквами было написано: «Pervyi yanvar yedu parahod Hamburg poyezd Berlin Budu telegrafit' Jack».

Эх, не до Якова теперь.

Где бы ни был, выслушивал ли больного, писал ли рецепт, варил ли себе картошку, ходил ли за покупками — всегда без перерыва думал Леонтий Андреевич о Нинель...

...После окончания приема в поликлинике, когда сдавал рапортичку в регистратуру, получил от долголетней канцелярской крысы, бескровной старушки, записку: «явиться в Спецсектор к 12.15».

Спецсектор помещался в самом конце длинного коридора, рядом с лабораторией. Дверь в комнаты Спецсектора была забронирована железными листами, а на высоте человеческого роста наглухо закрытое окошечко.

Ровно в 12.15 Леонтий Андреевич, чувствуя тошнотные перебои сердца, постучал в дверь.

Что-то глухо закопошилось за нею, хлопнуло, как хлопает упавшая крышка тяжелого сундука, заскреблось у окошка, и оно отворилось. Быстро глянули оттуда глаза, и окошко вновь захлопнулось.

Прошло не меньше томительной минуты, пока приоткрылась вся дверь. Надтреснутый тенор тихо пригласил: — Тов. Лысич, войдите.

Леонтий Андреевич попал в маленькую комнатку с занавешанным окном. Кругом по стенам стояли шкафы с ящиками для картотеки, две несгораемые кассы. На письменном столе — лампа, светившая в лицо посетителя, — из окна свет еле пробивался. Завспецсектором — существо похожее на мумию. Воспаленные глаза и бесстрастное лицо.

— Садитесь.

Леонтий Андреевич сел у края стола и щурился от света.

Мумия молча стала рыться в одной из картотек. Появилась папка с делом. На ней черные и красные номера, литеры и надпись — «Врач Л. А. Лысич».

— Проверка документов личного стола, — без выражения пояснил завспецсектором и, не мигая, как сова, уставился на Лысича. Затем была извлечена из папки давно заполненная Леонтием Андреевичем анкета.

— Необходимо уточнить некоторые пункты. Вы помните вашу анкету?

Взгляд в упор.

— Помню, — подтвердил Лысич.

— Имеете ли вы переписку с за-границей?

— Да.

— У вас в анкете сказано «не имею».

— Да, переписки не было до этого года.

— С кем у вас переписка?

— С моим двоюродным братом Яковом в Америке.

— Джеком?

— Да, так звучит по-английски. Он едет на родину с разрешения наших властей.

— Ваше мнение об его возвращении?

— Нейтральное. Я его не приглашал.

— А ваша дочь?

Леонтий Андреевич запнулся. Воспаленные глаза зорко следили за ним.

— Дочь считает, что честным людям найдется место в нашей стране.

— Вы с ней согласны?

— Разумеется.

— Почему же вы его не звали?

— Он не молод. Ломать свою привычную жизнь не легко.

— А если Америка показывает свои змеиные зубы?

— Да, тогда надо бежать оттуда. Он это и делает.

— Где он будет жить и что делать?

— Не знаю. Он специалист по швейному делу.

— Зачем уехала ваша дочь в Москву? Встречать дядю?

— Нет, по личным делам на несколько дней.

— У нее есть отпуск из Института?

— Нет, но она после тяжелой болезни, еще неработоспособна и на больничном листе.

— Кто подписал листок нетрудоспособности? В нашей поликлинике?

— Врач студенческой поликлиники.

— Кто именно?

— Рыкачевский.

— Вы с ним в приятельских отношениях?

— Едва знаком.

— Когда приедет в СССР ваш двоюродный брат?

Леонтий Андреевич не выдержал: — Вы же знаете, он 1 января выезжает на пароходе.

Воспаленные глаза крайне удивляются: — Откуда же я знаю? Что вы, доктор Лысич. Если бы знал, не спрашивал бы.

Наступает глубокая пауза. Завспецсектором смотрит в пространство, плотно сжав иссохшие губы.

— Так, — говорит он наконец. — Подпишите, что у вас есть теперь переписка с за-границей. Вот здесь. Надо же исправить сведения в анкете. Теперь всё. Разговор безусловно остается между нами. Я вас больше не смею задерживать.

Леонтий Андреевич уходит, и за его спиной дверь снова замыкается на два прочных и звучных запора.

Первое письмо от Нинель наспех, карандашом: «Я не знаю, где он, — может быть, на Лубянке, может быть, в Бутырках. Ничего не разберешь. Ш. позволил у него побыть неск. дней. Их четверо в комнате. Маленький ребенок кричит целую ночь. Это всё пустяки. Сплю на трех стульях. Папа, что же это, вообще?»

Второе письмо чернилами: «Устроилась у соседки Ш-я. Муж неизвестно где. Была в разных местах. У Калинина очередь на полтора месяца. Казенщина. Но я его раздобуду. Я

здорова, не беспокойся. Деньги еще есть. Если понадобятся — сообщу. Пропал мой слоник».

Пропал. Леонтий Андреевич сам знал, что пропал. Не только при обыске у Отто. Вообще пропал...

...На могиле Раи сугроб снега. Можно ли поверить, что придет, независимо от человеческого хотения, весна и природа будет «красою вечною сиять»?

Слышишь ли ты, Рая, что на земле делается? Или ты исчезла, исчезла до-тла, нет тебя и никогда не будет, а я наивно верю, что ты в каком-то четвертом измерении видишь всё. Но *можешь ли* ты что-нибудь? Или тебе наша земная возня — только странная и минутная страда, на которую не нужно обращать внимания. Может быть, лучше не бояться смерти, а скорее, скорее закончить свой путь и исчезнуть...

...Сугроб снега рыхлый, пористый вырос до вершины столбика... Разве прохожий догадается, что здесь распавшееся на таинственные элементы бывшее существо, страстно волновавшееся, радовавшееся, горевавшее, какое-то мгновенное «я», мелькнувшее и угасшее?

— Чувствуешь ли ты, Рая, как страдает, как ищет истину наша заблудившаяся девочка?..

Петр Ершов

ТОНЬ НОЧИ

At meus ille scriptor, quanto delirat felicius, dum nulla lucubratione verum utcunque visum est animo, quicquid in calamum incidit, vel somnia sua statim litteris prodit levi duntaxat shartarum jactura non ignarus futurum, ut quo nugaciores nugas scripserit, hoc a pluribus, id est, stultis et indoctis omnibus probetur.

DES. ERASMI ROT.
ENCOMIUM MORIAS SEU
STULTITIAE LAUS.

Ивица

Она и одета как-то странно: кукла. Такие куклы я видел в музее. Свой странный наряд: длинную ивовую палку, ожерелье и камнями продетые опу́ты повесила она в сенях на гвоздике. Мы ее давно не видели и только слухом было странные истории, смеялись: «ведьма». И как это трудно разговориться после стольких лет. Но едва я проговорил: где за эти годы пропадала и что поделывала? — она смущенно поднялась и прощается. Мы смотрим долгими глазами — до белых глаз.

Наш дом среди поля. Прямо на земле, без фундамента и нет ступенек. Много собралось гостей. Не всех узнаю. И только что хочу распросить их о тех... все куда-то ехать собрались. Прощаются. И один за другим — саней полон двор — в сани садятся. Колокольчики позванивают.

Выхожу и я. В сенях на гвоздике странный кукольный наряд: забыла! И мне чего-то беспокойно, что забыла. Прохожу во двор. А в санях полно́, и куда приткнуться, нет свободных, сани за санями отъезжают со двора. «Подсадил бы кто!» я кличу. Нет ответа. Черной лентой сани кружат поворот.

Ночь. По дороге снег. Луна.

В черную дверь я вернулся. Опустелый дом. Воет ветер. Знаю, только я останусь, и не уйти мне. И из лунной дыми белыми глазами: «не уйдешь». И в слепой тоске я прохожу в сени. Снял я с гвоздика ивовую палку. И с палкой во двор. И стою.

Ночь. По дороге снег. Луна.

Я поставлю палку в снег — закручу и мчусь. И крутя, я мчусь. И я мчусь за ветром, шибче ветра и быстрей луны.

Черные по белому сани бегут — сани за санями — колокольчики позванивают. На последних санях вижу: она закутала платком себе плечи — снег по серой печали припорошил серебром. И белые в серебре кусты. И я обгоняю поезд. Остановился. Моя ивовая палка — луч в луну. А сани там — далеко впереди и только черный след в глазах.

Мчится лунный свет и я в луне, я сам как лунь, где снег, где я, и зеленый-колокольный-беспощадный-мерный-безответно-безнадежно мчится белая дорога — путь.

Без дороги мчусь я: то обгоню, то отстану. И в отчаянном последнем взвиве с визгом моя ивовая палка пополам.

И крутя луной, кружу—ветер—я—луна.

Медведица

Всё в гору и выше. За плечами тяжелый мешок. Будет ли мне когда отдых? На пути стала ель. И я остановился. И до меня доносит: кричит зверина. Я наклонился: а под обрывом на самом дне вижу плоский серый камень, и кувыркаются и пляшут на камне медвежата. И тут в игре их вдруг — и медвежата, их в серый комок закрутило. И всё затаилось.

И я о тебе вспомнил.

От кишащего серого камня отделяется... или на дыбы стал камень? Но это был не камень, а серая медведица. Голубые глаза переливались в сталь и елочную зелень. Резко посмотрела она на меня и под ее взблеснувшей сталью стою скован.

И опять я о тебе вспомнил: люблю тебя — до черной тоски.

И напрягши до белой жáри огонь моих непокорных глаз, я зеленой пригоршней кинул огонь в ее пучинную ледяную глубь. И я видел: крутя головой, она вскидывает лапы и — в глаза, по глазам себе, очень больно! И вытянув перед собой лапы, пошла.

Я и зеленая ель, не отличишь, но и слепая она меня видит и идет, ловя. Она меня увидит, не ошибется. И стало между нами так тесно, разве что муравью перебежать. И не лед — теплом в меня дышит. И серая пуховая мякоть кутает меня — мои ноги, мои руки, мою грудь и плечи.

«Я беспощадная роковая сила!» беспощадно прозвучало мне в сердце.

И под неуклонно-пронизывающей синью глаза мои закрылись.

И я увидел: не лапы, а тянутся ко мне, в венок сплетаясь, весенние ветки — твои алые руки. И легким веем, но я различаю, в горячих губах горький стон.

Кошка

Ловили кошку. И поймали. Поставили на стол, как ставят цветы. Кошка постояла немного, съела цветы и ушла.

Спутник

Наконец-то меня приговорили. И это будет не гильотина, не виселица и не расстрел, а мне самому себе найти казнь.

С каким тупоумием шел я по трамвайным рельсам, высматриваю, где бы половчей попасть под трамвай. Я был уверен, едва ли кому в голову придет, нашелся такой дурак бросаться под трамвай! Не ночь, а улицы вымерли, никого и никаких трамваев. И не находя другого выхода, время не ждет, я подымаюсь по стеклянным площадкам, не то это дворец, не то больница. И поднялся к самым трубам. И не лезу, а лечу. Подо мной, я отчетливо вижу, и трамваи и автобусы и автомобили, и народу — одни обгоняют, другие топчутся на месте, и всё в маленьком виде, а видно. «А как же мне спускаться?» подумал

я, и во сне я понимаю, высóты и провалы не по мне, готов как угодно, стану на четвереньки и ползком. И от одной мысли: «надо спускаться» я полетел вниз. И шваркнулся в черный сырой погреб.

В руках у меня электрическая лампочка, длинный провод. Всё ниже по каменным ступенькам, освещаю себе под ноги, и выступы. В погребе спрятана лампа и никому не дается, а я должен найти эту Аладинову лампу, воспламенить ее оцепеневшую силу, и талисман откроет предо мной все дороги. И последнюю — на казнь. И я вспоминаю: эту лампу какой-то марид похитил у меня, а меня бросил в змеиный ров на медленное жало, и это случилось, когда я жил на Мадагаскаре.

И я вдруг очнулся: я стоял на площади у лотка: разложены на лотке красные пáрные куски, мадагаскарская говядина. Я выбрал себе почки, любимое кушанье людоедов. Но тут чьи-то руки, лиц не вижу, под носом у меня расхватали весь мясной лоток. И я отхожу ни с чем. Ледяная мысль спускается до сердца: мысль о моей безвыходности.

Place Denfert Rochereau. Бельфорский лев. Или, как сказалось во мне: Бельведерский и не один, вижу, два льва. И как буду между львов, один, подстриженный, куксился, а другой, косматый, подает мне лапу, и умильным голосом, как лапой по ушам меня погладил:

«Послушай, спутник», сказал лев.

И я задумался: «спутник» от слова «путать»? И очутился в саду.

А какой это был сад — какой это садовник придумал! И мне страшно захотелось пить. А передо мной колодезь, стóит только повернуть колесо. И я верчу. Но с поднявшейся водой вспыхивает огонь. И я видел, как вода заливает огонь, а огонь слизнул воду.

Я верчу колесо: льется вода: вода и огонь. И злая мысль ползет мне в сердце:

«Ты покинула меня!»

Великан

Бег его так быстр, подогнуты колена, квадратом шея, трубою хвост, а голова — мышь: конь бежит, мышь бегает. Наскочил конь на быка. И бык не простой — рогом-серпами под небеса, сзади насиженная желтая клеенка, квёлые ноги.

Я протянул было руки к засиженному хвосту погладить, но бык и конь сцепились. Белая и желтая ромашка запорошила поле. От быка клочья, но рога конь не сшиб: торчат.

Крутя квадратом бежал белый конь, мышь впереди бежит — сверляки, мигая, ей светят путь.

«Очередь за мной!»

Я приготовился на съедение коню, и попал на болото.

Золотые клочья по ватному парчевому одеялу. Бескрылые черные птицы бледной тоской черничек. И два серебряные серпа маятником по осеннему небу. Прислушиваюсь: вот закукует кукушка — моя, часы с кукушкой.

И одна из птиц, клювом говорит, показывая на руки:

«Вылови лягушек, выполи водоросль, проберись через осоку, тогда пробьет твой час».

«А сколько часов?»

«8 — 4 — 2...».

«Сущность вещей число!» и повторяя «8-4-2», вхожу в озеро, и сквозь тину иду.

Грозя зеленой дубинкой навстречу великан.

«Быка я не тронул, конь меня не съел, но теперь мне конец».

Великан высоко поднял руки и ухватя серпы, уходит в землю. Ни рук, ни ног, одна голова из земли. А над головой маятником серпы, как и раньше, два рога.

И кукует кукушка.

Я считаю: 12.

И из озера выходят: их семеро, суровые, и сухи и крепки и белы — рыбья кость. Костяными тисками они окружили великана — его голову.

«Тебе за это вычтут там из вечности!»

И услышав себе приговор, вся моя память запылала. Пепельные мыши сверляками взблеснули в глазах.

«Ты в душу мою вошла и я похороню тебя вместе с собой!»

И голова великана ушла под землю.

Бескрылый

Палкой в спину — тащусь домой. По-заячьи не прыгнешь. Но мысль не выбьет никакая палка. Заботы и тревога, встречи и слова ни к чему. Хочу всё знать, а как люблю тебя, я знаю. Но почему ж такой сумрак?

«Земли под твоими ногами мало», шипом он из стены отвечает: я его не вижу, но он меня слышит.

Я обернулся. За моими плечами стена. И чувствую, как подымает, и что не стена — не серое — синее небо в глазах.

«С крыльями земли не надо, говорит он глазами: глаза его ввезды, посмотри!»

Я нагнулся.

И вся-то земля подо мной.

Так вот в чем дело: вера — крылья, а между нами нет веры и вот почему сумраком задавлена моя бескрылая любовь.

Зеленая заря

Он живет между одеялами: голубыми и алыми. На мне еще сверх голубого: вишневое — на него все любуются и брусничное — в мои тревожные ночи на нем точила свои белые острые зубки усатая мышь.

Голубое и алое, знаю, с вами я никогда не замерзну! Потому он и выбрал себе это самое теплое местечко.

И всё-таки, это он гнёт мою спину, выговаривая, что я замерзну. И случится это так просто и незаметно, как осенний Чайковский вечер переунывает в ночь — и в ту последнюю ночь во мне всё зазвучит — мой последний человеческий взлет.

Но я не хочу и не верю, что так будет и не может не быть. И во мне подымается весь мой упор. И сам подымаюсь.

Ни голубого, ни вишен, ни мышки, и только белое и на белом одно алое. И из алого торчат заячьи уши.

Я нагнулся над зайцем.

А это оказалось вовсе не заяц, а заячьими ушами горят глаза: зеленоватый свет разгорается.

Он ничего не говорил, ни о чем меня не спрашивал — он только смотрит. И его зеленое волной катилось из зеленых налитых сияющих глаз.

И я поднимаю руку обороняясь — моя глазатая рука глубоко дышит.

Подсердечные тайники моей души освещены.

И он читает:

«Без тебя и дня не могу прожить».

Зеленые волны паутинными нитями вились и завиваясь, кружились, плывут. И прямо в глаза мне не осенние паутинки, а ежиные иглы вливают свои студеные жала. Отравленный болью, вдруг я чувствую неизбежное мой конец — и всё во мне поет.

И в глазах не белое, не алое — моя не алая зеленая заря.

На луну

Квартира в пять комнат. Две заперты — «мебели не хватило». Другие две, не меньше концертного зала «Лютеции», обои розовые, местами от сырости оторвались, висят серые куски. И третья, одна только и запирается, и к ней длинный коридор, уставлен буфетами.

Вхожу без стуку.

«Зачем, говорю, вам пять комнат?»

«Когда большая квартира, виновато отвечает Блок, из кухни ничего не слышно».

«Да мне хоть бы десять, только ни к чему».

Комната больше тех двух розовых: на одном конце говоришь, на другом не слышно. Синие обои, лепные украшения на потолке: птицы, гады, травы. В полстены буфет: с одного конца цельный, с другого двухярусный, набит книгами и птичьим пером.

«Неразрезанные, показывает на книги Блок, а это рояль, беспримесный, абсолютный звук».

Рояль пепельно-зеленый, привинчен к стене, ножками не касается пола.

«А как же играть?»

«Лунными руками».

И появляется весь в белом, синие глаза, похож на Блока, но губы тонко сжаты. Сел за рояль и не сводя с меня глаз, будто читая с моего лица ноты, начал играть, пальцы розовые.

И еще четверо похожих, белые, они вышли из звуков, и сплетаясь, закружились. И я невольно верчусь с ними и чувствую, как весь я переменился: мое лицо перелистывается, как ноты.

И мы впятером, кружась, подымались над роялем к потолку, а потолок улетает, и не потолок уж, а над нами ночь.

«Куда мы?»

«На луну!», отвечает Блок.

Чучело

Моя комната в больнице для двоих. Я один. Кровать, столик и табуретка, а в головах чучело: тигр. Как живой стоит, не спускает с меня глаз — моя сиделка. За сиделку надо платить, а с тигром и так обойдется. И пыль не нужно смахивать, самораспыляется, и не курит.

«Ваша Rue Boileau, говорит Блок, ничуть не меньше 14 линии Васильевского острова», и проходит в соседнюю комнату: там он собирается окончить свою пифагорейскую поэму: «Сам сказал». Поэма нигде не напечатана, и не войдет в полное собранье сочинений.

Лицом к тигру я продолжаю свою мысль о Пифагоре. Про Пифагора говорилось, что «пришел на землю не бог, не человек, а Пифагор». А основанная им «обезьянья палата» называлась «Союз Пифагорейцев»: беспрекословное и *упоённое* повиновение царю Асыке, учителю Пифагору: «Сам сказал!»

От Пифагора перехожу к «слову», о тайне слова. Тигр

внимательно следит за моими мыслями, по его глазам замечаю.

«Слово возбуждает дух, от слова умиляется сердце и яснеет ум. Но тайнее тайны слова тайна слуха к слову. Слово беззвучно, звучит только по чувству, кто его произносит и по чувству того, к кому обращено: не любить — не слышать, любить услышать, даже больше, чем будет сказано. В начале было слово, нет, в начале было чувство — расположение к слову: без твоего чувства никогда не прозвучит слово — оно и самое высокое и самое громкое и самое сокровенное останется только безразличным знаком, а если перевести на литературу, «ничего не понимаем».

Тигр качнулся, и лапы его пригнулись.

«Оживает», подумал я.

И выхожу — «дверей не буду затворять, я сейчас!»

Слякотно, как осенью. Ветром наносило на тротуар желтые листья. Пустынно и тоскливо, как на выставке собак.

Ни ветер, ни листья, живые человеческие губы, вздрагивая, мне внятно повторяли:

«Буду я тоской томиться...»

Тигр по прежнему стоял в головах, но голова его была глубоко наклонена. И я хожу по комнате и чувствую, что и не глядя, он следит за мной.

«От любимого человека, продолжаю свою мысль, слово звучит совсем по другому, и никогда не дойдет слово от нелюбимого».

И я выхожу к Блоку.

Комната в коврах и вся заставлена. Едва я пробрался к столу. Блок, не отрываясь, пишет: «Сам сказал».

Я говорю ему о моем Тигре: «оживает, и что нам делать?»

«Потускнеет», говорит Блок и поспешно свертывает рукопись уходить.

«И что же осталось, говорю, от гармонии чисел и музыки небесных сфер?»

«Пифагоровы штаны», ответил, не обертываясь, Блок.

Стемнело. Или и всегда было темно, но только я сейчас так отчетливо понял всю мою темь.

Окно без занавесей — пустые глаза. И два зеленые огонька мне сверкают из тьмы.

Шопотом я покликал Блока и, не оглядываясь, тихонько вышел в коридор.

И у меня такое чувство, было бы лучше пропасть, эти глаза — истомили.

«Буду я тоской томиться...» — звучит мне и во мне переговаривает.

По стенке пробирается кто-то, лица не вижу. Я коснулся до него рукой: шершавый.

«Не видали ли, говорю, Блока, сидел у меня с Пифагором?»

И тот, тряся лохмами, озирается, точно хочет сказать, что он не Блок и вовсе не Пифагор. И еще чьи-то руки и лохматая спина и не одна — как винные ягоды нанизаны руками по стенке.

«Куда вы, говорю, там нет никого!»

И не могу понять, как они могли войти в дом, дверь заперта, или их впустил Блок?

И я отворил двери в кухню.

Но войти и думать нечего. И все разряженные и говорят, понять ничего нельзя, и уверенно, без возражений.

«Кто вас пустил?, говорю, и разве я вас звал?»

И слышу в ответ и всё понимаю:

«Кого захочет наградить Бог, в окошко пошлет!»

«Дверь же заперта, вдруг вспоминаю, да ее сам, выходя, оставил открытой!»

И я ощупью пробираюсь медленным коридором к себе, повторяя: «потускнеет»! И дойдя, наконец, до своей тигровой комнаты, я приоткрыл дверь и тянусь рукой зажечь электричество.

И я видел: как желе тряслись и таяли зеленые огоньки, и Блок над Пифагором. Я очень обрадовался и смело вошел — вошел и пропал: у меня на глазах тигр меня съел.

Альбом

Альбом со стихами. Стихи не написаны, а наклеены: разноцветные кружки и фигурки. Читает Блок. И мы летим. Над головой прямо на нас спускается огненный шар — черные гривой космы делают его еще несговорней, как для моих глаз месяц на ущербе. Я повернулся на спину, лечу, как плыву. А шар в глаза, не миновать, перережет. Блок, обратившись в лягушку, нырнул в воду. А я только и успел, что закрыл глаза и под толчком очутился в водосточной трубе. Свинцово — сыро и зелень — крыжовник.

«Слава Богу, говорят, теперь вы хорошо устроились!»

Туфельник

Когда бы я ни проснулся, всякое утро он сидит в моей туфле: в роде он крысы, только шерсти на нем нет, по голому редкие длинные волоски.

Проснулся я — мое жестокое утро! — а он так и бегает, да скоро так бежит, то в сторону и назад, то наискосок и кругом, очень забеспокоился: видит, я проснулся, а туфли и нет, сидеть-то ему негде и мучить меня.

Вы, мои беспросветные при утреннем свете мысли и неизбывные — о тебе моя крылатая лазурь! — и почему в твоем голосе мне слышится загубленная жизнь?

Вот отыскал он туфлю, вот он уселся в ней, сидит и смотрит, облезлый караульщик мой.

Нет, не продам я его — нашелся один сосед, просит, продай. Как же расстаться нам, погасить мою мысль?

Знаю, я бессилен поправить в твоей судьбе и в моей с тобой, но не думать я не могу.

И вдруг я понял, что чудак сосед мой скоро с ума сойдет.

У хвоста

Магазин «Hôtel de Ville». Почтовую бумагу взял, а пакет с конвертами забыл. А у нас ни жеванного, а писать письма надо и не «описания природы», а всё о деньгах. Придется вернуться.

Подходит нищий: голова тыква, голая, ни волоска, а уши — тоненькие красные ручки. А у меня нечего подать, всё ухлопал на бумагу и конверты, только что на мэтро. И я скорее назад в «Hôtel de Ville». Да никак не могу найти, пропал из глаз. А этот нищий оборвал себе уши и сует мне в руку красные ручки.

«Да на что они мне, говорю, мне надо конверты».

«А как же, отвечает нищий, ходить с ручкой!»

Тут наехала на меня лошадь: тележка — камни и песок возят. Ухватился я за край — думаю, «продержусь как-нибудь». А какая-то мышиная бабушка, черная бархатка на цеплячей шее, тоже подмята, цапается за телегу.

И перевернулась телега, и я очутился у хвоста. Кричу: «остановитесь!» Да из-под хвоста, кому слышно. И терпеливо тащусь, слежу за хвостом.

Улица за улицей конца не видать. Наконец-то лошадь остановилась, хвостом по глазам махнула. И я очнулся.

И что же оказалось: самый обыкновенный московский извозчик, а я в пролетке, с боков у меня гора — пакеты с бумагой, и сзади гора — конверты. Извозчик заснул и лошадь по своей воле идет.

Брандахлыст

Сварил я кусок говядины и режу на тоненькие ломтики: «положу, думаю, в суп, очень у вас жидковато, одна вода!» Режу и всё раздумываю, какой это выйдет суп наваристый куриный.

«Вскипячу, говорю себе, раза два и всё съем зараз!»

И когда и нарезал полную тарелку, а кусок по теперешнему (1942 г.) порядочный, на две «тикетки, 90 гр.», и оставалось только с тарелки в кастрюлю положить, вдруг вспоминаю: этот самый кусок на две «тикетки» вчера мною съеден, помню хорошо, без остатка, чистая тарелка.

И я проснулся с досадой: ни класть и мечтать не о чем, съел?

Мой портрет

В саду на дереве медная пластинка, выгравлен портрет: допотопное чудовище многорогое и глаза не на месте. Подпись: мое имя и фамилия художника.

«Как он меня изукрасил, подумал я, хочет оправдать».

А художник и идет, узнаю по портрету: спереди, сзади и из карманов висят груши. И я спрятался за картину, выглядываю: узна́ет свое произведение или пройдет мимо?

А он грушей меня как ахнет и попал прямо в глаз: «оправдал!».

Сорокоушник

«Не то страшно, говорю, что некуда пойти, а страшнее, что некуда возвращаться».

«А мне дверей не надо, я религиозный, отзывается мой гость сорокоушник, ни входа, ни выхода и никакого олимпийского тумана, я от голода религиозный».

«Что и отчего, не важно, всё дело в искусстве вызывать в человеке его тайные силы: лошадь из пчелы или слона из розы или, если хотите, кита из инфузории».

И начинаем на перебой разворачивать слова:

«Лошадь-шадь; слон-лон; ря-ря ды-ды-зя ря».

«Не могу, гу-гу!» — отваливается, задохнувшись, сорокоушник.

Из ничего

Бумага из четвертого измерения: нарезаны квадратики, ни карандаш, ни перо не берет, и ничего общего с промакашкой. А называется бумага «ничего».

«Весь секрет, говорит кто-то, как вопреки очевидности из ничего сделать чего».

И не касаясь «ничего», всё равно по-пусту, я мысленно горожу чепуху.

Под абажуром

Плывет рыба, а за рыбой в стирке пропавшие мои единственные цельные шерстяные чулки, а за чулками лампа, у которой подменили в починке абажур. И подают счет.

А платить нечем, я это сразу сообразил и нырнул под абажур.

Жасмин

Снегу намело — где застало, там и стой. Под теплым низким небом стою сам, как из снега вылепленный дед.

И выпорхнул, летит из под снега, я его узнал: это был с белыми вощаными крыльями Икар. И откуда не возьмись баран: баран сгробастал Икара и до-чиста съел.

И на моих глазах Икар превратился в жасмин.

Алексей Ремизов

***

Белыми буквами на красной рекламе
Написано: мясная лавка.
Маленький мальчик просится к маме.
Тщедушная собаченка сердито тявкнула.
Ах, как горько плачет маленький мальчик!
А собачонка проглотила муху.
За плоскими крышами, за домами
Городское скучное солнце тухнет.

Ираида Легкая

К СТИХОТВОРЕНИЯМ МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА

О Волошине появилось в эмигрантской печати немало воспоминаний. Попадали в журналы и стихи его, не вошедшие ни в один сборник. Обе книжки Волошина, вышедшие заграницей — «Демоны Глухонемые» и «Стихи о Терроре» — были выпущены «Книгоиздательством Писателей в Берлине» без ведома автора, в них много погрешностей. Печатаемые ниже стихи сам Максимилиан Александрович включил в проект своего нового сборника «Пламена» («Война и революция»), о котором мечтал после того, как были изданы в Харькове, в 1919 году, издательством «Камена» — «Демоны Глухонемые». Каждое из этих, не вошедших в харьковскую книжку стихотворений, перестукано на отдельном листке и подписано автором собственноручно. Указан и порядок стихотворений в новом сборнике. Весь он распадается на три части: «Армагедон», «Демоны Глухонемые» и «Неопалимая Купина». Текстов на отдельных листках 31.

Волошину удалось переправить из Коктебеля своему другу кн. Александру Константиновичу Шервашидзе (проживающему и сейчас на южном берегу Франции) весь этот проект, вместе с препроводительным письмом от 5 апреля 1920 года. Четырьмя годами позже было получено от Волошина письмо и Н. И. Бутковской (второй женой кн. Шервашидзе). В свое время кн. Шервашидзе передал весь материал Н. Н. Евреинову, которому, однако, не посчастливилось с «Пламенами»: издателя не нашлось, после того как были выпущены в Берлине книги Волошина, куда вошло большинство стихотворений из второй и третьей части проектировавшегося сборника. В течение многих лет все эти стихи находились в архиве Н. Н. Евреинова. Когда он умер, вдова его, Анна Александровна Евреинова-Кашина, хорошо знавшая Волошина, ездившая к нему в Крым еще летом 24 года, нашла эти стихи среди рукописей и писем мужа и передала мне, с согласия кн. Шервашидзе, для опубликования.

В порядке библиографической справки, напомню еще, что до изданных в Берлине книжек Волошина, вышло всего пять его поэтических сборников: «Стихотворения», 1900-1910 гг. (изд. «Гриф», Москва, 1915), «Anno Mundi Ardentis», стихи о войне (изд. «Зерна», Москва, 1915), «Избранные стихотворения» и переводы из Верхарна (изд. «Творчество», Москва, 1916), наконец — «Демоны Глухонемые»

(изд. «Камена», Харьков, 1919). После 19-го года Волошин печатался лишь изредка в провинциальных газетах и журналах-эфемеридах, возникавших на юге в пору гражданской войны. Проверить, было ли где напечатано в России какое-нибудь из предлагаемых стихотворений нет возможности*.

Вот письмо, в выдержках, к кн. Шервашидзе:

«Дорогой Александр Константинович,

Посылаю тебе текст моей книги «Пламена», которую ты согласился попытаться устроить в Лондоне у Сытина. Очень и очень прошу о том же Наталью Ильинишну. Мне очень важно издать ее заграницей по двум причинам. Во-первых, невозможность издать ее полностью в России в ближайшие годы и желание ее закрепить немедленно. Во-вторых, необходимость заработка, хотя бы та сумма, которую я могу за нее получить, и осталась, за невозможностью переправить деньги в Россию, заграницей (кто знает, не придется ли и мне через некоторое время очутиться там самому). Я посылаю тебе полный текст и прилагаю пояснение, в каком порядке стихи должны быть расположены. К сожалению, не было у меня ни времени (ни бумаги), чтобы переписать всё, как следует: потому прошу тебя прежде, чем сдавать в набор, дать переписать всё на отдельных страницах, как полагается для печати, и расположить в порядке списка. Экземпляр «Демонов Глухонемых» — один из трех, которые я получил от издателя — я посылаю тебе. Он — с моим портретом твоей работы. Но Краснов (издатель) совершенно нелепо всадил его на обложку — вообще всё издание в художественном отношении возмутительно, особенно потому, что в нем есть претензии на художественность и роскошь».

Затем следуют подробности о денежных условиях издателя. И еще: «Лирические стихи мои были в свое время переведены Цетлиным в сотрудничестве с Фонтенасом, издать их должен был Жорж Крэс, но о судьбе их я не знаю теперь ничего. Для Англии у меня взял летом рукопись «Демонов Глухонемых» Вильямс, но что он сделал — тоже не знаю. Да — сведение для издателя: «Армагедон» был издан в России в количестве 300 экз. в 1916 г., и «Демоны Глухонемые» в 1919 г. в Харькове в количестве 1200 экз. И то и другое издание разошлось полностью. Сейчас в продаже не имеется ни одной книжки. В «Пламена» вошел ряд нигде не напечатанных стихов, в

---

* Мы установили, что стихотворение «Бегство» было напечатано в альманахе № 1 «Наши дни» (Москва, 1922 г., под ред. В. Вересаева). *Ред.*

частности весь отдел «Неопалимая Купина», кроме стихов перенесенных из «Демонов».

Письмо Волошина к княгине Шервашидзе (Бутковской), написанное вскоре после того, как была в Коктебеле А. А. Евреинова-Кашина, подтверждает ее впечатление о крайней нужде Макса, явно не пожелавшего работать «на большевиков», оставшегося до конца верным себе. Он предпочитал жить впроголодь. Приведу конец этого дружеского письма. Для биографии Волошина многое тут существенно.

«В Коктебеле дом, оставшийся за мной, я превратил в бесплатный Дом Отдыха, вернее — в художественную колонию. Прошлым летом у нас жило двести человек, за это лето прошло триста. Таким образом дом становится одним из художественных центров России. Это очень утомительно, но дает громадное удовлетворение! В литературе меня очень травят и шельмуют. Это грозило бы самыми дурными последствиями, если бы у меня не было нескольких доброжелателей в правительственных сферах. Но печататься мне почти невозможно. Материально существую никак — чудом, но чудо никогда не изменяет. Этой весной ездил на север — в Москву, Петербург. Радостно было повидать старых друзей. Десять лет!! Приветствовали меня очень. Но публично я не выступал из необходимой предосторожности. В Крыму до сих пор еще всё более обострено, чем на севере. Но я всё-таки ни за что не променяю своего уединения на суету Москвы и до сих пор еще у меня не было соблазна заграницы. Меня даже в Париж ни разу не тянуло. За эти годы я видел то, что не дано видеть каждому, и вынес мудрость, радость и старость. Физически чувствую себя очень постаревшим, духовно — созревшим. Здоровье стало сильно пошаливать после болезни 1921 года. Стихи мои, что печатаются заграницей — печатаются без моего разрешения и оплаты. Всё, что я писал, пишу и что замыслено — всё нецензурно. И чем дальше, тем пуще... Рисую много акварелей. Они имеют успех на выставках. Но за последние годы никто ничего не покупает из художественных вещей (страх налогов). Ляля Евреинова гостила у нас летом. Мы с ней очень подружились. Она хорошая, энергичная, простая... Доходили ли до Вас вести о том, что я женился? Вероятно, нет. Маруся унаследовала все традиции Пра (так называли в окружении Волошина его покойную мать, Елену Оттобальдовну — С. М.), — иногда это кажется чудом, и очень много дает гостеприимства и уюта снова ожившему Коктебельскому Дому...

До свидания! Крепко обнимаю и целую Александра Константиновича. Когда-то нам доведется снова встретиться... Как относятся ко мне и к моим стихам заграницей? *Мах.*»

С. Маковский

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Во имя грозного закона
Братоубийственной войны,
И воспаленны, и красны —
Пылают гневные знамёна.

Но жизнь и русская судьба
Смешала клички, стерла грани:
Наш «пролетарий» — голытьба,
А наши «буржуа» — мещане.

И грозный демон «Капитал» —
Властитель фабрик, князь заботы,
Вся суть отстоенной работы,
Преображенная в кристалл,

Был нам неведом... Нерадивы
И нищи средь богатств земли —
Мы чрез столетья пронесли,
Сохою ковыряя нивы,

К земле нежадную любовь:
России душу омрачая,
Враждуют призраки, но кровь
Из ран ее течет живая.

Не нам ли суждено изжить
Последние судьбы Европы,
Чтобы собой предотвратить
Ее погибельные тропы?

Пусть бунт наш — бред, пусть дом наш — пуст,
Пусть боль от наших ран не наша,
Но да не минет эта чаша
Чужих страданий — наших уст.

И если встали между нами
Все бреды будущих времен, —
Мы всё же грезим русский сон
Под чуждыми нам именами!

Тончайшей изо всех зараз —
Мечтой — врачует мир Россия...
Ты, погибавшая не раз
И воскресавшая стихия!

Как некогда Святой Франциск
Видал: разверсся солнца диск,
И кисти рук и ног Распятый
Ему лучем пронзил трикраты:

Так ты в молитвах приняла
Чужих страстей, чужого зла
Кровоточащие стигматы.

12 июня 1919. Коктебель.

БЕГСТВО

Матросам М., В. и Б.

Кто верит в жизнь, тот верит чуду
И счастье сам в себе несет...
Товарищи, я не забуду
Наш черноморский переход!

Одесский порт, баркасы, боты,
Фелюк пузатые борта,
Снастей живая теснота:
Канаты, мачты, стеньги, шкоты..

Раскраску пестрых их боков
Линялых, выеденных солью
И солнцем выжженных тонов,
Привыкших к водному раздолью...

Опертый якорь на бизань —
С клешнями — бурый, как у раков,
Покинутая Березань,
Полуразрушенный Очаков...

Уж видно Тендрову косу
И скрылись черни рощ Кинбурна...
Крепчает ветер, дышит бурно
И треплет кливер на носу.

То было в дни, когда над морем
Господствовал французский флот
И к Крыму из Одессы ход
Для мореходов был затворен.

К нам миноносец подбегал,
Опрашивал, смотрел бумагу...
Я буржуа изображал,
А вы — рыбацкую ватагу.

Когда нас быстрый пулемет
Хлестнул в заливе Ак-Мечети,
Как помню я минуты эти
И вашей ругани полет!

Потом поместье Воронцовых,
И ночью резвый бег коней
Среди гниющих сивашей
В снегах равнин солончаковых,

Мел белых хижин под луной,
Над дальним морем блеск волшебный,
Степных угодий запах хлебный,
Коровий, влажный и парной...

И русые при первом свете
Поля... И на краю полей
Евпаторийские мечети
И мачты пленных кораблей.

17 июня 1919.

НА ВОКЗАЛЕ

В мутном свете увялых
Электрических фонарей,
На узлах, тюках, одеялах,
Средь корзин, сундуков, ларей,
На подсолнухах, на окурках,
В сермягах, в шинелях, в бурках,
То врозь, то кучей, то вряд —
На полу, на лестницах —
спят:
Одни — раскидавшись, будто
Подкошенные на корню,

Другие, вывернув круто
Шею, бедро, ступню.
Меж ними бродит зараза
И отравляет их кровь:
Холера, тиф и проказа,
Ненависть и любовь.
Едят их поедом жадным
Мухи, москиты, вши.
Они задыхаются в смрадном
Испареньи тел и души:
Точно в загробном мире,
Где каждый в себе несет
Противовесы и гири
Дневных страстей и забот.
Так опять они по вокзалам,
Вагонам, платформам, задам,
По рынкам, по площадям,
У стен, у отхожих ям:
Беженцы из разоренных
Оголодавших столиц,
Из городов опаленных,
Деревень, аулов, станиц,
Местечек — тысячи лиц:
И социальный Мессия,
И баба с кучей ребят,
Дезертир, налетчик, солдат,
Спекулянт, мужики —
вся Россия.
Вот лежит она, распята сном,
По вековечным излогам,
Расплесканная по дорогам,
Искусанная огнем,
С запекшимися губами,
В крови, в грязи и во зле,
И ловит воздух руками
И мечется по земле,
И не может в бреду — забыться
И не может очнуться от сна...
Не всё ли и всем простится
Кто выстрадал, как она?

29 июля 1919. Коктебель.

КРАСНОГВАРДЕЕЦ

Скакать на красном параде
С кокардой на голове,
В расплавленном Петрограде
В революционной Москве.

В бреду и в хмельном азарте
Отдаться лихой игре,
Стоять за Родзянку — в Марте,
За большевиков — в Октябре.

Толпиться по коридорам
Таврического дворца,
Не видя буржуйным опорам
Ни выхода, ни конца.

Оборотиться к собранью,
Рукою поправить ус,
Хлестнуть площадною бранью,
На ухо заложив картуз.

И показавшись толковым,
«В виду особых заслуг»
Быть посланным с Муравьевым
Для пропаганды на юг.

Итти запущенным садом,
Щупать замок штыком,
Высаживать дверь прикладом,
Толпою врываться в дом.

У бочек выломав днище,
В подвал выпускать вино.
Потом подпалить горище
И выбить плечом окно.

В Раздельной, под Красным Рогом
Громить поместья и прочь
Степями по грязным дорогам
Скакать в осеннюю ночь.

Забравши весь хлеб, о свободах
Размазывать мужикам.
Искать «лошадей в комодах,
Да пушек по коробкам».

Палить из пулеметов...
Кто? С кем? Да не всё ль равно!
Петлюра... Григорьев... Котов...
Таранов или Махно...

Слоняться буйной оравой,
Стать всем своим невтерпеж.
И умереть под канавой
Расстрелянным за грабеж.

*16 июня 1919. **Коктебель.***

МАТРОС

Широколиц. Скуласт. Угрюм.
Голос сиплый. Тяжкодум.
В кармане браунинг и напилок.
Взгляд мутный, злой, как у дворняг,
Фуражка с надписью «Варяг»,
Надвинутая на затылок.
Татуированный дракон
Под синей форменной рубашкой.
Браслеты. В перстне кобошон,
И красный бант с алмазной пряжкой.

При Керенском, как прочий флот,
Он был правительству оплот
И Баткин был его оратор.
Его герой Колчак. Когда-ж
Весь Черноморский экипаж
Сорвал приезжий агитатор,
Он стал большевиком. И сам
На мушку брал да ставил к стенке,
Топил, устраивал застенки,
Ходил к кавказским берегам
С «Пронзительным» и с «Фидониси»,

Ругал царя, грозил Алисе;
Входя на миноносце в порт,
Кидал небрежно через борт:
«Ну как буржуи ваши? Живы?»
Устроить был всегда не прочь
Варфоломеевскую ночь.
Громил дома, ища наживы,
Награбленное грабил, пил,
Швыряя керенки без счета,
И перед немцами топил
Последние остатки флота.

Так целый год прошел в бреду...
Теперь, вернувшись в Севастополь,
Он носит красную звезду
И, глядя вдаль на пыльный тополь,
На Инкерманский известняк,
На мертвый флот, на красный флаг,
На илистые водоросли
Судов, лежащих на боку, —
Угрюмо цедит земляку:
«Возьмем Париж... весь мир... а после
Передадимся Колчаку».

Максимилиан Волошин

ЗАСТИГНУТЫЙ НОЧЬЮ

Средь бурь гражданских и тревоги
Я поздно встал, и на дороге
Застигнут ночью Рима был.

Тютчев.

Чеховское Издательство подарило нас замечательной книгой — сборником литературных статей и воспоминаний В. Ф. Ходасевича. Всего пятнадцать лет минуло со дня смерти автора, а много ли осталось людей читавших в свое время и помнящих его статьи? Теперешнее их появление воспринято не только «новыми» (совершенно их не знавшими), но и многими из старых эмигрантов, как «новое слово». Значительность книги в том, что в ней нашли место произведения, которые не утратят остроты, пока существует русская эмиграция. А критические статьи переживут и ее. Придание сборнику такого облика несомненная заслуга его редактора — Н. Н. Берберовой, снабдившей его кратким, но интересным предисловием. Никакой археологии, ничего отжившего, посыпанного пеплом в книге нет — всё волнует и представляется нашими собственными мыслями и страстями.

Кто не оценит, например, замечания о том, что эмигрантская литература является «самым важным сейчас из возможных русских дел»? Сказано это 22 года тому назад, а кажется будто написано специально для наших дней. У политической общественности, ныне как и в 20-х годах, не найдут теплого приема слова Ходасевича: «Если эмиграция даст зачахнуть молодой словесности, она не выполнит главного и, может быть, единственного своего назначения». Только из уважения к памяти поэта пропустят, быть может, эту фразу без громкого протеста. Чтобы главным, да еще единственным, назначением эмиграции было поощрение всевозможных писак... В глубине души у многих живет чувство близкое к тому, которое подслушал Ходасевич у молодого человека стоявшего в Берлине перед витриной русского книжного магазина: «И сколько этих писателей развелось!.. У, сволочь!» Не мало бу-

дет упреков в аполитичности, в отрыве от жизни. Но именно в наши дни, мысль Ходасевича способна привлечь к себе наиболее живую часть эмиграции. Именно сейчас в ней усмотрят больше *политического* смысла, чем в призывах профессионалов-политиков.

«Литературные статьи и воспоминания» рисуют нам Ходасевича, в некотором роде, пророком эмиграции. Не многие так глубоко вдумывались и вчувствовались в ее сущность, в смысл и в тот общий фон, на котором выводились узоры ее судьбы. А фоном служила гибель всех высших ценностей. Уже к концу 1917 года, поэту стало ясно, что «при большевиках литературная деятельность невозможна», так что он решил даже перестать писать, «разве лишь для себя». Выводы его покоились не на общих формулах и политических заключениях, а на живых, волнующих подчас наблюдениях и опыте. Читая его очерк «Белый Коридор», ясно ощущаешь жуть открытия сделанного им в самом логове большевизма, в Кремле. Нам сейчас странно читать об этом посещении поэтами литературных сборищ у Луначарского и Каменева, где-то возле Оружейной Палаты. После всех РАПП-ов, ВАПП-ов, Авербахов, ждановских «проработок», ссылок, арестов и расстрелов писателей, как-то не верится, что были такие времена, когда Вячеслав Иванов, Ходасевич, Андрей Белый, Пастернак, Георгий Чулков, Гершензон пили чай у самого Каменева и запросто болтали с его женой. Но, оказывается, были. Иные вздохнут: какое просвещенное лицо было у старого большевизма! Останься у власти такие, как Луначарский, Каменев, Троцкий — было бы совсем иное. И литература, может быть, не погибла бы...

Но прочтите «Белый Коридор».

Уже из речей Луначарского его гости поняли, что «рабоче-крестьянская власть разрешает литературу, но только подходящую. Если хотим, мы можем писать, и рабочая власть желает нам всяческого успеха, но просит помнить, что лес рубят — щепки летят». Это, впрочем, было еще не открытие. Это можно было знать и помимо Луначарского. Открытием была беседа у камелька с Ольгой Давыдовной Каменевой. Больной, еле двигавшийся, Ходасевич должен был целый вечер слушать нудную политграмоту, которую читала она ему, помешивая угли в камине: «поэты и художники не родятся, а делаются; идея о прирожденном даре выдумана феодалами для того, чтобы сохранить в своих руках художественную ге-

гемонию; каждого рабочего можно сделать поэтом или живописцем»... «И вдруг... Вдруг — отвратительно, безобразно, постыдно, без всякого перехода, без паузы, как привычный следователь, который хочет поймать свидетеля, Ольга Каменева ошарашивает меня вопросом: А как по вашему, Балтрушайтис искренно сочувствует советской власти? Этот шпионский вопрос вдвойне мерзок, потому что Балтрушайтис, как всем известно, личный знакомый Каменевых. Он бывает у них запросто, а между тем Ольга Давыдовна шпионит о нем окольными путями. И этот вопрос еще вчетверо, вдесятеро, в тысячу раз мерзок тем, когда и как задан». После этого Каменева спрашивает о благонадежности Бальмонта, Брюсова, о целом ряде писателей и, «то щурясь, то поднимая к глазам лорнетку, она изо всех сил глядит мне в лицо».

Одного такого разговора достаточно, чтобы прозреть. Иного лица, кроме чекистски настороженного, дрожащего за свою власть, у большевиков никогда не было. С литературой, со всяким искусством вообще в советской России было кончено. Но если бы только в одной советской России! Читая Ходасевича чувствуешь, какая глубокая тревога снедает его за судьбы культуры в эмиграции. Он видит порочный путь, путь прожигания, прокучивания вывезенного из России капитала и неспособность к созданию нового. «Да, журналы и книги еще издаются, но с каждым днем их становится меньше. Да, писатели еще пишут, но количественный и качественный уровень их писаний понижается (я, разумеется, говорю вообще, не касаясь отдельных случаев). Напряженность литературной жизни приметно падает». И мучительнее всего сознание, что не во внешних трудных условиях изгнанической жизни заключается главная причина упадка. Она — в нищете духа. Рассуждения на эту тему составляют самую скорбную страницу в книге Ходасевича. Тут бы, казалось, и быть «рукам опущенным и сердцам страшливым», но как непохож его пессимизм на привычное эмигрантское нытье! На протяжении всей книги слышим бодрый, ясный голос зовущий к борьбе, к отпору наступающему хаосу и распаду.

Зачем? — можно было бы спросить. Какой смысл противиться неизбежному, неотвратимому? Такого вопроса не задавали оставшиеся у Фермопил.

Мужайтесь, о, други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!

Думается, что только постигшему до конца эмигрантскую тему, дано обрести ту высшую отвагу, что звучит в этих стихах. Статьи Ходасевича — пример такой «прилежной» борьбы, не смущаемой ни тем, что «над вами безмолвные звездные круги», ни тем, что «под вами немые глухие гроба». Какие бы пропасти ни разверзались — литература «самое важное сейчас из возможных русских дел».

В этом открытии Ходасевича есть что-то от древней еврейской истории, от Иуды Святого, понявшего к концу II века н. э. бессмысленность восстаний и интриг, направленных на возвращение Иудее государственной независимости, и сопровождавшихся необычайной растратой сил, поражениями, унынием, упадком духа. Иуда первый понял, что Израиль на долгое время должен отказаться от восстаний и применения оружия, что путь его, более медленный, но и более верный, лежит через укрепление и поднятие национального чувства, через усиление духовного начала. Он приступает к систематизации учения, к составлению Мишны, и кладет основание еврейским священным книгам. То была не измена политике во имя религии или «культурничества», как теперь выражаются, но та же самая политика, только рассчитанная на столетия. И она победила. Не Акибы и не Бар-Кохбы приблизили день торжества Израиля — то сделали Мишна и Гимара.

Такая же политическая идея заключена в словах Ходасевича. Поистине, значение русской литературы в эмиграции — политическое. Не в том, конечно, вульгарном смысле, который хотят придать этому слову некоторые наши публицисты, стремящиеся навязать ей пропагандистскую роль. Пришла пора сказать, что в том виде, в каком у нас существует «политика» — это вред для русского дела. Нищает и гибнет духовный стержень эмиграции, утрачивается то, во имя чего ведется борьба. Идет безумное расточение сил имевшее бы единственное оправдание в возможности быстрого свержения большевизма и восстановлении России. Но тщета этой мечты сказалась в продолжение трех с половиной десятилетий. Изгнанничество наше превращается в длительное. Может ли оно продолжаться, как патриотический подвиг? Ходасевич на это отвечает: — может. Больше того, оно может продолжаться только так, а не иначе. Эмиграция перестанет существовать в тот день, когда иссякнет в ней дух посланничества. И совершенно очевидно: кому, как не литературе, быть его хранительницей и выразительницей? Музыка, живопись, танец, наука,

всё что имеет международный язык — покидает нас понемногу. Верной до конца остается только словесность.

***

Но чтобы выполнить свою миссию, литература должна оставаться литературой. Еще гимназистом, читая «Что делать» Чернышевского, Ходасевич понял, что «в мировой литературе существует свое захолустье». С тех пор он всю жизнь ратовал против него. Серия его воспоминаний начинается как раз с описания поединка Брюсова с целым сонмом представителей тогдашнего «захолустья». Это было в 1902 г., в десятую годовщину со дня смерти Фета. Брюсов, делавший доклад о его поэзии в Московском Литературно-Художественном Кружке, был ошикан публикой и сражен надменными взглядами величественно-бородатых мужей сидевших на эстраде за столом покрытым зеленым сукном. Шестнадцатилетний Ходасевич, почти нелегально пробравшийся на заседание, был свидетелем того, как развязный фельетонист Любошиц, заявивший, что поэзия Фета «похожа на кокотку скрывающую грязное белье под нарядным платьем», сорвал бурю аплодисментов и совершенно уничтожил невзрачного Брюсова, осмелившегося восторженно отзываться о «крепостнике» и «камергере» Фете. Каким абсолютным слухом надо обладать, чтобы еще ребенком суметь противостоять олимпийски важной, блистательной пошлости, и занять свое место рядом с освистанным Брюсовым! И как хорошо, что в наши дни, когда на нас прёт со всех сторон это литературное захолустье, нам дано снова услышать голос борца за подлинную литературу!

Когда Главная Палата Мер и Весов в Петербурге, после нескольких лет труда, выработала самый точный русский аршин, он был торжественно замурован в стене Сената. Читая Ходасевича чувствуешь, что он и есть наш литературный Сенат хранящий эталон совершенной критической меры. Она строга и постоянна. Каких бы эпох, имен и произведений ни касалась, она никогда не снижается — ни для Грибоедова, ни для Мицкевича. В основе ее лежит законченное литературное мировоззрение, строгий взгляд на искусство и на художника: «Без откровения, без прорицания нет поэзии».

Особенной оригинальности в этом еще не заключается; взгляд этот распространен был у символистов, в начале нашего столетия как раз в то время, когда Ходасевич вступал

в литературу. Но далеко не всеми он был усвоен так последовательно и органически, чтобы вся их эстетика и весь критический метод оказались пронизанными им. Метода у нашей критики не было, если не считать публицистов-шестидесятников выступавших под именем критиков. К оценке литературного явления Ходасевич подходит не с одним «вкусом» или артистической интуицией, но с некоторым твердым принципом. Метод его требует прежде всего проникновения в «дух» поэзии того или иного автора, «в ту ее иррациональную сферу, где таятся ее главные индивидуальные черты». Эту сферу называет он иногда «душевным сумраком». В нем зарождается зерно, сокровенная сущность всякого истинно-художественного произведения, его образы, звучания, порывы. У автора Слова о Полку Игореве такое зерно Ходасевич усмотрел в «глубоком созерцании жизни, в ее утешительном и возвышающем трагизме», у Иннокентия Анненского — в страхе смерти и во вживании в смерть, в основе романов Андрея Белого лежит отвращение к полу и исходящее от пола чувство греховности, а творчество Сирина движется открытием особого мира художника, который ни реальным, ни воображаемым назвать нельзя, в котором реальностью является только делание, творчество.

Для Ходасевича, в значительной мере, безразлично с чего начинать исследование произведения — с формы, с приемов которыми оно сделано или с так называемого «содержания». Понимания искусства только, как приема, характерного для школы Шкловского-Эйхенбаума, у него нет. Художник для Ходасевича есть некая монада; невозможно и недопустимо расщеплять в нем что бы то ни было, скажем, отделять мироощущение от приемов, методов и стиля его произведения. «Мастер далеко не свободен в выборе приемов», они всегда бывают адэкватны «духу» его поэзии. Прием, стиль обусловлены тем углом, под которым происходит преображение окружающей нас действительности в действительность литературную, а «такой угол зависит в свою очередь от мироощущения и мировоззрения художника». Исследуя приемы, мы исследуем мироощущение и мировоззрение.

Значительность художественного произведения определяется силой и степенью откровения. Где его нет, где нет «экстатичности» творчества, приближающего его к религии, к молитве, где есть одно ремесло — «хладное и обдуманное делание», — там нет искусства. Истинный художник и под-

линное искусство начинаются там, где хотят сказать что-то о «неизъяснимом», чего мир доселе не знал. Таинственный и загадочный дар этот требует от художника не части, а всего его существа, требует жизни. Отдавшись познанию неизвестного, поэт обрекает себя в жертву, он становится пророком, участь которого — быть побитым камнями. «Судьба русского писателя — гибнуть». Пуля, петля или моральные удары, вызывающие физическую смерть. «Историю русской литературы можно назвать историей изничтожения русских писателей». Но когда Ходасевич задается вопросом — настанет ли когда-нибудь конец этому истреблению? — то сам же отвечает: «Этого да не будет!..» Прекратится оно у нас, когда иссякнет родник пророчества и, следовательно, родник творчества. Что-то ритуальное, мистическое видит он в истреблении поэтов, в принесении их в жертву. Может быть так надо было, чтобы Россия слопала Блока, «как глупая чушка своего поросенка». «В страдании пророка народ мистически изживает собственное страдание». Побивание камнями оправдано последующим раскаянием народа и принятием откровения.

Понимаемая так глубоко, литература действительно могла бы стать «самым важным сейчас из всех возможных русских дел».

Не успела она очутиться в изгнании, как публицисты стали предрекать ей скорую гибель, на том, единственно, основании, что она покинула родную почву. Самый факт русской литературы вне государственных границ представлялся и до сих пор представляется бессмыслицей, предприятием обреченным. Сами поэты испытывают, кажется, чувство неловкости и смущения. Недавно А. Величковский писал:

Веленью дивному послушна,
Весною пыльная метла,
Забытая в углу конюшни,
Зазеленела, расцвела.
Упорство этого цветенья,
Цветенья веток без корней,
Похоже на стихотворенья
Лишенных родины своей.

Стихи эти — документ. Чувствуя себя «ветками без корней», поэты расписываются в безблагодатности, в отсутствии того пророческого дара, что согласно Ходасевичу, только и может служить источником поэзии. На родине у русской поэзии

несравненно меньше корней, чем в эмиграции. Единственная почва, которая ее еще может питать, это именно эмиграция. Ведь для того и ушли сюда, чтобы делать то, что там стало невозможным. Но эту почву мы ни в грош не ставим. И это значит — не понимаем своего предназначения.

Проникшись сознанием невозможности писательства в изгнании, мы обнаруживаем, прежде всего, поверхностность мысли и забвение высоких примеров. Ходасевич напоминает о Данте, о французской эмигрантской литературе, о поляках, взрастивших лучшую свою литературу в изгнании, обо всех случаях, «когда именно в эмиграциях создавались произведения не только прекрасные сами по себе, но и послужившие завязью для дальнейшего роста национальных литератур». «Национальность литературы создается ее языком и духом, а не территорией, на которой протекает ее жизнь, и не бытом в ней отраженным». Более бодрых слов не было сказано за всю историю русского изгнанничества. Несчастье и возможная гибель русской литературы заключаются вовсе не в том, что она эмигрантская, а как раз напротив, в том, что она недостаточно эмигрантская, или вовсе не эмигрантская. Про свое поколение писателей Ходасевич говорит, что оно продолжало писать в Берлине и в Париже так, как писало в Москве и в Петербурге. «Казалось писатели перенесли свои столы с Арбата в Отей, чудесным образом не сдвинув с места ни одной чернильницы, ни одного карандаша, и уселись писать, как ни в чем не бывало». Литература вышедшая из России не сумела стать подлинно эмигрантской, «не открыла в себе тот пафос, который один мог придать ей новые чувства, новые идеи, а вместе с тем и новые литературные формы. Она не сумела во всей глубине пережить собственную свою трагедию, она словно искала уюта среди катастрофы, покоя — в бурях — и за то поплатилась: в ней воцарился дух благополучия, благодушия, самодовольства — дух мещанства». «Авторы принесли с собой из России готовый круг образов и идей — тех самых, которые некогда создали им известную репутацию, и запас приемов, к которым они привыкли».

Метла, расцветшая в конюшне, неправильно поставлена в сравнение с поэтами. Она была «веленью дивному послушна», тогда как поэты оказались закрытыми наглухо для всяких высоких велений. Они писали, как беженцы. Общий вывод Ходасевича: «эмигрантская литература не существует вовсе». Это верно и сейчас, и может быть еще вернее, чем было лет двад-

цать тому назад. Новые писатели пришедшие из СССР в военные и послевоенные годы — ничуть не более эмигранты, чем старые. Они тоже не прочувствовали трагедии своего изгнанничества; изменилась фразеология, изменилось политическое обличье, но душа осталась прежней. И на произведениях их стоит печать вчерашнего дня их жизни, хотя и кричат многие о дне сегодняшнем и завтрашнем. Одна только разница у них со старыми. Те вышли из России сложившимися, известными, иной раз с большим именем, тогда как ни один из новой эмиграции не только не был известен на родине, но и писать стал здесь, в изгнании. Вся новоэмигрантская литература, — это литература начинающих. В этом смысле, судьба ее ближе к той молодежи 29-х, 30-х годов, о которой Ходасевич пишет с такой тревогой и горечью.

Невозможно читать без волнения этих страниц, посвященных молодой эмигрантской литературе, в самом факте существования которой, в стихийном тяготении к родной словесности людей так рано оторванных от родины и так мало ее знающих, было что-то трогательное и возвышенное. Устремление их в поэзию здесь, на чужбине — настоящий подвиг. Ходасевич преклоняется перед этим погибающим в нищете и безвестности поколением талантливых и бездарных, умных и неумных, перед всеми одинаково, «ибо в доброй и благой, в прекрасной воле своей они все равны». Он полагал, что по всем законам разума и логики, именно эту часть зарубежной литературы надлежало окружить наибольшими заботами, поскольку в ней можно было усмотреть смену писателям-могиканам. В ней заключалась надежда на преемственность русской культуры. Но вместо заботливой опеки ее встретили «величественным незамечанием». Будь оно проявлено со стороны только «общества» — это бы еще полбеды, но «могикане» вели себя так же.

То было прямым отступлением от строго литературного уклада. В России ни критики, ни салонов Рамбуйе или Матильды Бонапарт никогда не было. Не было высококультурного слоя общества, жившего интересами литературы и способного служить питательной средой для новых талантов. Писателей у нас выводили в люди сами же писатели. Русская литература сама себе была судьей и пестуном и сама заботилась о продолжении потомства. Только в эмиграции, где вопрос о потомстве, о смене приобрел особенное значение и остроту, эта традиция пресеклась. «За самыми немногими исключениями, ли-

тературные олимпийцы наши не удостоили молодежь не только гневных перунов, но и простого любопытства».

Мы, новые эмигранты, не бывшие свидетелями этого «далекого прошлого», меньше всего призваны судить кого бы то ни было. Да и пришли мы в такую пору, когда старые писатели, чуть не все, сошли со сцены. Оставшиеся несколько человек дороги нам, как реликвии, как последняя связь с невозвратным веком русской литературы. Только в дополнение к словам Ходасевича можно сказать, что «величественное незамечание» продолжается и в наши дни. Не знаем, поощрял ли чье-нибудь творчество тот же Бунин в лучшие свои времена? На нашей памяти промелькнуло только одно его коротенькое письмо написанное вкупе с Алдановым о книге В. Варшавского. Но и оно означало своего рода издательский Bezugsschein — рекомендацию на предмет напечатания книги. Настоящих же случаев «выведения в люди» новых авторов «олимпийцами», за последнее десятилетие, пожалуй и не было, если не считать Кленовского рукоположенного Георгием Ивановым. Всех остальных пригревали публицисты, либо младшее поколение староэмигрантских писателей. Правда, явлений подобных Кленовскому немного, но ведь роль маститых заключается не в одних похвалах и признаниях. Удар линейкой авторитетного мэтра имеет не меньшее значение, чем похвала. Это тоже своего рода посвящение в литературное звание. Мы живем в такое время, когда удары и педагогические окрики требуются, может быть, в большей степени, чем похвалы. В полной силе остается реплика Ходасевича: «Никто, разумеется, не потребовал бы от них непременных похвал (молодежь за этим не гонится), но порой и упрек, и осуждение свидетельствуют о внимании, о заботе. Этого нет. Если иногда хвалят на словах — избегают высказываться печатно. Если высказываются, то более о посредственных, нежели о талантах. Сириным на словах восхищались чуть ли не все (и вполне справедливо) — но кто возвысил свой компетентный голос, чтобы обратить на него внимание публики? Ровным счетом никто».

Печально, что писатели испившие в свое время горькую чашу одиночества и невнимания, но выбившиеся кое-как в большую литературу, понимают ныне свое олимпийство в таком же точно смысле, как мэтры старшего поколения, так же добровольно отдают жезл литературного правления в руки партийно-политических деятелей — категории тех людей, что, по словам Ходасевича, «прочтя в свое время П. Я., Тана, Ски-

тальца и тому подобное, затвердив также русский текст «Интернационала», порой не прочь судить о поэзии». В результате, ново-эмигрантское писательство, обязанное своим возвышением политическим партиям и деятелям, заняло враждебную в отношении литературы позицию, грозящую ей скорой гибелью. Не заботившееся о потомстве старое поколение умирает в одиночестве, не видя у своей постели ни сыновей, ни внуков. «Самого важного сейчас из возможных русских дел» не выполнили, не взрастили литературы способной стать русским ковчегом завета.

Пока прославленные писатели издавали свои книги, писали в журналах — создавалась видимость благополучия. Не верилось ни в какие мрачные пророчества. Только нам, наблюдающим смену поколений и постепенный уход последних поэтов и прозаиков порожденных дореволюционной литературой, ясен и понятен в полной мере пессимизм Ходасевича. Правильнее было бы назвать его стоицизмом. Это мужественное и мудрое созерцание приближающейся гибели. Еще в 1921 г., в Петербурге, на знаменитом вечере в «Доме Литераторов», он констатировал утрату новым поколением прежней тонкости восприятия Пушкина. Отныне уже не будут, по его мнению, находить в Пушкине тех откровений, какие были доступны людям прежнего склада. Он говорил о «последних часах» нашей близости с Пушкиным, о приближении тьмы до наступления которой спешил условиться, «каким именем нам аукаться в надвигающемся мраке». В те дни последнего и самого, может быть, экстатического упоения культурой, которое наблюдалось в Петербурге, слова эти не казались столь зловещими. Их оценили позднее. Сам же поэт, покинув советскую Россию, не только не излечился от своей скорби, но был повергнут в еще большую, зрелищем угасания русской культуры в эмиграции. Он едва ли не раньше других понял полную невозвратность и неповторимость той эпохи, под солнцем которой прожил половину своей жизни. Вопрос: «Неужели всё это кончилось?», который только теперь начинают задавать, решен в статьях Ходасевича утвердительно, более четверти века тому назад. Да, кончилось! Исчезает порода людей, флюиды и самый воздух культуры. Наступила не просто злая година, которую надо пережить, перетерпеть, чтобы снова увидеть небо и солнце, нет, блистательные времена уходят навеки. Книга Ходасевича проникнута этим чувством. Элегическая дымка «близкой и неминуемой разлуки с прошлым» почила на

всех его воспоминаниях. Можно только догадываться, какую бездну отчаяния носил в себе этот совсем не богатырского вида человек. Но кто найдет в его статьях хоть что-нибудь похожее на всхлипывание или на жест полного безразличия?

Как тот, застигнутый «ночью Рима», он полон сознания величия совершающегося и соответствующего величия собственной миссии. Возвышенный смысл борьбы с наступающей тьмой ясен ему в полной мере. Понять его и воспринять — значит извлечь из книги Ходасевича самое значительное, что в ней есть.

Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто ратуя пал побежденный лишь роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

Н. Ульянов

***

Наставника желанного не встретив,
Я приходил домой и слушал ветер.
И вот, как самоучка, одиночка,
Свой путь прошел от точки и до точки.
Но кто, когда поймет, среди людей,
Дорогу трудную души моей?
Я в жизни сделать ничего не мог,
Но горе побежденных превозмог.
И ветер, мой единственный учитель,
Шумит в моих словах, как победитель.

А. Величковский

ВОЗМОЖНЫЙ АВТОР "СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ"

Вопрос о личности величайшего древнерусского поэта, творца «Слова о полку Игореве», в последнее время рассматривается с разных сторон, в связи с возрастанием интереса к этой гениальной поэме. Конечно, мы не можем считать, как некогда Яков Гримм, что это — эпопея, созданная самим народом. «Слово» — произведение индивидуальное, личное, отражающее талант, вкусы, литературную школу, симпатии и антипатии самого автора. Но кем он был?

Еще в 1844 году Н. Головин считал автором поэмы «премудрого книжника» Тимофея, упомянутого в Галицко-Волынской летописи под 1210 годом и сказавшего о венгерском воеводе Бенедикте в Галиче: «яко в последняя времена тремя имены наречется антихрист». Однако этот религиозный книжник, по нашему мнению, тот же поп Тимофей, духовник князя Мстислава Удалого, которого этот князь посылал из Галича послом в 1225 году[1]. Почтенный священник никак бы не мог написать «Слово», столь проникнутое языческой стихией.

В 1946 году советский писатель Ал. Югов в своем, довольно фантастическом, комментарии к «Слову» попытался возродить другую старую гипотезу о епископском певчем Митусе, названном в той же летописи под 1242 годом в Перемышле. На это легко возразить, что, согласно мнению серьезных исследователей, «Слово» было написано под живым впечатлением событий, никак не позже весны 1187 года, так как певец обращается с призывом, как к живому, к Ярославу Осмомыслу, умершему 1 октября 1187 года, и считает в живых Владимира Глебовича, скончавшегося 18 апреля того же года. Даже если допустить, что Митусе в 1242 году было больше 70 лет, он

---

[1] «Мстислав посла отца своего Тимофея», т. е. духовного отца (Ипатьевская лет. 499). Самое имя указывает на духовное лицо: кроме этого Тимофея во всей Ипатьевской летописи назван лишь один еще — архимандрит Киево-Печерской лавры в 1130 году.

должен был бы сочинить «Слово» юношей 15-18 лет. Это совершенно невозможно, ибо певец «Слова» был человек зрелый, много видавший и много размышлявший о прошлом и о настоящем своей родины. Его можно сравнить с Пушкиным эпохи «Медного Всадника», а не с Пушкиным лицейской лирики.

Профессор Андрэ Мазон, в своем долгом и упрямом походе против подлинности «Слова», называл его автором сперва графа А. И. Мусина-Пушкина, а затем — старого директора Московского Архива Мин. Иностранных Дел Н. Н. Бантыша-Каменского. Полагаем, что после уничтожающего разбора мазоновской гипотезы профессором Р. О. Якобсоном[2] об этих попытках не стоит говорить: они похоронены навсегда.

В 1948 году советский профессор И. П. Еремин писал: «Вопрос о том, кто именно написал «Слово», вопрос праздный, ибо для решения его у нас нет никаких данных, пока что, во всяком случае[3]. Однако в том же году в другом органе Академии Наук была напечатана статья, пытавшаяся установить приблизительно личность автора «Слова»[4]. В ней указывалось, что автор принадлежал к черниговской школе вещего Бояна, что он был близок к черниговско-северским князьям, что к Игорю он относился с любовью, но и с укором, а особенно выдвигал личность «грозного великого» Святослава, выражал его политические взгляды и мог быть его придворным певцом. Неожиданный экскурс о полоцком князе Всеславе объясняется тем, что Святослав Всеволодич был женат на Марии Васильковне полоцкой: певец, сперва вызвавший образ Святославова деда — Олега Гориславича, счел нужным воспеть затем и славного прадеда великой княгини. Это наблюдение, казалось, открывало путь для дальнейших разысканий, но ему не посчастливилось в советской литературе.

С 1950 года проф. Д. С. Лихачев, в нескольких статьях по поводу «Слова», довольно резко полемизирует против признания ее автора «придворным певцом». В юбилейном издании 1950 года Д. С. Лихачев хочет убедить читателей, что певец не был «придворным». С одной стороны он признает, что певец

---

[2] Roman Jakobson, L'authenticité du Slovo, dans le recueil "La Geste du Prince Igor." New York 1948, p. 235-360.

[3] В «Трудах отдела древне-русской литературы Ак. Наук» т. VI, М. 1948, стр. 20.

[4] А. Соловьев, Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве». Исторические Записки № 25, М. 1948.

«подчеркивает ослушание Игоря и Всеволода по отношению к их «отцу» Святославу и осуждает их за это. Он призывает к феодальной верности киевскому князю Святославу, но не во имя соблюдения феодальных принципов (?), а во имя интересов всей Русской земли в целом». Он признает, что певец «наделяет Святослава идеальными свойствами главы русских князей», но делает неожиданное заключение: «Для автора Слова 'грозный' киевский князь — представление идеальное, а не реальное (!). При этом, что особенно интересно, для автора Слова дороги все притязания русских князей на Киев. Нет сомнений в том, что он считает Святослава, силу которого он гиперболизирует, законным киевским князем. И, вместе с тем, игнорируя вотчинное право на Киев Святослава Всеволодича, он пишет, обращаясь к Всеволоду Большое Гнездо — князю, принадлежавшему ко враждебной Ольговичу Святославу Мономаховой линии русских князей: «Великий княже Всеволоде! не мыслию ти прелетети издалеча отня злата стола поблюсти (т. е. стола киевского! Д. Л.)... Аже бы ты был (в Киеве. Д. Л.), то была бы чага по ногате» и т. д. В этом обращении к Всеволоду всё неприемлемо для Святослава, и всё обличает в авторе Слова человека, занимающего свою, независимую, а отнюдь не «придворную» позицию: титулование Всеволода «великим князем», признание киевского стола «отним» столом Всеволода и призыв притти на юг. Каким образом может это совместиться с позицией автора как «сторонника Ольговичей»?.. Аналогичным образом автору Слова казалась слишком опасной, слишком местной политика Ярослава Галицкого и он подчеркивает его могущество, его власть над Киевом: «отворяеши Киеву ворота», говорит он о Ярославе. Слова, казалось бы несовместимые с представлением о могуществе Святослава Киевского, слова невозможные в устах «придворного поэта» Ольговичей, но простые и понятные для человека, страдающего за Киев как за центр Русской земли, стремящегося привлечь к нему внимание замкнувшихся в местных интересах» и т. д.[5].

Чрезвычайно многословные рассуждения Д. С. Лихачева, которые любопытно прочесть в подлиннике (стр. 262-267) приводят его к удивительному выводу, что певец «рисует собирательный образ сильного, могущественного князя» вообще.

---

[5] Д. С. Лихачев, Слово о полку Игореве (историко-литературный очерк). Сборник «Слово о полку Игореве» под ред. В. П. Адриановой-Перетц, М. 1950, стр. 229-290.

Наконец, Д. С. Лихачев прямо ставит вопрос: «Кто был автор?» и отвечает весьма туманно. «Он мог быть приближенным Игоря Святославича: он ему сочувствует. Он мог быть и приближенным Святослава киевского: он сочувствует также и ему. Он мог быть черниговцем и киевлянином. Он мог быть и дружинником: дружинными понятиями он пользуется постоянно. Однако, в своих политических воззрениях он не был ни «придворным», ни защитником местных тенденций, ни дружинником. Он занимал свою независимую патриотическую позицию, по духу своему близкую широким слоям трудового населения Руси. Его произведение — горячий призыв к единству Руси перед лицом внешней опасности, призыв к защите мирного созидательного труда русского населения — земледельцев и ремесленников... Это народный певец, искусный и тонкий, создавший произведение литературное, а не устное». Итак, хотя певец «Слова» *мог быть* дружинником и приближенным в. кн. Святослава, это не важно — он защищает «интересы земледельцев и ремесленников», он рисует «собирательный образ сильного князя» и он просто — «народный певец».

Заметим крупные неточности в доказательствах Д. С. Лихачева. Неверно, что певец призывает Всеволода Б. Гнездо занять киевский стол. Прочтем внимательно контекст: «Се у Риме кричат под саблями половецкими, а Володимир под ранами. Туга и тоска сыну Глебову. Великий княже Всеволоде, не мыслию ти прелетети издалеча отня злата стола поблюсти?» О чем говорит певец? На правом берегу Днепра, в Киевской области спокойно, но на левом берегу Римов (на р. Суле) взят половцами, а Владимир Глебович тяжело ранен. Это князь Переяславля Южного, бывшего всегда отчиною Мономашичей.

Здесь «отний стол» Всеволода Большое Гнездо, стол его отца Юрия, его деда Мономаха, его прадеда и многих дядей и братьев. Певец обращается к нему с упреком: «И не в мысль тебе перелететь издалека поблюсти отчий стол?» (перевод А. Майкова), зная, что Всеволод и не мыслит побывать на юге, исполнить свою задачу младшего князя — поблюсти отчий стол (Переяславль) и тем самым «постеречь Русской земли». Это образец дипломатического искусства, вежливый упрек со стороны старейшины «Русской земли», уснащенный комплиментами силе и могуществу младшего князя, к которому певец вежливо обращается, как к «великому князю и господину».

Что касается Ярослава Осмомысла, певцу и не могло придти в голову призывать его на киевский стол. Как и его отец

Владимирко, Ярослав был занят только своими галицкими делами и никогда на Киев не притязал: перед смертью он хвалился: «се аз одиною худою своею головою ходя, удержал всю Галичкую землю» (Ип. 442). Выражение: «отворяеши Киеву ворота» вовсе не значит, что он имеет «власть над Киевом», как это толкует Лихачев. Оно имеет такое же широкое значение, как подлинные слова Святослава III по поводу неудачного похода Игоря и Всеволода: «но не воздержавше уности отвориша ворота на Русьскую землю». Они вероятно являются намеком на то, что Ярослав Осмомысл два раза помогал великим князьям занять Киев: в 1158 году он послал галичан на помощь Мстиславу Изяславичу, занявшему Киев для Ростислава Смоленского, а в 1167 году, по смерти Ростислава, Мстислав II пошел занимать Киев «и галичьских полков пять да ему Ярослав».

Следовательно, никак нельзя утверждать, что певец призывает одновременно и Всеволода суздальского и Ярослава галицкого занять киевский стол — это сплошное недоразумение. Впрочем, в следующей своей статье Д. С. Лихачев уже не настаивает на этом предположении, но опять весьма многословно утверждает, что «призыв Слова к единению и обороне Руси ближе всего отвечал потребностям класса земледельцев-крестьян — эксплоатируемых народных масс. Отсюда совершенно ясно, что *объективно* идея единения больше всего отвечала интересам трудового народа. Но и *субъективно*, если не умом, то, во всяком случае, сердцем, автор Слова был также на стороне трудового народа». На чьей же стороне он был «умом, а не сердцем»? На это Д. С. Лихачев отвечает неопределенно. С одной стороны, он признает, что «автор Слова призывает к единству в формах сильной центральной княжеской власти», что он «заинтересован в усилении власти старшего князя — киевского», что он «наделяет Святослава Всеволодича идеальными свойствами главы русских князей», что «его осведомленность в политических и, я бы сказал, в династических делах современной ему Руси обличает в нем человека, близко стоящего к правящей среде». Но с другой стороны, он повторяет, что «в разных князьях автор Слова рисует обобщающий образ сильного князя», что, хотя «он мог быть дружинником одного из князей или дружинным певцом» (почему не указать, чьим?), он «не был сторонником какого-нибудь определенного князя или группы князей», что «ему были чужды местные и родовые интересы феодальных верхов и были близки интересы широких

слоев трудового населения Руси — единого повсюду и повсюду стремившегося к единству Руси» — и т. п. Наконец, «защита основных интересов крестьянства и, вместе с тем, защита интересов всего трудового народа — в этом, не во всем до конца осознанный самим автором (!), общественно-политический идеал Слова»[6].

Наконец, в статье 1952 г. тот же автор подробно говорит об «устном творчестве трудового народа, поток коего един и могуч» и связывает с ним Слово, утверждая, что «Слово есть призыв народа, обращенный к князьям» и что «в Слове народ беспощадно осуждает князей». Собственно говоря, под псевдомарксистской терминологией, этот безусловно самый даровитый из советских историков отказывается от марксистского воззрения на литературу, как классовую надстройку на экономической базе, и возвращается к теории романтика-консерватора Якова Гримма: «личность поэта не имеет значения, всякая эпопея создана бессознательно» (ср. у Лихачева: «не до конца осознанная автором»): ее создает «народный дух» (Volksgeist) романтиков или «единый и могучий поток творчества трудового народа»[7], захватывавший и представителей высших классов.

На всё это легко возразить, что Слово — не эпопея, а лиро-эпическая поэма, субъективное произведение, в котором симпатии и антипатии взволнованного автора выражены с особою силой (как в «Полтаве» и «Медном Всаднике» Пушкина). Надо подчеркнуть, что в поле его зрения только князья и дружина. Им он поет славу, начиная со вступления, где «струны сами князем славу рокотаху» и до заключительного аккорда: «Здрави князи и дружина, поборая за христьяны на поганыя полкы. Князем слава, а дружине честь». Автор не столько осуждает князей, сколько восхваляет их: превозносит великого Святослава, любуется удалью Игоря и Всеволода, находит цветистые комплименты для каждого князя — и для бездарного Ярослава черниговского, и для Всеволода суздальского, и для Рюрика и Романа Ростиславичей, и для Ярослава галицкого, и для Романа и Мстислава волынских, и для таких незначитель-

---

[6] Д. С. Лихачев, Общественно-политический идеал Слова. Труды отдела древне-русской литературы АН СССР, т. VIII (1951), 17-30.

[7] Впрочем, теория «единого потока» была затем жестоко осуждена, в числе прочих уклонов советских историков, в журнале «Большевик», и редакция «Вопросов Истории» поспешила покаяться в этом, в № 9 за 1952 год.

ных князей как Ингварь и Всеволод луцкие. Он нежно жалеет погибших некогда — храброго Бориса, юношу Ростислава и полоцкого Изяслава: он вызывает трогательные образы княгинь — любящих жен и матерей. Он с гордостью вспоминает славных первых князей. Видно, что он живет интересами княжеского рода: его «осведомленность в династических делах» действительно поразительна. Если у него есть отдельные ноты осуждения (Олегу Гориславичу, безрассудному Игорю, вещему Всеславу), то они всё же неотделимы от восхищения их подвигами. Следует вспомнить, что придворный поэт вовсе не обязан быть только льстецом. Еще Державин ставил себе в заслугу, что он «истину царям с улыбкой говорил». А скандинавские конунги, имевшие каждый своего придворного скальда или даже по нескольку скальдов, особенно ценили того, кто был «смел» перед ними, т. е. говорил им правду в глаза, восхваляя достойные и осуждая недостойные их поступки.

Что касается простого народа, поэт только раз упоминает о нем, вспомнив, что при Олеге Гориславиче «по Руской земле редко ратаеве кикахуть», да еще, пожалуй, когда говорит, что половцы «емляху дань по беле от двора»; но делать из этого вывод, что он представитель интересов трудового крестьянства, является крупной натяжкой. Достаточно вспомнить, что дружина такого несимпатичного великого князя, как Святополк II, на съезде в Долобске в 1103 году отговаривается от похода тем, что не время воевать весной: «хочемь погубити смерды и ролью их (их запашку)»; на что возражает Мономах, опять-таки заботясь о смердах. Тот же разговор повторяется на следующем съезде в 1111 году, когда обе дружины, и Святополка и Мономаха, жалеют смердов и их коней, а Мономах доказывает, что если не пойти в поход, то весной половчин убьет смерда на его пашне, а семью его возьмет в плен. Защищать «основные интересы крестьянства» — это задача каждого справедливого князя и его дружины; она отвечает и их идеальному призванию, и их материальным интересам. Когда Мстислав II в 1168 году организует общерусский поход против половцев, он просит князей «пожалеть хрестьян, которых каждое лето уводят в плен Половцы»: это значит жалеть христиан вообще, но прежде всего беззащитных крестьян-земледельцев. Вспомним еще, что Ипатьевская летопись отмечает геройскую заботу Игоревой дружины о пеших «черных людях»; она слезла с коней, чтобы не оставить пеших, хотя могла ускакать, но не хотела взять греха на душу и предпочла погибать вместе.

Поэтому понятно, что певец «Слова», хотя и не упомянул этого эпизода, нашел возможным вспомнить о земледельцах, страдавших во время давних усобиц. Нам кажется, что неопределенная точка зрения Д. С. Лихачева: «поэт мог быть дружинником, мог им и не быть; личность его не имеет значения» — не может удовлетворить науку. И действительно, в советской литературе мы видим постоянные попытки определить личность автора «Слова», его политическую позицию и его классовую принадлежность.

Недавно проф. В. Федоров высказал новое предположение об авторе «Слова». Изучая военные вопросы в поэме, он считает, что автором мог быть только дружинник, обязательно один из тех, кто был с князем Игорем в плену и вместе с ним в числе пяти бежал из плена. Автор «Слова» несомненно крупный военачальник, из людей «думающих», ему известны в деталях подробности похода, он проявляет исключительный интерес и любовь к оружию. Одним из сподвижников Игоря был тысяцкий Рагуил. Его имя упоминается в летописи, которой пользовался Татищев. Поиски автора «Слова», как предполагает проф. Федоров, следует вести в этом направлении.

Всё это рассуждение неубедительно. Нельзя доказать, что автор «Слова» был в походе и в плену вместе с Игорем. Напротив, если мы сравним рассказ летописей со «Словом», то подробности похода гораздо точнее в летописях (особенно в Ипатьевской), чем в «Слове». Конечно, и бой и Игорево бегство живо описаны в «Слове». Но для этого поэту вовсе не надо было быть их участником. Как живо и точно описание Полтавского боя у Пушкина! А между тем всем известно, что А. С. Пушкин не только не был участником славного боя 1709 года, но даже никогда не служил в войсках. Сила поэтического воображения совершенно достаточна, чтобы описать и то, чего поэт не видел. Ведь если певец ярко передает диалог (воображаемый) князя Игоря с рекою, то он так же живо передает разговор Гзака с Кончаком, но нельзя же сделать вывод, что он скакал в свите ханов.

Мы сомневаемся в том, чтобы певец «Слова» был «несомненно крупный военачальник» — бой рассказан им в весьма общих чертах. Еще более сомневаемся в том, чтобы он был именно Игорев тысяцкий. В летописи (и у Татищева) сказано только, что в плену оказался сын тысяцкого. Раз же его отец не упомянут ни в числе пленных ни в числе бежавших, то надо считать, что он погиб во главе своего северского полка. Ско-

рее уж можно было предполагать, что певцом был попавший в плен сын тысяцкого; это предположение развил еще в 1938 г. писатель Иван Новиков в повести «Сын тысяцкого». Сочинив своему герою имя — Тимофей Рагуилович, Новиков занятно рассказывает, как у него в плену рождаются строфы вдохновенного «Слова». Но эта гипотеза не имела успеха в советской литературе: ее ничем нельзя доказать, а главное, она не отвечает тому, что мы знаем о политических взглядах певца — о его особой симпатии к великому князю Святославу и отеческих укорах князю Игорю.

В 1952 году проф. В. Ф. Ржига высказал «несколько мыслей по вопросу об авторе Слова о полку Игореве». Он отмечает его широкую осведомленность, его связь со старой поэзией Бояна; он считает, что Боян не был певцом Святослава Ярославича, вообще не был черниговским певцом, а скорее песнотворцем Ярослава Мудрого в Киеве (всё это весьма спорно). Ссылаясь на эпитет Бояна «гораздо гудец» в Задонщине и на описание бояновых гуслей в «Слове», В. Ф. Ржига полагает, что Боян был прежде всего музыкантом. Приводя из жития Феодосия Печерского указание на гусли и другие инструменты при Святославе II Ярославиче в Киеве, Ржига предполагает, что в Киеве был «музыкальный коллектив», бытовавший и в XII в. (хотя на это нет указаний). После долгого экскурса о крюковой нотации в России, В. Ф. Ржига приходит к выводу: «Нет сомнения в том, что автор Слова, подобно Бояну, был и великим поэтом и выдающимся музыкантом» и ставит вопрос: «Не принадлежал ли автор Слова к коллективу музыкантов, выступавших в киевском дворце?»[8]. Ответ на этот вопрос он обещает в следующей статье.

Надо сказать, что в своих многочисленных попытках найти автора Слова о полку Игореве не все советские ученые разделяют мнение Д. С. Лихачева о поэте — представителе «крестьянства, как передового класса» или В. Ф. Ржиги о «члене музыкального коллектива». Так, в том же юбилейном издании 1950 г. Н. Н. Воронин пишет: «Рядом с преувеличенно «грозным великим» Святославом (*«песнотворцем» которого и был скорее всего автор «Слова»*), поднимаются три действительно княжеских фигуры — Ярослава Осмомысла, Всеволода Большое

[8] В. Ф. Ржига, Несколько мыслей по вопросу об авторе «Слова о полку Игореве». Известия Ак. Наук по отделению литер. и языка, т. XI, вып. 5 (М. 1952), 428-438.

Гнездо и Рюрика Ростиславича»[9]. А в другом издании того же года И. У. Будовниц справедливо говорит о поэте: — «Он выдвигает еще одну идею русской публицистики этой эпохи — идею о старшинстве, о необходимости беспрекословного подчинения младших князей старейшему, независимо от реального соотношения их сил. Святослав Всеволодич, занимавший в 80-х годах XII века киевский великокняжеский престол, уступал по своему значению и материальным возможностям многим русским князьям... И всё же поэт его высоко поднимает над остальными князьями, окружает ореолом главенства и старейшинства, преувеличивает значение его победы над Кобяком, называет грозным, каким он никогда не был, наделяет мудростью, политической прозорливостью и далековидностью... Он известен не только на Руси, но и далеко за ее пределами: немцы и венецианцы, греки и моравы поют ему славу, победителю половцев. И при всем том поэт дает понять, что сила Святослава, которою он так щедро его наделяет, лежит главным образом в моральном авторитете его великокняжеского достоинства»[10].

**
*

Нам кажется, что от этой справедливой оценки надо исходить при решении вопроса о личности автора. Он не только поэт, но и публицист, политический мыслитель, выдвигающий идею подчинения младших князей старейшему, ради блага Русской земли. Следует вернуться с этой точки зрения к подлинным памятникам и прежде всего — к Ипатьевской летописи, которая столько дает для понимания «Слова о полку Игореве» и той исторической почвы, на которой оно расцвело.

Надо сказать, что Ипатьевская летопись конца XII века довольно невнимательна и даже пристрастна к Святославу Всеволодичу: видно, что она написана сторонником его соперника, князя Рюрика Ростиславича. Поэтому она меньше говорит о Святославе, чем могла бы, и почти не говорит об его окружении. Но вот под 1180 годом в ней сказано: «и тогда Святослав сдумав с княгинею своею и с Кочкарем, милостником своим, и

---

[9] В сборнике «Слово о полку Игореве» под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М. 1950, 326.

[10] И. У. Будовниц, Идейное содержание Слова о полку Игореве. Известия Ак. Наук, серия истории и философии, т. VIII, № 2 (М. 1950), стр. 157-158.

не повéде сего мужем своим лепшим, думы своея». Этот эпизод напоминает нам московские нравы XVI века. Вспомним, как в 1523 году Иван Никитич Берсень-Беклемишев жалуется Максиму Греку на то, что великий князь Василий III решает дела без боярской думы, «запершись сам-третей у постели», т. е. со своею великой княгинею и с любимым дворецким Шигоною Поджогиным[11]. «Грозный Святослав» предвосхищал порядки московского самодержавия так же, как его современник Андрей Боголюбский, имевший «милостника» Прокопия и вызвавший этим неудовольствие и заговор бояр. Не говоря ничего своим «лепшим мужам», этой боярской думе древней Руси[12], черниговский князь решил важный политический вопрос сам-третей, со своей княгиней Марией Васильковной и милостником Кочкарем. В чем была эта «дума своя», о которой он не сказал боярской думе? Это был важный политический вопрос. Опираясь на свое родословное старшинство, Святослав Всеволодич давно хотел стать старейшиною — сюзереном Русской земли. Он пытался это сделать уже в 1177 году, когда Ростиславичи (Роман и Давид) «даша Киев Святославу», но чувствовал себя в нем нетвердо, так как Давид и Рюрик имели столы в Киевской волости и вероятно интриговали против него. Теперь он решил изгнать их и стать полным хозяином в «Русской земле». Летописец, сторонник Ростиславичей (Мономашичей), осуждает Святослава и его планы, говоря: «Бог бо не любит высокыя мысли нашия, возносящегося смиряеть». (Ип. 416).

В чем же заключались «высокие мысли», которыми возносился в 1180 году Святослав Всеволодич? Незадолго перед тем у него был в Любече съезд с братом Ярославом и двоюродными братьями Игорем и Всеволодом (обоими героями «Слова»). Надо думать, тут уже был предрешен важный вопрос о борьбе за «Русскую землю», а в связи с этим и новое распределение столов в Черниговской волости. Из дальнейшего видно, что этот план был неожиданностью для «лепших мужей»-бояр; их присутствие не упомянуто на Любечском съезде. Весьма вероятно, что и тут присутствовали только княгиня Мария и боярин Кочкарь. С ними был затем решен вопрос об открытии военных

---

11 Акты Археологической Экспедиции, т. I, № 172.

12 Именно герой «Слова», князь Игорь, восклицает в плену: «где бояре думающие, где мужи храборствующие?» (Ип. 434). Это выражение дало возможность В. О. Ключевскому говорить о «боярской думе» в древней Руси.

действий. Они заключались в следующем. Сперва Святослав послал своего сына Глеба в Коломну в Рязанскую волость, на помощь рязанским князьям (своим родичам) против молодого Всеволода Большое Гнездо. Это была попытка объединить всё потомство Святослава II (1073-1076) против потомства Всеволода I (1078-1093); Святослав II был старше своего брата Всеволода I. На этом основании его правнук Святослав III справедливо считал себя старше своего младшего четвероюродного брата Всеволода III суздальского и своих четвероюродных племянников Ростиславичей смоленских, Рюрика и Давида, севших в Киеве по праву первородства после популярного своего деда Владимира Мономаха и благодаря любви киевлян к Мономашичам. Древнее начало родового старейшинства (сениората) столкнулось с новыми началами примогенитуры (в пределах популярной ветви) и народного избрания.

Попытка Святослава III поддержать рязанских князей против сильного суздальского Мономашича не удалась: Всеволод III захватил в плен Святославова сына и его дружину. Тогда Святослав «распалися гневом и ражжеся яростью» (любопытно для его характеристики) и, размыслив в уме своем, решил: «хотел бы мстить Всеволоду, но нельзя из-за Ростиславичей, они мне во всем пакостят в Русской земле. А в Володимире племени (т. е. в Мономашичах) кто ми ближни, тот добр». Тогда именно Святослав, обдумав свой план только с княгинею и Кочкарем, решил напасть на Ростиславичей и изгнать их из Киевской области. «Не удержався от ярости, переступя крест», он переехал через Днепр с дружиною и решил: «Давыда возьму в плен, а Ростислава выгоню из земли, и приму един власть Рускую с братьею, и тогда мщюся Всеволоду обиды свое». Вот «высокие мысли», которыми возносился грозный и яростный Святослав. Постараемся их разъяснить.

Выражение: «приму един власть Рускую с братьею» весьма интересно и двусмысленно. Оно могло бы значить: «захвачу всю Киевскую волость», которая тогда иногда называлась «Рускою землею» по преимуществу, но может значить и «буду иметь один власть над всею Русской землей». Единовластие может осуществляться и «с братьею». Так, по завещанию Болеслава Кривоустого 1138 года, Польша делится на уделы между его сыновьями и их потомством, но тот князь, который сидит на столе в Кракове, считается монархом по отношению к братьям-вассалам (filius senior monarchiam habeto, говорит Викентий Кадлубек).

Подобно тому, как Владимир Святой и Ярослав Мудрый были «единовластцами Русской земли» и повелевали своим сыновьям, сидевшим по разным волостям, — так по завещанию Ярослава старший брат, на Киевском столе, должен был быть «в отца место» младшим братьям. Это чисто правовое понятие — он должен был быть и дальше старейшиною большой семьи и главою всей Русской земли, повелевать своим братьям как сыновьям. Эта идея «семейного вассалитета» держалась еще в XII веке, хотя и была подорвана фактическим обособлением некоторых волостей и распадом большой семьи, превратившейся в богато разветвившийся род. «Принять власть» в Киеве значило распоряжаться столами в Русской земле, повелевать князьями, звать их в общерусские походы, наказывать их и отнимать у них волости, если они непослушны. Так было еще и при Владимире Мономахе и при сыне его Мстиславе Великом. Так поступал и отец Святослава III, Всеволод II Ольгович (1138-1146); севши в Киеве, «сам хотяше землю всю держати»; он распоряжается столами в Смоленске и Владимире-Волынске, изгоняет Андрея Мономашича из Переяславля, написав ему кратко: «Курску изволи ити», сажает своего брата в Великом Новгороде, выдает замуж осиротевших городенских княжен. Это власть старейшины-сюзерена. Во второй половине XII века рядом с властью «великого князя Русского» в Киеве вырастает власть великого князя суздальского (Юрия, Андрея, Всеволода III), но владение Киевом попрежнему значит для претендентов «приять всю власть Русскую»[13]. Фактически это широкое понятие сужается часто до пределов Киевской волости, этой «Руской земли» по преимуществу, где великий князь выделяет волости своим «братьям»-вассалам, но он всегда притязает на старейшинство над всеми русскими князьями.

Вот понятие о «власти Руской» и о «Руской земле» в высоких мыслях Святослава Всеволодича. Эти мысли он продумал со своею княгинею и с милостником Кочкарем. Эти мысли

---

[13] Недавно найдена вислая печать с надписью: «Mesithlavos Megas Archôn Rhôsias», принадлежавшая Мстиславу II Изяславичу; итак, сидя в Киеве с 1167 года, он считал себя «великим князем России». См. статьи Д. Блифельда и Б. Рыбакова в киевском журнале «Археология», т. III, 1950 г., 102-118.

вполне соответствуют политической идеологии «Слова»[14]. Там Святослав III изображен в Киеве как «грозный великий» князь, как победитель половцев, как защитник Русской земли, как руководитель и объединитель всех русских князей. Всех их он (и его поэт) призывает в новый поход «за землю Рускую»; все они должны были бы его слушаться, и он скорбит о непослушании Игоря и Всеволода, своих двоюродных братьев, которых он называет однако «сыновцы», ибо он их сюзерен — фиктивный дядя «в отца место». Уже было выяснено, что певец «Слова» был трубадуром этой политической идеологии и патриотом «Руской земли» в самом широком смысле этого слова, в котором оно обнимает и Полоцкую волость, и что он особенно внимателен к полоцким князьям, так как в «Слове» незримо присутствует великая княгиня Мария Васильковна, верная супруга грозного Святослава (с 1143 по 1194 год). В честь ее певец «Слова» воспевает вещего деда ее Всеслава и ее младшего брата Изяслава. В 1180 году княгиня Мария и Кочкарь обдумали со Святославом его «высокие мысли» о единовластии, о захвате «всей власти руской». Почему Кочкарь попал в особую милость к Святославу? Очевидно потому, что он разделял, а быть может и вдохновлял эти гордые планы. Вполне правдоподобно, что этот политический советник и любимец князя и княгини есть тот же придворный их певец, хранитель их исторических преданий и глашатай их политической идеологии. *По нашему мнению, черниговец Кочкарь и есть певец «Слова о полку Игореве»*, сочетавший черниговские традиции с широким патриотизмом Русской земли, как великого целого.

Проследим дальше нашу гипотезу. Летописец, сторонник Мономашичей, осуждает планы Святослава III и рассказывает, как его Бог наказал за то, что он преступил крестное целование: ему не удалось захватить Давыда в плен, а Рюрик Ростиславич даже въехал в Киев. Однако Рюрик всё-таки признал законные права Святослава и уступил ему «старейшинство и Киев», но себе взял «всю Рускую землю», т. е. всю Киевскую область; они помирились и стали сватами. Таким образом, Святослав III

---

[14] Святослав старался провести их в жизнь: оставшись «в отца место», он *велит* князю Игорю с Ярославом блюсти Чернигов, сажает сына в Великом Новгороде, к Всеволоду III обращается: «брате и сыну», в 1184 г. организует общий поход против половцев; летопись называет его «великим князем», хотя неохотно, и часто дает этот же титул Рюрику II.

стал властителем Киева и старейшиной всех князей, но без реальной политической и экономической базы. Всё же он серьезно относится к своей роли старейшины-сюзерена и, начиная с 1184 года, организует ряд походов против половцев, как когда-то Владимир Мономах. Неудача Игоря в мае 1185 года помешала его планам, помешала новому походу, для которого Святослав уже набирал войско в области вятичей. Потому певец «Слова» осуждает Игоря за его безрассудство и за непослушание старейшему князю, именно с точки зрения Святослава Всеволодича.

***

Известно, что певец «Слова» прекрасно знает всю историю и родословную Рюриковичей. Он упоминает около 40 князей и 4 княгинь (по именам или иногда косвенно); из них 16 умерших, а 24 живых современников событий. В походе у него на первом месте Игорь и «буй-тур» Всеволод, затем молодые князья. Но особенно выдвинута роль «великого грозного» Святослава, воспетого в грандиозных гиперболах. Видно, что певец близкий Святославу человек, можно сказать — его «милостник».

Весьма любопытно, что кроме князей в «Слове» почти нет других действующих лиц. Сравним «Слово» с рассказом Ипатьевской летописи: она часто упоминает отдельных бояр и дружинников. Летопись выделяет черниговского воеводу Ольстина Олексича, в битве упоминает Михалка Гюрговича, затем прибежавшего с поля битвы Беловолода Просовича; отмечает воеводу Игорева, его конюшего, сына тысяцкого, и даже попа из Руси. Говоря о воинах, летопись внимательно различает разные их классы: выделены не только «дружина князей», но и «лучшие конники», «мужи», «добрые (люди)»; от них отличаются пешие, «черные люди», стрельцы, просто «ратници», наконец — стражи в поле и слуги Игоревы. Сам Игорь в плену вспоминает: «где бояре думающие, где мужи храборствующие, где ряд полчный?» В «Слове» все эти лица исчезли, все сословные различия сглажены. Нет разницы между «лучшими, добрыми» и простыми «черными людьми». Есть только дружина, вои, «русские полки, храбрые полки, храбрые Русичи[15]». Часто они обозначены как подчиненные князьям:

---

[15] Только в рассказе о сне Святослава выступают *бояре* (100). Мы цитируем строки «Слова», пользуясь нумерацией указанного издания Р. О. Якобсона.

«Игорь наведе... своя храбрыя полки (7), виде... вся своя воя (8), рече к дружине своей (9), храбрые полки Игоревы (48), Игорев храбрый полк (80, 137)»; Ярославна говорит: «моея лады вои (174), на лады вои (183)»; Святослав побеждает «своими сильными полкы (89)», Изяславу полоцкому говорят: «дружину твою (146)». Можно полагать, что дружина — более узкое понятие, а вои и полки — более широкое, но и те и другие считаются княжескими. Видно, что певец «Слова» смотрит на всех воинов с княжеской точки зрения.

Единственная личность вне круга князей, названная в «Слове» — это половец Овлур, сыгравший такую роль в бегстве Игоря (в летописи он назван Лавром). Из храбрых полков выделены всадники — куряне князя Всеволода, эти «сведоми кмети (славные рыцари)»[16]. Однако особенно бросается в глаза, что вне рассказа о походе, в призыве к черниговскому князю Ярославу подробно названы и описаны мелкие племена черниговских «былей» — Могуты, Татраны, Шелбиры, Топчаки, Ревуги и Ольберы. Почему эти шесть племен (или крупных родов), совершенно неизвестные русским летописям, заняли такое видное место в «Слове», хотя вовсе не участвовали в походе? Давно уже выяснено (еще со времен Дубенского, 1844 года), что эти «черниговские были» были старшинами Коуев, т. е. оседлых Черных Клобуков тюркских племен на русской службе. Тихонравов сопоставил слово «быля» с титулом на древне-болгарских надписях: boilas, boilades; Мелиоранский связал его с орхонско-тюркским словом «бойла, буйла» (знатный) и сказал: «надо думать, что Могуты, Татраны и т. д. суть именно части этого племени Коуев (так называемые «отделения» племени или сильные, многочисленные роды)». Он этимологизировал «без натяжек» только одно название «Топчаки» — крупная лошадь. Затем в 1936 году венгерский ученый Л. Рашоньи объяснил из тюркских корней все шесть названий, в том числе и Могутов.

Известна крупная роль Черных Клобуков на левобережной и правобережной Украине с XI по XIII век. Эти оседлые

---

[16] Слово «кметь» имеет в славянских языках разные значения — от вельможи (в чешском) до крестьянина (в польском и сербском), что надо считать деградацией термина. На Руси XII века оно обозначало витязя, рыцаря: так в 1150 г. «Кияне дивяхутся Угром множеству и кметьства их и комоням их» на турнире, устроенном венгерскими рыцарями. Ип. 289.

инородцы были отличной легкой конницей, храбро боролись против Половцев и помогали русским князьям в их усобицах. Они делились на четыре главных народности: Торки, Берендеи, Коуи и Печенеги. Из них Коуи (или Ковуи) упоминаются в Черниговской области с 1151 по 1185 год. Они поселялись на разоренной окраине; подобно позднейшим казакам (которые отчасти были их потомками — в этническом и социальном смысле), они занимались прежде всего охотой, рыбной ловлей и легче выдерживали набеги Половцев, чем славянские земледельцы, уходившие в северные леса. Они населяли даже небольшие города, имели своих князей и бояр и отличную военную организацию. Напомним, что Ипатьевская летопись подробно излагает роль Коуев в несчастном Игоревом походе, о чем «Слово» молчит. Она говорит, что Ярослав черниговский послал своим младшим братьям в помощь Ольстина Олексича «с Коуи черниговскими», отмечает их далее, как один из шести полков в каждой схватке: «полк Ярославль иже бяхуть с Ольстином Коуи». Но вот в последнем бою Коуи не выдержали: «взмятошася Коуи в полку, побегоша». Игорь хотел их вернуть, поскакал к ним, уже раненый, сняв шлем. Однако никто из них не вернулся, только Михалко Гюргевич, один из немногих русских, побежавших с ними, ибо «добри (люди) не смялися с Ковуи, но мало от простых, или кто от отрок боярских». Тут Игоря и взяли в плен. Итак, смятение Коуев было причиною поражения Игоря и его плена. Лаврентьевская летопись об этом вообще не говорит, но Ипатьевская ясно обвиняет Коуев. Между тем, певец «Слова» не рассказывает драматических подробностей поражения Игоря. Он кратко говорит: «бишася день, бишася другой, третий день к полудню падоша стязи Игореви (70)» и «Ту ся брата разлучиста — ту Игорь выседе из седла злата в седло кощеево (91)». Он умалчивает о подробностях, он как бы замалчивает некрасивую роль Коуев в решительной битве. Вместо этого он, без особой связи с ходом изложения, намеренно выделяет их богатырей «былей» и их роды, осевшие в Черниговской области. Певец восхваляет их храбрость, их манеру воевать без щитов, их «прадеднюю славу», которая и ему дорога. Что это значит? Певец как бы призывает этих Коуев восстановить потемневшую их славу, отомстить за позор их родичей, бесславно побежавших и погибших в поражении Игоря. Певец умолчал перед слушателями о позоре Коуев (впрочем хорошо им известном), но выделяет их родичей как возможных мстителей и похитителей «передней», будущей славы.

Поэтому у нас является догадка — не был ли певец сам «черниговский быля»[17], не был ли он родом из знатных обрусевших Черных Клобуков? Тогда будет понятно, почему он постарался сохранить для потомства их родовые прозвища, в летописях нигде не отмеченные. И мы опять возвращаемся к Кочкарю, политическому советнику великого князя Святослава.

Собственное имя Кочкарь не славянское: оно стоит особняком и не встречается больше ни в русской ни в славянской ономастике[18]. В джагатайском языке kočkar значит «баран, овен»[19]. В Крыму есть татарская деревня Кочкары, к югу от Перекопа. В летописи мы найдем сходные имена: половецкие князья Кочий в 1103 г. и Бегбарс Кочаевич — в 1190 г., наконец татарский «посол лют именем Кочка» — в 1318 г. Суффикс *-арь* встречается в тюркских именах: хан Итларь в 1095 г. и князь Сурьбарь в 1103 году.

Полагаем, что черниговец Кочкарь мог быть знатным Коуем, вероятно из рода Могутов, названного им на первом месте[20]. Название рода «Могуты» хорошо объяснено в статье Л. Рашоньи: суффикс *-ут* встречается в именах турецких племен, например, Баягут в конце XII века. Можно предположить тот же суффикс при корне *маг-* (уйгурское *магу*; алтайское *маг,*

---

17 Мы считаем, что «были» надо перевести «богатыри»; это слово обнимает в «Слове» всех Коуев — и знатных и незнатных. Поэтому нам кажется неудачным переводить «были» как «grands boyards, grandees, вельможи» (La Geste d'Igor, p. 61, 187, 193).

18 Фамилия Кочкарев — в «Женитьбе» Гоголя очевидно сочинена им под влиянием летописи, которую он внимательно читал, готовясь писать историю Малороссии в 11 томах. Среди русского дворянства она не встречается.

19 Словарь тюркских наречий Радлова II, 617.

20 Мы не можем согласиться с чтением проф. Р. Якобсона, считающего это слово нарицательным: «могуты». Он переводит: «с воеводами» (французский переводчик: «avec des magnats», английский: «his valliant knights»). Синтаксическая конструкция ясна: «не вижду власти... Ярослава с черниговскими былями: с Могуты и с Татраны и с Шелбиры и т. д.». Могуты (при которых нет союза *и*) суть первое название рода, а «были» это общее понятие. Между тем чтение: «с черниговскими былями, с могуты: и с Татраны и с Шелбиры» синтаксически нестройно. Два названия классов, при том без союза, а после них дополнения, начатые союзом *и*, кажутся нам нелогичными. Поэтому мы примыкаем к общепринятому чтению.

хвала). Следовательно, *магут* значило бы «славный, хвалимый». Убедительна приводимая Рашоньи аналогия с именем татарского хана *Могучей* (=Magučі) под 1252 годом. Сходство с прилагательным «могучий» (от причастия *могущий*) чисто случайное. Роль Черных Клобуков в Черниговской области была может быть еще больше, чем в Киевской. В 1159 году Святослав Ольгович (отец князя Игоря) жаловался на то, что он получил Чернигов «с семью городы пустых: Моровиеск, Любечь, Орогощь, Всеволожь, а в них седят псареви же и Половци». Очевидно, раздосадованный князь назвал здесь презрительно Половцами «своих поганых», т. е. Черных Клобуков, Коуев. Черниговская область была настолько опустошена, что даже в старых торговых городах, как Любеч, инородческое население стало заменять славяно-русское. Поэтому неудивительно, что певец «Слова», несколько преувеличивая, изображает черниговского князя Ярослава, окруженным только восточными «былями» из шести родов, и забывает о его славяно-русском окружении, о тех боярях и дружинниках, которые должны же были находиться возле него. В этом преувеличении можно усмотреть его подсознательные племенные симпатии.

Итак мы полагаем, что Кочкарь — милостник Святослава III и его придворный певец — был родом из Черных Клобуков, вероятно из рода Могутов. Он уже был крещеным, должно быть сыном русской матери: смешанные браки были довольно часты. Потому, при всех своих симпатиях к Ковуям, он — черниговский патриот, проникнутый славными традициями Чернигова и Тмутаракани. Но он еще больше — русский патриот, и в этом разделяет планы Святослава III «приять всю власть Русскую» и восстановить единство и величие Русской земли. Та же идея проходит через «Слово», где «великий грозный» Святослав есть законный старейшина русских князей, «отец» своих двоюродных братьев, в понимании придворного певца.

Для певца «Слова» и Полоцкое княжество есть «Руская земля». В этом можно слышать отзвук его происхождения. Племенные различия уже чувствовались в это время на Руси; как мы указывали, понятие «Руской земли» часто сужается в XII веке до Киевской волости. Заметно, как обособляются «Суздальская земля», Галицкая, Полоцкая, Новгородская. Резко проявляется вражда Суздальцев к «Руским детским», т. е. к чиновникам, пришедшим из Киева (1175 г.). Но певец «Слова» этого не видит: для него всюду «Руская земля» — единая, населенная «Дажбожьими внуками», — всюду, и на Немиге и

на Двине и на Дону, лежат «кости русских сынов». Именно, потомку иноплеменника меньше заметны племенные и диалектические различия: для него всюду те же «Урус» — «Русичи», сыновья единого праотца Руса, которого знает восточный писатель X века Ибн-Фодлан. Заметим, что именно Берендеи и Черные Клобуки отличались своеобразным «общерусским» патриотизмом, стремлением честно служить великому князю и Русской земле. Так в 1155 году Берендеи (т. е. их князья) не хотели отдать Половцам их пленных, говоря Юрию Долгорукому: «Мы умираем за Рускую землю с твоим сыном, и головы своя складаем за твою честь» (Ип. 330). Эти эпические слова совершенно в стиле «Слова о полку Игореве».

Если мы примем гипотезу, что Кочкарь, политический советник великого князя Святослава и его жены, был православным потомком знатного рода Коуев, то нам понятнее и «двоеверие» его поэмы. Хотя певец и старается провести различие между «крестьянами» и «погаными», хотя он и упоминает собор св. Софии и церковь Богородицы Пирогощей, в христианской вере он не тверд. Количество языческих элементов в «Слове» всё же гораздо больше, чем можно было ожидать даже от светского певца в конце XII века, после двух веков христианства, и это часто ставило в тупик комментаторов. Певцу близок и «Див», восходящий корнями к персидскому Востоку, и «великий Хорс» тоже взошедший на Востоке и другие языческие образы. Вспомним остроумную фразу П. Мелиоранского, утверждавшего, что «тмутараканский болван был какой-то статуей, возбуждавшей к себе суеверное почитание со стороны Половцев, и — кто знает? — может быть и певец «Слова» в глубине души не вполне был убежден в суете верования Половцев в этом случае». Действительно, в глубине души поэт близок к этим языческим, отчасти восточным преданиям.

Если Кочкарь был автором «Слова», то легко объяснить и появление в нем многочисленных туркизмов, таких редких слов, как «шереширы, салтаны, были»; он знал половецкий язык, он понимал особый стиль разговора ханов. Наконец, из всех не-князей он назвал только одну личность — крещеного половца Овлура, как бы чувствуя к нему особую симпатию. Со всем этим совпадает и особый колорит «Слова» — его «запах степи», знание языка птиц и зверей, олицетворение рек, восточные гиперболы в прославлении побед Святослава, — всё то, что так сближает отдельные места «Слова» с отрывком половецкой песни, занесенной в Ипатьевскую летопись под 1200

годом и пронизанной благоуханием степного «зелья именем емшан». Повторяем, автор «Слова» прежде всего русский, проникнутый знанием русской истории, любовью к Русской земле и ее величию, сожалением к ее несчастьям, враждою к ее врагам. Но если он по происхождению был полу-русский, полукоуй, то в глубине его души подсознательно звучали те струны и те симпатии, которые мы постарались раскрыть. Если Кочкарь был автором «Слова», то мы можем видеть в нем первое проявление того мощного воздействия русской культуры, которая так легко привлекала к себе нерусских и делала из их потомков своих носителей и глашатаев. Оставим в стороне Г. Р. Державина и Н. М. Карамзина, происхождение которых от татарских мурз достаточно отдаленно. Но по удивительному совпадению великий композитор XIX века А. П. Бородин был ведь сыном имеретинского князя Луки Гедеанашвили и скромной русской девушки. И не потому ли он так сумел в своей опере «Князь Игорь» сочетать восточную и русскую стихию, величание князей и лихость половецких плясок, а в симфонии «В Средней Азии» так же гармонически соединить русский и восточный элементы?

Конечно, мы признаем известную шаткость нашей догадки. Летописец, в своем сухом рассказе, не прибавил слова: «песнотворец» к имени «милостника Кочкаря»[21], и мы не сможем никогда утверждать с полной уверенностью, что это и был гениальный певец. Но полагаем, что эта значительная личность гораздо больше годится в авторы «Слова», чем галицкий поп Тимофей 1205 г. или перемышльский певчий Митуса 1242 года.

Париж, 1953. *Сергей Тарасов*

[21] Он не назвал и его крещеного имени (хотя оно у него наверное было), только его тюркское прозвище.

М. ВОЛОШИН В КОКТЕБЕЛЕ

Далекие потомки наши, знайте,
Что, если вы живете во вселенной,
Где каждая частица вещества
С другою слита жертвенной любовью,
То в этом мире есть и наша доля.
М. Волошин

Я приехала к Волошиным в Коктебель в первый раз в 1926 году и до своего отъезда из России была у них двенадцать раз. Я приехала туда, как приезжало к ним бесчисленное количество людей, не имеющих никакого права на гостеприимство Волошинского дома и никаких данных, чтобы стать в число их друзей. Я с ними даже не была знакома. Но двери дома всегда широко открывались перед всеми, кто в них стучал. Отказа не было. Обычно приезжий ссылался на какую-то Анну Ивановну или на Мишеньку, которые жили здесь пять-шесть дней несколько лет тому назад, и хотя Максимилиан Александрович и его жена Мария Степановна часто и вспомнить не могли, кто же собственно говоря были этот Мишенька или Анна Ивановна, гость сразу же принимался и начинались всякие комбинации, чтобы выкроить и для него местечко в уже переполненном доме.

Меня привезла моя приятельница, которая имела один из самых солидных коктебельских стажей — до второй войны она была у Волошиных двадцать три раза. Помню мое волнение, когда мы тряслись на безрессорной линейке 18 километров по покрытым ковром маков степям от Феодосии до Коктебеля. Сперва ландшафт казался унылым, степи, затем плоские холмы, затем маленький подъем — и перед глазами лежал во всем блеске глубокий Коктебельский залив — с водою такой синевы и такой переливчатости красок, которых в другом месте не найти.

Когда я уже была у самого дома, робость так сковала меня, что мне только и хотелось на той же линейке повернуть обратно и уехать. Но Максимилиан Александрович и Мария Степа-

новна уже спешили навстречу моей приятельнице — их большому другу — и приветствовали меня незнакомую.

Прежде всего меня поразил весь облик Максимилиана Александровича. Несмотря на его массивность, грузность, большой вес — страшная легкость в движениях, легкость в походке. Голова Зевса — целая шапка густых, развевающихся по ветру седых волос, которые он иногда стягивал ремешком или широкой тесьмой. Лицо, заросшее до самых глаз бородой. Небольшие серые глаза, смотревшие очень пристально. Мне сразу показалось, что Максимилиан Александрович смотрит не *на* меня, а *в* меня. При всей пристальности взгляда — глубокая ласковость.

Одеты Максимилиан Александрович и Мария Степановна были почти одинаково — холщевые рубахи с длинными рукавами, выпущенные поверх таких же холщевых штанов-шаровар, застегнутых ниже колен на пуговицу, сандалии на ногах. Всё это старенькое, много раз стираное, латаное.

Мария Степановна провела меня по всей «усадьбе», состоявшей из двух больших домов и одного маленького домика-кухни, и поместила меня в большой комнате второго дома, «гинекее», где жили одинокие женщины и девушки. Одинокие мужчины жили в комнате, называемой в противоположность «гинекее» — «мужикеем».

Когда-то, еще до революции, Елена Оттобальдовна — мать Максимилиана Александровича, которую он всегда называл Пра-женщина, властная, энергичная, мужское начало в семье, будучи в очень стесненном материальном положении, начала сдавать свободные комнаты в своем доме, приглашая преимущественно писателей, поэтов, литераторов и людей, причастных искусству. Кто только не перебывал в это время в Коктебеле: Андрей Белый, Брюсов, Вересаев, художник Богаевский, Грин, Ходасевич, Цветаева.

Пришла революция. Коктебель опустел. Однажды в 1920 г. в Коктебель прибилась совершенно больная сестра милосердия. Ее приняли в дом, выходили, поставили на ноги, полюбили. В это время начала хворать Елена Оттобальдовна. Маруся не отходила от нее, ухаживала за ней. Когда Пра умирала, она позвала Марусю и взяла с нее обещание никогда не оставлять Макса и остаться с ним на всю жизнь. И Маруся осталась, и стала его женой. Но не только женой, больше того: другом, нянькой, охраной, единым, нераздельным существом. И ценно было то, что Марусина личность не растворилась в личности

Максимилиана Александровича, не поглотилась и не подавлялась ею. Она была очень самобытна и прошла большой путь жизни. Из старообрядческой семьи, со всей строгостью и суровостью ее быта, она рано потеряла мать — сгоревшую в туберкулезе. Еще при жизни матери, которая билась в страшной нужде, Маруся ребенком 8-10 лет покушалась на самоубийство, чтобы облегчить таким образом матери борьбу за существование. Ее доставили в больницу и отходили. Через несколько дней появилась заметка в газете, и несколько семей откликнулись на призыв помочь. Ее поместили в лучшую частную гимназию в Петербурге, а после смерти матери она жила поочередно в семьях, принявших в ней участие, между прочим и в семье Бориса Савинкова. После окончания гимназии Маруся увлекается идеей толстовства и едет в толстовскую общину — Криница — под Новороссийском, но не уживается в ней и скоро уезжает обратно в Петербург. Затем — годы учения на медицинских курсах, которые она не успевает закончить из-за революции и, не получив диплома врача, Маруся уходит на фронт сестрой, что приводит ее в Крым, в Коктебель, к Максу, хозяйкой такого большого и такого сложного дома.

Еще при жизни Пра Максимилиан Александрович мучительно переживал денежные расчеты матери за сдачу комнат людям, которых он считал своими друзьями. Став хозяином дома, Максимилиан Александрович стал приглашать к себе своих друзей безвозмездно, предоставляя в их распоряжение весь дом. С 1922 года дом опять стал постепенно наполняться в летние месяцы. Сперва появились старые друзья, они потянули за собой своих друзей, а те — своих, и в 1926 году, когда я впервые приехала в Коктебель, в комнатах дома жило 115 человек, а за всё лето перегостило 600 с лишним душ.

Первый дом, в котором жили Максимилиан Александрович и Мария Степановна, стоял возле самого моря. Узенькая полоска пляжа отделяла его от воды. В осенние нордосты, очень свирепствующие в Коктебеле, серые, осенние, холодные волны лизали калиточку, ведущую в садик при доме. Дом — непонятной конструкции — весь из каких-то пристроечек, но очень удобный. Каждая комната со своим выходом, у каждой балкон или терраса. Прямо лицом к морю — мастерская с тремя огромными окнами — фонарем. Обстановка, как и во всем доме, самая примитивная, всё сколочено по-самодельному, из досок, ящиков. В глубине мастерской — ниша с двумя топчанами, тоже сколоченными из досок, с соломой набитыми тюфяками,

но всё покрыто болгарскими пестрыми дорожками-ковриками. А между топчанами бюст Тайах — «царевны древнего Египта».

Из мастерской лестница наверх — вдоль стены книжные полки, несколько тысяч томов. Книги по философии, истории. Книги на многих языках. Кругом мастерской — хоры, где во время чтений и бесед, устраиваемых два-три раза в неделю, сидело по 20-25 человек.

Затем кабинет Максимилиана Александровича. Большое окно — прямо на море. Если сидеть за столом или в кресле — не видно земли, а только море и Карадаг, круто спускающийся к морю и очертанием своим напоминающий профиль Максимилиана Александровича. На стене большой портрет первой его жены — Маргариты Васильевны Сабашниковой. На стенах акварели, маски, полочки. На них «габриаки», отполированные до блеска морем корни каких-то деревьев, причудливой формы, напоминающие какие-то химеры, фигуры. Находка каждого габриака, выброшенного морской волной на пляж — всегда событие в Коктебеле. Его несут Максимилиану Александровичу, осматривают, начинают искать сходство с кем-нибудь или чем-нибудь, иногда вставляют глаза из камешков. Каждый габриак имеет свою историю — он живой участник дома Волошина.

Из кабинета ход на чердак, отданный в летние месяцы во владение «отроков и отроковиц» — 12-18-летнего населения дома, — и ход на небольшой балкон, откуда поднимаешься на вышку, венчающую дом — она открыта на все четыре стороны — это как бы крыша дома. Сюда Максимилиан Александрович выходит рано утром — смотреть на восход солнца. Здесь же он проводит часы своего раздумья, своей молитвы.

В доме — еще спальни Максимилиана Александровича и Марии Степановны и их зимняя столовая. Все эти комнаты в летние месяцы сплошь забиваются приезжими. Но только очень близкие живут в этих личных комнатах Волошиных.

Внизу музыкальная комната с роялем. Все стены в рисунках, шаржах, каррикатурах, текстах юмористических стихов. Хозяева дома, конечно, фигурируют во всех видах.

Второй дом не имеет в себе ничего индивидуального. Это место, где ночуют приехавшие гости. Днем в комнатах никто не сидит, а если и сидят, то в музыкальной, мастерской, столовой.

Радушно открыв двери своего дома, Максимилиан Александрович не может, конечно, обставить приезжих какими-то

удобствами. Ведь живут Волошины — без денег. Одно время, правда, Максимилиан Александрович получал пенсию. Выхлопотал ее ему и вообще покровительствовал ему в своё время нарком просвещения Луначарский. Откуда взялась эта симпатия — не знаю. Но пенсию эту Максимилиан Александрович получал только недолгое время. Да и может ли обеспечить кого-нибудь пенсия в СССР? В общем Волошины не имели ничего. Несколько раз устраивались выставки акварелей Максимилиана Александровича, иногда продавалась та или иная. Но всё это были гроши, о которых не стоит и говорить.

Как только начинался летний курортный сезон, примерно в конце апреля, к Волошиным приезжала О. Ф. — «Липочка», которая устраивала в маленьком домике кухню и давала всем приезжающим, по их желанию, пансион. За право пользования кухней, всем инвентарем, за комнаты, в которых жила она и ее помощницы, она кормила Волошиных. И так они были сыты с апреля по октябрь. А с октября по апрель они жили ничем. Мария Степановна лечила болгар из соседней деревни, и это давало им молоко, иногда пару яиц. Мы же — друзья, прожившие всё лето в гостеприимном Волошинском доме, и не заплатившие ни одной копейки за комнату, кто мог, слали какие-то посылочки, чем и поддерживали их. Но так как все слали не сговариваясь, то бывало так, что в ноябре Волошины питались преимущественно крабами-консервами, почему-то в изобилии наводнившими пустые лавки советской торговли, в декабре — салом, в январе — пшеном. А хлеба не было. Сушили летом сухари и ели их зимой. Помню я, как в день пятидесятилетия М. А. Волошина мы собрали деньги и на них купили ему материю для зимнего пальто, так как старое было уже вовсе неприемлемым, а шила ему это пальто дома тетя Саша — верный и многолетний друг Волошинского дома.

Максимилиан Александрович и Мария Степановна без отказа принимали людей в свой дом, уступая им даже свое место и, в случае крайней нужды, делили свой «паек» с лишним человеком. Каждый приезжающий старался устроить себе ложе, привозил два мешка, набивал их соломой, иногда пытался сколотить кровать, какой-нибудь стол, табуретку. Этот инвентарь оставался в доме и помогал следующим приезжим не ложиться прямо на пол.

Все жили, как одна большая семья, хотя здесь было полное смешение возрастов, интересов, профессий, вкусов. Приезжали отцы и матери с детьми — категория «дяди и тетки»;

приезжала молодежь — категория «нимфы и фавны»; и старая профессура Москвы, и незаконная дочь Горького, и гр. Ольга Константиновна Толстая — жена Андрея Львовича, я — педагог, постановщик балета в Камерном театре Москвы, и какая-то Любочка, и какая-то Леночка, петербургский психиатр, переводчик Рабиндранат Тагора, директор консерватории, дети первой жены Эренбурга без матери, МХАТовская молодежь, певица Зоя Лодий, мать с шестью детьми в такой нужде, что на младшего одежды не хватало, на нем были только сапожки, и он целый день бегал в них голышом... Не перечислить всех; но все были вместе, потому что все тянулись к Максимилиану Александровичу и через него становились близки друг другу.

***

Помню впечатления первого дня. После обеда и часа отдыха все сошлись в мастерской, где С. Д. — друг Максимилиана Александровича, ушедший из православия в католичество — читал одну из своих философских статей. Тема была мне чужда, новизна всей обстановки — отвлекала, но разговоры, обсуждение, возникшие потом, настолько захватили меня, что я, затаив дыхание, вся отдалась совершенно новой для меня области мысли. Говорили многие, но вел и направлял всех Максимилиан Александрович. В его словах была всегда какая-то большая, глубокая и волнующая правда.

Удар палки по висящему отрезку рельсы — вместо гонга — созвал нас к ужину. Так как мы только что приехали и у нас вообще не было средств, чтобы оплачивать пансион, то мы решили просто питаться молоком, хлебом и фруктами; но в первый день Волошины позвали нас разделить с ними принесенный им на двоих ужин. Стесняясь лишить их и так довольно скромного в условиях советского быта ужина, я отказалась итти. Но меня потащили просто насильно. Еще больше я была смущена, когда застала за столом еще двух гостей, тоже впервые попавших к Волошиным и тоже не устроившихся еще с питанием. Стояло 6 приборов и два маленьких судочка с принесенной едой. Максимилиан Александрович глубоко верил (и так часто говорил об этом), что «чем больше давать, тем больше прибудет». И это у него не было фразой. Это было глубокое убеждение, подтвержденное многими годами опыта. Вот и сейчас, не успели мы сесть за стол и начать делить две тарелки супа на шестерых, как принесли еще полную миску еды, пото-

му что кто-то, уходя в горы на два дня, просил отнести Волошиным свои порции.

Как часто после, когда я уже тесно вошла в круг Волошинской жизни, я волновалась, когда за совершенно пустой стол усаживалось несколько человек голодных гостей и Макс на мой тревожный взгляд мне неизменно говорил:

— Не может не быть, сейчас будет...

И действительно, как-то чудом вдруг на столе появлялась не просто еда, а то именно, что было нужно. Да, это было чудом, но разве самое существование Дома Волошиных — культурного, духовного центра для тысяч, места паломничества для стольких — в условиях советского режима с его НКВД, с его уничтожением всего духовного и культурного, стоящего вне советского понимания культуры — не было чудом?

После ужина был вечер в музыкальной комнате, были и молодежь-профессионалы, были и любители, одаренные несомненными талантами. Ставились шарады на злободневные, чисто коктебельские темы, все чемоданы приехавших, все кладовочки Волошинского дома были перерыты и все пестрые тряпочки извлечены из них, был вечер красок Вахтанговской Турандот, вечер талантливых импровизаций. Зрители сидели на скамьях, просто на полу, невмещавшиеся примащивались на скамьях возле окон, стояли на подоконниках.

Надо знать наши советские будни, нашу жизнь — борьбу за кусок хлеба, за целость последнего что сохранилось — и то у немногих — за целость семейного очага; надо знать эти ночи ожидания приезда НКВД с очередным арестом, или ночи, когда после тяжелого дня работы приходишь в полунатопленную комнату, снимаешь единственную пару промокшей насквозь обуви, сушишь ее у печки, стираешь, готовишь обед на завтра, латаешь бесконечные дыры, и всё это в состоянии приниженности, в заглушении естественного зова к нормальной жизни, нормальным радостям, чтобы понять каким контрастом сразу ударил меня Коктебель и Максимилиан Александрович с той его человечностью, которую он пробуждал в каждом уже давно сжавшемся в комок человеческом сердце, с той настоящей вселенской любовью, которая в нем была.

Однажды при мне один из мальчиков, бывших на берегу моря, прибежал с криком за Максимилианом Александровичем: море выбросило тело 16-18-летнего юноши. Вскоре его опознали. Он был сыном семьи, имя которой очень известно в Крыму. В 1919 г. на его глазах расстреляли его отца и стар-

шего брата. От нервного потрясения у него были припадки эпилепсии. Сейчас этот мальчик ходил по домам болгарских и татарских крестьян и помогал то пилить дрова, то собирать виноград, кормился сам, а жалкие заработанные гроши отсылал матери. Припадок эпилепсии случился с ним, очевидно, в воде, и он захлебнулся в двух шагах от берега. Нужно было куда-нибудь перенести тело до приезда матери. Некому было помочь. Максимилиан Александрович и Мария Степановна позвали меня. Мы вместе перенесли тело на недостроенную дачу, стоящую в стороне от дороги. Волошины остались на всю ночь возле тела, и я с ними. Принесли простой гроб, уложили покойного, Мария Степановна пошла в горы за цветами, убрала весь гроб ими, положили крестик на грудь. Сколько раз за ночь они подходили к несчастному, хлебнувшему за короткий век свой столько мук мальчику, как ласкали его холодное лицо, как убирали непокорную прядь волос со лба. Как просто провели они всю ночь и весь следующий день до приезда матери, всё время не то в молитве, не то в каком-то созерцании. Он не был для них чужим, незнакомым, он был для них Человеком, рано вырванным из жизни, закончившим свой жизненный путь.

Я приехала тогда после первой смерти в моей личной жизни. Я не могла своими силами справиться с потерей, не могла найти в себе силы, чтобы вернуться к утверждению жизни. И Максимилиан Александрович в эту ночь дал мне то, что мне было нужно. Он утверждал жизнь, он звал к ней. Он принимал ее со всем, что она давала. Любил ее. Смерть для него «конец пути». Он звал чувствовать «каждое мгновенье последним в жизни»

.....И пусть
Вечерне-радостная грусть
Обнимет нас своим запястьем.
Смотреть, как тают без следа
Остатки грез, и никогда
Не расставаться с грустным счастьем.
И подойдя к концу пути
Вздохнуть, и радостно уйти.

На следуюший день приехала мать. Какая это была по счету смерть в ее семье после революции? Максимилиан Александрович увел ее к себе и долго, несколько часов говорил с ней. Когда она затем села на линейку и, обняв рукой гроб, повезла его на кладбище, я видела ее лицо. В нем был свет, а не скорбь.

Максимилиан Александрович сумел ей сказать слова, которые удержали ее в жизни, примирили с ней.

С этой ночи Максимилиан Александрович и Мария Степановна стали для меня Максом и Марусей, с этого дня я переехала в большой дом, ближе к ним, и получила то, что помогло мне не задохнуться в глухой подсоветской России, не умереть духовно и что продолжает питать меня может быть и поныне.

***

Что больше всего в Максе поражало и волновало, это его умение в каждом человеке найти что-то человеческое, уменье раскопать это часто из-под спуда и преподнести людям, окружавшим его, в таком свете, что каждый заражался любованием Макса этим человеком. Надо «уметь смотреть». И Макс умел.

Вот скользила неслышно между нами серенькая Анчутка. Одно уже имя давало право на какое-то поспешное отмахивание от нее. Ну, стоит ли терять время на какую-то Анчутку, когда Коктебель полон именами, которыми может гордиться вся Россия? А вот как-то после чтения Макс подозвал к себе эту самую Анчутку и спросил нас, знаем ли мы, почему ее так зовут? И оказалось, что Анчутка это — Анна Чуткая. И это незаметное существо — человек по своему героический. Она отказалась от личной жизни, так как на руках у нее туберкулезная сестра, которую она содержит на юге, в санатории. Всё, что она зарабатывает, всё посылается сестре, чтобы спасти ее. А заработки советской учительницы мизерны, помочь могут мало чем. И вот Анчутка до глубокой ночи мережит платья и эти добавочные средства посылает сестре же.

И Макс взял бережно Анчутку на свою ладонь и показал нам ее в таком свете, в такой глубокой человечности, что она стала сразу яркой и близкой нам, и все мы наперебой стали у нее брать платья и помогать ей мережить, и все ходили покрытые вытянутыми для мережки голубыми и розовыми нитками, которые были как бы нитями, тянувшимися от одного человеческого существа к другому.

А вот в Коктебель приезжает какой-то полусумасшедший скрипач, который начинает с того, что мучительно не может принять той ласки и тепла, которое полилось к нему от Макса и Маруси. Ему легче и естественнее в обстановке душевной настороженности, привычной враждебности, в которой приходится быть нам всем. Не было того оскорбления, которое он не бросал бы Максу, а затем убегал в горы. И Макс глубокой

ночью, один, до рассвета блуждает по тропинкам гор, окружающим Коктебель, и только на рассвете находит скрипача и приводит его обратно и утром опять так «подает» его нам, что каждый поворачивается к нему, каждый находит что сказать, и пригревает человека, который, право же, не виноват в том, что жизнь его изуродовала.

А в это время внимательные глаза Макса уже пристально вглядываются в другого человека, ждущего помощи. В доме гостит г-жа Финкельштейн, мать, потерявшая недавно 12-летнюю дочь. Она не может справиться со своим горем и для нее один выход — уйти из жизни. Много вечеров говорит с ней Макс и, наконец, находит для нее выход. Она должна написать книгу о своей дочери, которая, очевидно, была выдающимся ребенком, и запечатлев ее образ в книге, не дать ей таким образом умереть. И г-жа Финкельштейн уезжает полная творческого порыва, издает небольшую книгу-биографию дочери и перестает ощущать, что дочери нет. Она рядом, в книге, она в умах и сердцах других людей. И нет у матери слов, чтобы благодарить Макса за то, что он указал ей путь.

Но Макс уже нужен в другом месте. Приехала С., вдова Есенина, почти что сразу после его похорон. Смерть его была для нее страшным ударом. В Петрограде, куда она приехала по телеграфному вызову, она сама приводила в порядок страшное, вынутое из петли лицо Есенина. После этого ночи напролет его лицо ей мерещилось. Вечером, пока жизнь не замирала в доме, С. еще кое-как справлялась со своим горем, но, когда наступала тишина, нервы не выдерживали. Она не могла оставаться с пережитым, и я была свидетелем того, как Макс и Маруся каждый день, без исключения, в течение двух-трех недель пребывания С. в Коктебеле сидели с ней, пока свет не начинал брезжить, и говорили, успокаивали, пригревали. А когда начинало светать, С. засыпала, а усталые Макс и Маруся уходили к себе, ложась на короткий отдых — час-два не более, так как с 5 утра жизнь в доме уже начиналась, просыпались первые ранние купальщики, уплывавшие часто на час и более в море, и Максу надо было в большой бинокль, волнуясь, следить за тем, чтобы чего не случилось; приезжала бочка с водой — в Коктебеле не было водопровода и воду возили бочками за 2 километра из источника; и просто начиналась обычная дневная жизнь, со всем ее шумом и пестротой. Макс же любил вставать первым и до начала жизни дома провести некоторое время в уединении, созерцании, сосредоточении.

Макс умел найти доступ к человеческому сердцу даже тогда, когда это казалось нам совершенно невозможным. Помню, однажды в мастерскую к нему ввалилась компания комсомольцев, человек двадцать. Веселая, здоровая молодежь. Кто им рассказал о Волошине, и что им рассказали? Но какой-то интерес привел их сюда. Просили Макса что-нибудь прочитать. Он прочитал совершенно неподходящее для такой аудитории, как нам казалось, легкое, прелестное стихотворение о Коктебеле. Воцарилось неловкое молчание. Наконец один из комсомольцев небрежно сказал:

— Довольно художественно.

(Фраза эта потом была очень ходкой в Коктебеле).

Макс стал им что-то показывать, но я не осталась, ушла. Пришло время ужина, а Макса всё не было. Меня послали за ним. Я застала его в оживленной беседе с комсомольцами. Когда Макс при прощании протянул одному комсомольцу руку, тот нагнулся и поцеловал ее. Не знаю, о чем Макс беседовал с ними, какие струны задел в душе этого юного существа, скрученного партийной пропагандой, без Бога, без веры, без пиетета в отношении старших, без уважения ко всему, на чем не было штампа «дорогого отца народов»?

Я не могу говорить о Максе-мыслителе, Максе-антропософе, Максе-поэте. Я могу говорить только о том, как я и многие сотни других рядовых обывателей воспринимали Макса, Коктебель и весь строй этого особенного, неповторимого Дома.

***

Утро начиналось с чая на длинном открытом балконе-галлерее, где стояли в один ряд длинные столы. Уютно шумел огромный самовар, жители дома постепенно сходились, каждый стараясь попасть к столу тогда, когда выходили Макс и Маруся. Кто-нибудь уже успевал сбегать в деревню, в булочную, и принести сдобную булочку или просто кусок белого хлеба — тоже редкость в меню советского обывателя, и положить ее перед прибором Макса. Макс и Маруся, всегда вместе, спускаются к столу и Макс сразу видит приготовленное для него «лакомство». С чисто детской радостью прямо набрасывается на булочку, но тут уж предстоит бой с Марусей, которая понимает, чем грозит Максу его тучность и энергично борется со всеми «друзьями», своим баловством только вредившими Максу. Не всегда удавалось Максу съесть принесенную булочку,

часто Маруся отнимала ее и прятала. И он так искренне огорчался, как ребенок шел на всякие уступки, лишь бы ее получить, обещая уменьшить порцию за обедом и т. д. Эта детскость, наряду со всем тем огромным, что было в Максе, составляла его очарование и приближала его к нам.

После чая кто-нибудь из живущих в доме приносил с почты корреспонденцию. Макс получал каждый день десятки писем со всех концов России. Если писем было много, то уходил к себе в мастерскую и садился рисовать свои акварели, которые никогда не рисовал с натуры, а по памяти. А кто-нибудь из близких, чаще всего сама Маруся, садился читать ему все письма. Чтение их брало иногда до 2 часов. Если не было большой почты, то Макс просил читать ему вслух книги, пока он рисует. Одно лето я читала ему вслух М. Пруста, второе лето — Анри де Ренье.

Иногда же Макс уходил писать. При мне в 1927-30 гг. он работал над монографией о художнике Сурикове, которую я перепечатывала для него на плохенькой дребезжащей пишущей машинке. В годы 1922-26, а может быть и позже писал свою большую вещь «Путями Каина», с главами: «Меч», «Порох», «Пар», где говорил о государстве и цивилизации, как о Молохе, поглотившем всё человеческое.

«Пар сократил пространства,
Сузил землю,
Вытянул пейзаж
В однообразную раскрашенную ленту
Холмов, полей, деревьев и домов,
Бегущих между проволок;
Замкнул просторы путнику,
Лишил ступни
Горячей ощупи неведомой дороги,
Глаз — радости открытья новых далей,
Ладони — посоха и ноздри — ветра.
Свист, грохот, лязг, движенье
Заглушили
Живую человеческую речь,
Немыслимыми сделали молитву,
Беседу, размышленье
Превратили
Царя вселенной — в смазчика колес».

(Глава «Пар». Путями Каина)

Вся жизнь Макса в Коктебеле — вдали от «пара» и была зовом к жизни: «в молитве, беседе, размышлении». И все наши иногда двухдневные и трехдневные походы с Максом пешком за 30-40 клм. (например, в Голубые Горы) давали нам радость «ощупи неведомой дороги».

Последнее, что написал Макс, — это его стихотворение «Дом Поэта»*), в котором писал о себе, о Коктебеле и звал всех под гостеприимные своды своего дома. Грустно было сознавать, что Макс в последние годы почти ничего не писал. Было ли тому причиной, что Макса не могли, конечно, печатать в СССР? Он сам говорил:

Мои уста замкнуты. Пусть:
Почетней быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.

И действительно, каждый коктебельчанин просил у Макса то или иное его стихотворение, и переписывал для себя, унося его в свою холодную, пустую жизнь. Я помню, у меня были даже дважды перепечатанные тетрадочки с его стихами, но дважды я всё палила, ожидая ареста и боясь его подвести.

В последние годы жизни Макс всё больше проводил времени за рисованием акварелей. Но в рисовании их у него уже не было прежнего мастерства. Традицией дома было, что Макс каждому более или менее близкому при его отъезде из Коктебеля давал на память какую-либо акварель, а иногда и несколько. Для нас эти акварели были прямо какой-то реликвией; на стенах наших неуютных, холодных городских комнат висели застекленные и окантованные кусочки Коктебеля и всегда были для нас протянутой Максом рукой помощи, говорившей: «не унывай».

Так как желающих получить акварели были сотни, то Максу приходилось много работать, чтобы удовлетворить каждого. Поэтому у него даже появилась, увы, ремесленная серийность в рисовании их. Лист бумаги, прикрепленный к куску фанеры, он делил на 12 или большее число квадратиков по 4 или 6 в длину, и сразу проводил линию горизонта на всех рисунках, сразу работал над небом во всех акварелях в длину, не повторяя одного и того же пейзажа, а может быть просто продолжая его, используя для данного ряда одни тона, краски и т. д. На-

*) См. Нов. Журн. кн. 35.

ряду с этими маленькими акварелями, он работал и над большими, которые посылал на выставку, в Феодосийский музей и др.

Перед обедом Макс обыкновенно купался в море, а после обеда шел к себе отдыхать. В эти самые жаркие часы дня никто ничего не делал, все отдыхали. Это были те часы, о которых так хорошо сказал Всеволод Рождественский:

«Я камешком лежу в ладонях Коктебеля,
И вот идет она горячая неделя...»

Часам к пяти все собирались в мастерскую и начинались бесконечные беседы. Чаще всего кто-либо из приезжих гостей читал свои произведения. Были тут — философские статьи, переводы, стихи, проза, киносценарии. Доктор Л. — ярый последователь Фрейда, рассказывал о своей работе в области психоанализа, директор консерватории — о своей поездке в Палестину, иллюстрируя свой рассказ сложенными им песнями. Но большинство тем были литературные. Никогда не затрагивалась сегодняшняя жизнь в СССР. Все, как будто сговорившись, навсегда изъяли эту тему из разговоров. Так хорошо было отдохнуть от этого. Да и самозащита, а главное желание охранить Макса от неприятностей. После докладов и чтений — самая интересная часть — дискуссия. Ведущую роль брал Макс, и куда только не заносила его мысль.

Если не было докладчика из приезжих, или когда приезжала новая большая партия гостей, мы просили Макса читать свои стихи.

Читал Макс охотно и много. Часто читал свою лирику, последние вещи: «Путями Каина» и всегда «Дом Поэта». Стихов о революции я почти не слышала. Но много говорил о страдании, которое выпало на долю русскому народу и об очищении страданием не только каждого человека в отдельности, а и всего русского народа в целом. Вспоминал страшную историю России. Читал свое большое стихотворение «Россия».

Часто вечера проходили в музыкальной комнате в подготовке к какому-нибудь спектаклю. В 1928 году ко дню пятидесятилетия Макса была написана очень удачная коктебельская оперетка, где действующие лица — куклы — представляли собой население дома, начиная от собак (которых была целая свора, так как Макс и Маруся не могли уничтожить хотя бы одного щенка) — и кончая самим Максом и Марусей.

День рождения Макса праздновался всегда очень широко.

Уже за несколько недель до этого начинались приготовления. Все кто знают скудость жизни в СССР и мизерность наших средств, понимают, что организовать это было не просто. Но всё-таки где-то доставали масло, яйца, пекли, жарили. Готовили подарки, сообща и каждый в отдельности. Макс с раннего утра ходил «поздравляться» по комнатам. Входил, и с радостной детской улыбкой говорил:

— А сегодня день моего рождения.

Дарили ему: хорошую грушу, кисть хорошего винограда, новую кисть для рисования. Всё это он принимал, как ценный дар и сейчас же шел к Марусе показать, поделиться. К обеду, который накрывался в этот день просто в саду, чтобы вместить всех одновременно, съезжались гости и сходились все обитатели дома. Большинство истых коктебельчан старались всегда приурочить свой приезд к этому дню — 18-го августа. Обед был шумный, веселый, с большим количеством тостов, карикатур, сложенных к случаю стихов, баллад, с пением и т. д.

«От жизненных тревог
Себя укрыв,
Прозрачен и глубок
Лежит залив.
И ослепительный закат
Таким был золотом объят,
Что забываешь векселя и Госиздат...

И отряхнувши прах
Уж много лет,
На берегах его
Живет поэт.
И тучен будучи, притом,
«Путями Каина» ведом
Вегетарьянствует порою за столом».

.....

«О Дом Поэта,
И ты, поэт!
Прими привет наш
На много лет.
Пусть ваша слава процветает в мире так
Чтоб позавидовать ей мог бы Карадаг.
Пусть все созданья,
Что нынче тут,

Вам пожеланья
Свои несут.
И человек, и зверь, и птица, и дельфин
Без разделения на женщин и мужчин...».

— писала Вера Инбер.

Иногда по вечерам в музыкальной комнате — шарады, смех, шутки.

А потом приходила ночь. Какие это были ночи! Небо темное, звезды яркие, море тихо набегает на песок, совсем рядом. На полу вышки расстилается какое-то подобие ковра, выносятся подушки, и все мы укладываемся рядком, а Макс и Маруся сидят на лавочке вышки, и долго, часто до самого рассвета тянется беседа. Чего только Макс не расскажет, о чем не вспомнит. А потом — голоса постепенно смолкают, засыпает один, другой, укладываются Макс и Маруся где-то на коврике рядом. Макс просит Марусю спеть что-нибудь, и маленьким, надтреснутым, хрипловатым голоском Маруся полупоет, полуговорит Максино же стихотворение с убаюкивающей, ею же сложенной мелодией:

Небо в тонких узорах
Хочет день превозмочь.
А в душе и в озерах
Опрокинулась ночь.

Что-то хочется крикнуть
В эту черную пасть.
Тонким ухом приникнуть,
Чутким сердцем припасть.

Иногда же на вышке вспыхивало такое веселье, что никому не уснуть. И коронный номер такой импровизированной программы:

— Макс, потанцуй, как медведь.

Макс встает, тучный, массивный, бородатый, и сам что-то очень фальшиво напевая, неуклюже топчется на месте под общий дружный смех.

**
*

Как известно, частная собственность в СССР облагается колоссальным налогом для того, чтобы поставить собственника перед необходимостью отказаться от этой собственности.

Но налоги на дома исчисляются по доходам. Дом Макса доходов не приносил, все жили бесплатно. Но ни милиция, ни фининспектор этому поверить, конечно, не могли, и раза три-четыре за лето, вдруг в разгар нашего веселья или захватывающей беседы, появлялись эти мрачные фигуры, ловили всех живущих, допрашивали каждого в отдельности, сколько он платит за комнату, старались поймать, сбивая вопросами, требовали книгу доходов и расходов и грозили описью дома.

Маруся, более резкая, в этих случаях только старалась увести Макса дальше, а Макс впадал в полное бешенство. Он топал ногами, кричал, и всё искал поддержки в Марусе:

— Маруся, ты слышишь, они оскорбляют меня, они не верят моим словам! Они говорят, что я говорю неправду...

Мы старались обратить всё это в шутку, подписывали коллективные заявления, посылали в финансовые органы письма, объясняющие, что мы не платим, но неизбежно через две-три недели появлялся новый фининспектор и новая гроза надвигалась на дом. Чтобы избежать этих визитов и грубых окриков милиционеров за не во время вывезенный мусор, или за протекающую крышу, дом (не помню точно в каком году) был отдан Союзу Писателей и как бы превращен в Дом Отдыха Союза Писателей, а личные комнаты Макса были сделаны как бы музеем, который два-три раза в неделю был открыт в определенные часы, когда заходили заезжие курортники.

Уезжали мы от Макса обыкновенно партиями. Сообща нанималась линейка или иногда даже грузовик. В последний раз обняв Макса и Марусю, мы усаживаемся. Все остающиеся выходят провожать. Пожатие рук, линейка трогается. Маруся начинает петь прощальную коктебельскую песню, подхватываемую всеми:

В гавани, в далекой гавани,
Маяки огни зажгли,
В гавани, в далекой гавани,
Каждый вечер корабли.

В гавани, в далекой гавани,
Раздается то и знай: —
Кто уходит нынче в плаванье,
Через год встречай!

Когда я слышала эту песню в 1931 году я не думала, что больше не увижу Макса. 11-го августа 1932 года Макс от нас

ушел. Моя приятельница, которая ввезла меня в Коктебель, была при его смерти до самой последней минуты. Макс страдал удушьями. В последний год жизни удушья становились всё чаще. Началось с простуды, с глубокого бронхита. Макс очень страдал. Но был невероятно кроток. Знал, что умирает. Когда удушье отпускало, просил ему читать. Не лежал, а больше сидел в кресле, так дышалось легче. Маруся не отходила от него. Похоронили его на высоком холме — километра полтора-два от дома. Он просил там его похоронить.

Л. Дадина

**
*

Это совсем не так, это гораздо проще:
Прожил семьдесят лет и вот лежишь на погосте.
И то что было в чудесной жизни —
Наполовину фантазия.
Расплескалась чаша с вином —
Наполовину с отравою.
Прожил семьдесят лет
И вот тебя нет.
А то что цветы на украшенной грядке,
И над цветами еще мотыльки,
Над мотыльками атласное небо:
Это Платоновский мир, но в обратном порядке.

Юрий Одарченко

С. В. КОВАЛЕВСКАЯ И М. М. КОВАЛЕВСКИЙ

В судьбе Софьи Ковалевской, замечательной русской женщины, первой математички своего времени, конфликт между творчеством и личным счастьем сказался с особенной драматической силой. Одарив ее исключительными способностями, умом, силой воли, выделив ее из миллионов женщин, наградив признанием и славой, судьба отказала ей в счастье.

Неизданные доныне письма М. М. Ковалевского[1], из которых мы приводим здесь отрывки, впервые освещают драму этой женщины, только в самом конце своей короткой и блестящей жизни узнавшей любовь.

С 1883 г. Софья Васильевна Ковалевская жила в Стокгольме, где ей была предложена кафедра высшей математики в незадолго до того основанном университете. Первая женщина-профессор, она пользовалась уже в Европе немалой известностью. Самый приезд ее в Швецию вызвал некоторую сенсацию. Вот как писала о ней местная газета: «Сегодня нам предстоит сообщить не о приезде какого-нибудь принца крови или тому подобного высокого, но ничем не замечательного лица; нет, принцесса науки, г-жа Ковалевская, почтила наш город своим посещением и будет первым приват-доцентом женщиной во всей Швеции».

Стокгольмское общество встретило ее вначале недоверчиво. Газетная реклама, организованная ее друзьями, не расположила в ее пользу. Консерваторы и анти-феминисты, которых было немало особенно среди профессоров старого упсальского университета, были недовольны появлением в их

---

[1] Эти письма хранятся у наследников М. М. Ковалевского. Пользуюсь случаем, чтобы принести искреннюю благодарность проф. П. Е. Ковалевскому, предоставившему их мне для ознакомления и использования.

среде женщины, к тому-же русской, заранее заподозренной в нигилизме.

Через несколько дней после приезда Ковалевской, математик Миттаг-Лёффлер, ее верный друг, устроил в ее честь большой прием. Ее появления ждали с нетерпением и не без враждебного любопытства. Миттаг-Лёффлер вздумал рассказать всем знакомым, что Ковалевская — русская аристократка, воспитанная в роскоши, путешествующая всегда с компаньонкой и каммерфрау. Ждали надменную русскую даму: появилась маленькая, худенькая женщина в белом платье. Темная голова, огромные, блестящие, чуть косившие от смущения глаза, необыкновенно подвижное лицо, смесь детской застенчивости и энергии, — всё это удивило и понравилось своей неожиданностью.

Прошло несколько лет. За это время Софья Васильевна успела создать себе в Швеции настоящую популярность. Студенты и коллеги-профессора ее полюбили; заглаза ее ласково называли «профессор Соня»; у нее появился кружок преданных друзей. Ее приглашали всюду — и на семейные праздники и на придворные балы. «Вы бы смеялись, если бы видели меня за письмом: дело в том, что я сижу в белом платье, с цветами и золотой бабочкой в волосах: через час я должна ехать на большой бал к норвежскому министру; там будет король и все принцы», — писала она 18-го мая 1886 года. Когда С. В. бывала в духе, в возбужденном состоянии, она невольно становилась центром любого общества. «Она была поразительно остроумна, саркастические нападки, самые смелые парадоксы сыпались один за другим, и тот, кто не отличался особенной находчивостью, лучше делал, если молчал в таких случаях, так как она не давала своим собеседникам много времени на возражения» (Воспоминания Анны-Шарлотты Лёффлер).

Научная ее карьера протекала очень удачно: уже после первого года преподавания она была утверждена ординарным профессором. Ее математические работы печатались в специальных изданиях; она находила время и для литературных опытов. Самые разнообразные интересы наполняли ее жизнь.

И всё-же Софья Васильевна не была счастлива. Причин тому было много. Независимая по природе, она трудно мирилась с внешними обязательствами — и знала, что в Стокгольме, хочет она того или нет, ей придется прожить еще долго: других средств к существованию, кроме жалованья, у нее не было. Между тем Швеция, так тепло ее принявшая, быстро ей

надоела. Ее темперамент и воображение требовали непрестанно новых впечатлений; Швеция их дать не могла. Этой стране, говорила она, как поэмам Рунеберга, недостает дьявола. Всё здесь было благополучно и начисто вымыто — улицы, умы и сердца; жизнь была так хорошо организована, так спокойна, так гигиенична, что можно было умереть с тоски. Софья Васильевна чувствовала, что своей русской беспорядочностью и фантазией она нарушает общую гармонию, что за ней наблюдают, ее судят — и это ей было тяжело.

Она тосковала по России — но в России для нее не было места. Ей представлялось теперь, что несмотря на самодержавие, нигде не жилось так широко и вольно, как на родине. Она чувствовала себя изгнанницей; русских друзей у в Стокгольме не было; необходимость всегда говорить на чужом, еще плохо освоенном языке была мучительна. «Мне кажется, что здесь держат взаперти мои лучшие мысли. Вы можете себе представить, как тяжело говорить на чужом это всё равно, как если бы вас заставили целый день маску на лице». Как только наступали каникулы, она — то в Россию, то в Германию или Францию — и каждый раз повторяла при этом, к огорчению своих шведских друзей: «Самая прекрасная железная дорога в мире — та, что ведет из Стокгольма в Мальмё; самая некрасивая, самая утомительная, самая скучная — дорога из Мальмё в Стокгольм».

Были и другие причины, более глубокого свойства, заставлявшие ее остро чувствовать свое одиночество. В 1887 году ей было 37 лет, но она и считала и называла себя «пожилой женщиной». Правда, ее недолгая жизнь была так богата событиями, что их хватило бы на несколько. Ее научный дар проявился очень рано и развивался беспрепятственно: еще в детстве, без учебника, собственными усилиями, она «открыла» заново некоторые принципы тригонометрии. Впоследствии гейдельбергский университет присудил ей титул доктора — без устного экзамена, на основании одних ее работ. Кафедру в Швеции она получила по рекомендации ученых, без всяких хлопот и усилий. Научная жизнь складывалась блестяще; но личная жизнь не удалась.

Восемнадцати лет она вышла замуж фиктивно — чтобы освободиться от родительского ига и уехать учиться заграницу, как это было принято у передовых шестидесятниц — за естественника, впоследствии выдающегося палеонтолога, Владимира Ковалевского. Только пять лет спустя, в 1873 году,

фиктивный брак превратился в настоящий; но если Ковалевский с первой же встречи страстно влюбился в свою невесту, то она его никогда не «любила любовью», как говорят французы; к мужу она испытывала дружбу, доверие, признательность — и только. Брак этот кончился разрывом: весною 1881 года С. В. уехала из Москвы в Берлин продолжать научную работу под руководством своего учителя, проф. Вейерштрасса.

Два года спустя Владимир Ковалевский покончил с собою в Москве. Причиной самоубийства были запутанные дела — он увлекся спекуляциями и стал жертвой аферистов — одиночество, безвыходность. Доля ответственности в гибели мужа падала несомненно и на Софью Васильевну: она покинула его в тяжелую для него пору. Да и в дела он пустился с ее согласия и с единственной целью: создать жене и дочери беззаботную жизнь.

Ни в письмах, ни в кратких записях дневника она о нем никогда не упоминает; но более чем вероятно, что для такой натуры, как она, память о муже у нее связывалась с вечным укором.

Одиночество, которое ей было необходимо, как всякому человеку творческого склада, в то же время и тяготило ее. Еще 18-летней девочкой, фиктивной женой Владимира Ковалевского, она писала сестре: «Только мне трудно жить одной; мне непременно надо иметь кого-нибудь, чтобы каждый день любить». Но любить было некого, да она и неспособна была отдаться непосредственному чувству: ее увлечения никогда не заходили далеко. «В те минуты, когда я именно хотела, собиралась совершить безумную выходку, я сама замечала, что хотела только сыграть *роль* сумасброда и больше ничего. Я чувствую себя собой только в роли прозаической и рассудительной, — скажи, кто может любить такое создание?»

В сущности, в 37 лет она еще не знала любви; женщина в ней еще не просыпалась. Цитируемое письмо относится к середине 1886 г. Очень скоро в жизни Софьи Ковалевской наступил перелом.

Зимой 1887 г. в Стокгольме образовался комитет для создания Института Общественных Наук. Так как в Швеции специалистов-социологов оказалось немного, решено было пригласить ученых из-заграницы. Софья Васильевна, как человек общественный и энергичный, была привлечена к этому новому начинанию. Ее спросили, не знает ли она социологов в России? Она немедленно указала на однофамильца своего мужа, М. М.

Ковалевского, который в Московском Университете был широко известен как выдающийся ученый и лектор.

За несколько месяцев до того Максим Ковалевский был отставлен правительством за «либерализм» от кафедры государственного права. Он жил в своем имении под Харьковом, скучал без любимого дела и собирался уехать надолго заграницу. Приглашение Стокгольмского комитета его обрадовало хотя бы уже тем, что давало повод ускорить отъезд. С Софьей Васильевной он был немного знаком: ему случалось встречаться с ней в Париже, в начале 80-х годов. В Париже — вспоминал он впоследствии — она произвела на него впечатление женщины очень нервной, нервной до истеричности. Максим Максимович побаивался истерических женщин.

1-го февраля он приехал в Стокгольм и тут же послал Ковалевской официальное письмо:

Стокгольм,

Многоуважаемая Софья *Владимировна*

Я сдержал свое слово и приехал даже днем раньше против обещанного. Когда я могу явиться к Вам, как к одному из членов комитета за получением инструкций? Будьте так добры, черкните о том словечко.

С истинным уважением
М. Ковалевский.

Ее ответная записка звучит гораздо теплее и сердечнее:

Многоуважаемый Максим Максимович,

Как жаль, что у нас на русском языке нет слова välkommen[2], которое мне так хочется сказать Вам. Я очень рада Вашему приезду и надеюсь, что Вы посетите меня немедленно. До 3 часов я буду дома. Вечером у меня сегодня именно соберутся несколько человек знакомых и надеюсь, что Вы придете тоже.

Искренно уважающая Вас
Софья Ковалевская[3]

Он пришел к ней вечером и застал в ее маленькой красной гостиной интересное общество: тут был Брантинг, будущий

---

[2] Добро пожаловать.

[3] Письма С. В. к Ковалевскому, кроме двух, случайно уцелевших, повидимому, потеряны безвозвратно во время революции. После смерти М. М. они хранились в Петербурге на квартире его племянника, Е. П. Ковалевского.

лидер социалистической партии, Эллен Кей, тогда еще начинающая писательница, профессора математики Лёффлер и Гюльден, путешественник Норденшильд. Хозяйку, ту маленькую женщину, которая когда-то напугала его своей истеричностью, он нашел похорошевшей, оживленной и естественной. «Двух посещений достаточно было, чтобы убедиться, какую роль С. В. играла в профессорских и литературных кругах шведской столицы. Ее славословили, ею восхищались и гордились... Но достаточно было нескольких встреч, чтобы убедиться, как одиноко эта женщина чувствовала себя на чужбине, как всё русское было близко ее сердцу», писал М. М.

Сближение их пошло быстрыми шагами. Ему способствовал трагикомический случай с М. М.: большого роста, широкий и грузный, он поскользнулся на льду через несколько дней после приезда и вывихнул себе ногу. По тону его записки видно, что от официальности в их отношениях не осталось и следа.

Февраль 1888, Grand Hôtel

Дорогая Софья Васильевна,

Участие, которое Вы оказали мне сегодня, побуждает меня сообщить Вам радостное для меня известие: я не подагрик, я просто напросто неуклюжий человек, вывихнувший себе ногу. Массажист сделал свое дело: мучил меня пол-часа. Я стонал, но не плакал. В результате значительное облегчение. Доктор обещает, что завтра к вечеру я буду на ногах.

Искренно Вам признательный
бедный больной.

А на другой день он ей пишет:

Дорогая Софья Васильевна,

По моему, если уже нарушать своды, то до конца. Если Вы свободны, то приезжайте позавтракать со мной, а если Вам делать нечего, то захватите Вашу повесть.

Преданный Вам
М. К.

В 6 часов будет массажист.

Ах, как больно!

Они встречались ежедневно, проводили вдвоем все свободные часы, много говорили. Сближало их, конечно, и их «островное положение»: они были единственными русскими в шведском обществе. М. М. нашел в Ковалевской собеседницу обладавшую исключительно разносторонним и живым умом и

очень ею заинтересовался. Что касается Софьи Васильевны, то тут сомнений быть не может: она влюбилась в первый раз в жизни, и влюбилась безоглядно, позабыв о своей обычной рассудительности. А между тем ей нельзя было терять времени на русские разговоры по душам: она должна была спешно работать над задачей для конкурса, объявленного Парижской Академией Наук на тему: «По поводу вращения твердого тела вокруг неподвижной точки». Ее друг, проф. Лёффлер, уговорил Ковалевского уехать на неделю, чтобы не мешать «Сониной работе». На другой день после его отъезда она пишет своей подруге А. Лёффлер:

«Вчерашний день был вообще тяжелый для меня, потому что вчера вечером уехал М... В целом перемена очень счастливая, потому что если бы М. остался здесь, я не знаю право, удалось ли бы мне закончить свою работу. Он такой большой, такой grossgeschlagen... и занимает так ужасно много места не только на диване, но и в мыслях других, что мне было бы положительно невозможно в его присутствии думать ни о чем другом, кроме него. Хотя мы всё время его десятидневного пребывания в Стокгольме были постоянно вместе, большею частью с глаза на глаз, и не говорили ни о чем другом, как только о себе, притом с такой искренностью и сердечностью, какую тебе трудно даже себе представить, я еще не в состоянии анализировать своих чувств к нему...

В довершение всего — он настоящий русский с головы до ног. Верно и то, что у него в мизинце больше ума и оригинальности, чем у супругов Х. вместе взятых, даже если бы их положить под гидравлический пресс».

Когда через неделю М. М. вернулся в Стокгольм, конспект работы был закончен и отослан в Париж. Но он не узнал своей приятельницы, так она осунулась и побледнела за эти дни интенсивной работы. Тут в первый раз научное творчество встало между ней и тем, кого она полюбила.

В начале марта Ковалевский был уже в Париже. Между ними завязалась переписка; но он пишет ей, как писал бы другу-мужчине — о политической обстановке во Франции, о русских эмигрантах. Всё, что интересует его, находит в ней отклик.

Париж, 8 марта 1888 г. Grand Hôtel du Louvre.

...Что сказать Вам о россиянах парижских? Хорошие лишние люди вроде меня. Вся разница в том, что им как-то менее бросается в глаза, что они лишние. Жизнь их заполняют бури в стакане воды

вроде пояснительных заметок Тихомирова[4] к новому изданию его книги о России.

В этих заметках значится, что террор не всегда хорош. Лавров видит политическое ренегатство, стонет и охает. В ближайшем будущем предвидится взаимное истребление, на бумаге, конечно. В общем, c'est écoeurant. Вырубов[5], другой россиянин, подававший надежды, перешел во французское подданство и издает учебник по кристаллографии.

...А рубль свелся уже на практике к 50 коп.

Alliance franco-russe существует в воображении одних boulevardiers. Всё, что есть сколько-нибудь серьезного, видит, что с нами каши не сваришь, так как у нас нет определенной физиономии, мы сегодня французофилы, завтра французофобы, смотря по тому, как будет приказано свыше. А между тем, Вильгельм[6] умер, его сын умрет не сегодня-завтра, а внук начнет войну — и доброго русского мужичка за его ленивую глупость и желание жить спустя рукава искрошат. Как видите, Ваш легкомысленный однофамилец предается серьезным грустным мыслям, но так как от них никакого прока, то через неделю он уедет в Лондон.

Преданный Вам

М. К.

Но еще две недели спустя он из Парижа шлет ей другое длинное письмо:

23 марта 1888. Grand Hôtel du Louvre.

...О своем житье-бытье в Париже скажу Вам, что к соотечественникам присоединилось в последнее время новое зло в виде молодых французов, ищущих «valuable information» и дающих за это завтраки и обеды. Русское в моде, и многим хотелось бы в своих книжках и статьях глухо дать понять читателю, что оно им не безизвестно. Так как молодые французы, в отличие от старых французов, отличаются обстоятельностью, то ежеминутно вытягиваются из кармана carnets и fiches и вносятся в них всякие дико-звучащие сло-

---

[4] Лев Тихомиров, бывший народоволец, перешедший в лагерь самодержавия, в феврале 1888 г. выпустил предисловие к своей книге: «La Russie politique et sociale», в котором высказывал свои новые мысли; это предисловие вызвало печатный протест русской политической эмиграции с П. Л. Лавровым во главе.

[5] Вырубов, Г. Н. (1843-1913) химик, философ-позитивист, друг и душеприказчик Герцена.

[6] Вильгельм I, германский император, умер в 1888 г.

ва, вроде «вече», «поместье», «дружина» и пр... Только изредка встречаешься с людьми действительно интересными, но это всё больше старые приятели.

Париж переживает теперь довольно интересный момент: Буланже[7], который стоит в одной со мной гостинице, одни собираются судить, а другие сделать диктатором: ежедневные митинги, и взаимная ругань. Одновременно собираются судить Вильсона[8] и прогнать Тирара[9]. Минута, как Вы видите, нельзя более удобная для наблюдений праздношатающегося россиянина. Раскрываются такие стороны дела, о которых из газет не узнаешь. Передам Вам кое-что: во-первых о «реванш» в недрах народных, как выражаются социально-революционеры, нет и помина: недавно в моем присутствии осмеяли оратора, говорившего об Эльзасе и Лотарингии, и на возглас: Vive la France!, отвечали криком: Vive la Commune!; во вторых, между Парижем и провинциями пропасть еще более непроходимая, чем прежде. Парламентаризм решительно не в авантаже, и притом нигде; но в Париже его хотят заменить коммуной, а в провинциях мечтают о военной диктатуре...

Возвращаюсь к русским. Они настолько в моде, что даже поляки, желающие пожинать франки, выступают под этой вывеской. Вчера попал на вечер au profit des étudiants russes et polonais; первых не оказалось...

Благодарю Вас, что не прочь уделить мне место в Вашем существовании и только напоминаю Вам, что это место должно быть по необходимости большим. Веду я себя «паем» и la ville de perdition только доставляет мне возможность каждый день укрепляться в добродетели.

«Место, которое она ему уделяла в своем существовании» было уже таким большим, что ей не терпелось поскорее увидеться с М. М. Когда он в апреле уехал в Лондон, она предложила ему встретиться там. Ковалевский снял ей квартиру напротив своей — он жил со своим другом, профессором Гамбаровым. Вместе обедали, устраивали загородные прогулки, ходили в музеи; за этот месяц они еще больше сблизились — и

---

[7] Жорж Буланже (1837-91), генерал и политический деятель, глава националистического движения.

[8] Д. Вильсон, политический деятель, зять президента республики Греви. В связи с причастностью Вильсона к делу о «продаже орденов», Греви пришлось отказаться от президентства.

[9] Тирар (1827-93), председатель совета министров, анти-буланжист. Его кабинет был опрокинут именно в марте 1888 года.

тут впервые отозвалась в их отношениях характерная для С. В. черта, доставившая ей в жизни много горя: ее страстная ревность. От дружбы, как и от любви, она требовала абсолютного совершенства, полного «слияния душ», единства мыслей и желаний, сама же она была натурой настолько самостоятельной, что совершенно не в состоянии была подчиниться другому. Со своей стороны, М. М. очень дорожил своей независимостью, считал себя старым холостяком, — хотя был годом моложе Ковалевской, — к душевным излияниям относился скептически и в женщинах искал вовсе не ума и широкого образования. С самого начала в их отношениях был заложен зародыш драмы.

В октябре 1888 года Ковалевский вновь приехал в Стокгольм читать свои лекции. А Софье Васильевне надо было, кроме профессорской деятельности, спешно заканчивать математический мемуар для конкурса. Все свободные часы она отдавала другу, работала по ночам, напрягая до истощения свои физические и нервные силы. В то же время она мучилась сознанием, что эта работа становится между ними. «Певица или актриса, осыпаемые цветами, легко могут найти доступ к сердцу мужчины, — но женщина преданная науке, трудящаяся до красноты глаз и до морщин на лбу — чем она может возбудить его фантазию?» И она упрекала себя в неуемном тщеславии и честолюбии. Упрекала несправедливо: когда в ней вспыхивала творческая потребность, она не в силах была ей противиться, не могла в работе остановиться на полдороге.

Между тем ее ожидал в ближайшем будущем самый блестящий успех ее жизни: Парижская Академия Наук признала ее работу наилучшей из 15 представленных работ и присудила ей премию Бордэна в размере 5000 фр. С. В. поехала в Париж. 24 дек. 1888 г. состоялось торжественное заседание Академии. Ее посадили рядом с президентом; в честь ее произносили речи. Она была героиней дня, о ней писали газеты, ее приглашали и чествовали с утра до вечера. А она в эти дни писала своему другу Лёффлеру в Стокгольм:

...Со всех сторон мне присылают поздравительные письма, а я, по странной иронии судьбы, еще ни разу в жизни не чувствовала себя такой несчастной как теперь. Несчастна, как собака. Впрочем я думаю, что собаки к их счастью, никогда не могут быть так несчастны, как люди и в особенности, как женщины. В настоящую минуту единственное, что я могу сделать, это хранить про себя свое горе...

Что же случилось? Почему С. В. была так несчастна в самый разгар своего триумфа, своей европейской славы? Ответ на это дает неизвестное доныне в печати письмо М. Ковалевского:

2 января 1889 г. Монте-Карло, Splendid-Hôtel.

Дорогая Софья Васильевна,

Вы написали мне много глупостей, несправедливых и незаслуженных упреков и вообще обнаружили себя в полном смысле слова женщиной... Нечего и говорить, что никаких событий, как Вы выражаетесь, не было и ничего особенного не случилось. Было только следующее. Получив от Вас известие, что Вы послали просьбу об отпуске в Стокгольмский Университет и заручились свидетельством о болезни, я испугался необдуманности сделанного Вами шага. Мне кажется, что исходом его будет потеря Вами кафедры, а так как парижские обещания писаны на мелу, то Вам придется или попасть в провинцию или совсем отказаться от профессорской деятельности. В виду этого, опасаясь, чтобы соображения насчет совместной жизни не были для Вас решающим моментом, я предпочел временно исчезнуть.

Мой совет Вам и теперь — возвращаться в Стокгольм, где живет Ваша девочка и где ждут Вас друзья и приятели.

Если бы я любил Вас, я написал бы Вам другое.

Как же отзовется на это письмо женщина, известная своим гордым и решительным характером? В том то и беда, что сила характера ей тут не поможет; она уже знает, что тот, кто любит, должен уступать — и она уступает, покоряется, — и по первому его зову едет к нему на юг: он только что приобрел виллу в Болье, прелестном приморском местечке около Ниццы. Их окружают друзья: Карл Фогт, ректор Женевского университета и друг Герцена, Боборыкин, другие русские литераторы и профессора. Но недели ее отпуска проходят быстро — и ей вновь с тяжелым сердцем приходится возвращаться в Швецию, которая более чем когда бы то ни было представляется ей «ледяной пустыней».

В марте 1889 г. Ковалевский уехал на полгода в Россию по делам своего имения. Но они продолжают переписываться; С. В. посылает ему манускрипт своих «Воспоминаний», за которые она взялась по его же совету.

20 апреля 1889 г. Харьков

...Я прочел (Вашу рукопись) внимательно и скажу Вам мое откровенное мнение о ней. (Человек не имеет других прав, кроме тех,

которые сам себе присвоит. К числу этих присвоенных прав отнесите и мое право говорить Вам неприятное). Начну с конфетки. Вторая часть мне нравится. Но первую, по-моему, исправить нельзя, а остается только уничтожить. На полях Вы найдете мои пометки карандашом и заключите из них, что я Вам ставлю в вину необыкновенную мудрость изображаемой Вами девицы. Столь мудрой, мудрая Софья Васильевна, Вы не могли быть в эмбрионе. Я перечел для проверки правильности своего впечатления «Детство и отрочество» Толстого и «Исповедь» Руссо. Ни тот, ни другой не забывают, что они были только «великими детьми» и следовательно, только по-детски могли выразить величие своего духа... А Вы? Вы девочку 12 лет заставляете выводить или не выводить Бытие Божие из своего нутра, что твой Кант. Белинский отнес бы это к «излишествам».

5-го июня 1889 г.

...Несказанно рад Вашим успехам[10], но делаю из них далеко не такой вывод, который делаете Вы: не в архив сдавать, а продуцировать всё более и в том же направлении — вот что прямо вытекает из трофеев прошлых и настоящих... Тогда не только украинские[11], но и бело, мало и великорусские помещики будут дивоваться на Вас, как на диво дивное, и славе Вашей не будет конца.

Без трофеев и даже без надежд на получение их в будущем, я веду идиллическое существование на лоне природы, вдали от городских соблазнов и пороков... Не в пример Вам, вечерние разговоры о чувствах заменены мною ранним сном.

В следующем письме, чтобы успокоить ее ревность, он сообщает:

...Никаких сорока девиц в окрестностях не оказалось, а оказались только две или три вдовы с разбитыми нервами и всем прочим...

В октябре, отдав имение в аренду, М. М. уехал в Болье; оттуда он написал С. В., что на юге Франции останется недолго, собирается в Италию, может быть в Египет.

Опять он ускользал, опять свидание с ним отодвигалось надолго. Жить без него, без надежды на скорую встречу, Ковалевской было уже не под силу. И она спешит запросить: нельзя ли ей приехать к нему в Болье? Нельзя ли им путеше-

---

[10] С. В. получила премию Шведской Академии за новую математическую работу.

[11] Сам Ковалевский.

ствовать по Италии вместе? В январе у нее будет месячный отпуск.

Ответ на эту просьбу пришел неожиданно-жестокий:

Больe, вилла Батавия, 4-го дек. 1889 г.

Дорогая Софья Васильевна,

Мне невозможно исполнить Вашего желания и ближайшая причина тому та, что я не один. Со мною живет на вилле некоторая особа, прошлое которой не позволяет мне ввести ее в Ваше общество. Так как она иностранка, ни слова не говорящая по-французски, то мне также невозможно оставить ее одну.

Таким образом обстоятельства делают немыслимым наше свидание. Да, я полагаю, и к лучшему. Мне очень грустно, что я ничем не могу отблагодарить Вас за Вашу дружбу, но Вы слишком умны, чтобы не понять безвыходности моего положения.

С чувством глубокого уважения остаюсь много обязанный Вам

М. Ковалевский

Это был окончательный разрыв. Почему? Устал ли он от упреков и ревности, хотел ли дать понять, что не может разделить ее чувства? Как бы то ни было, это письмо для С. В. было неожиданным ударом. Никогда в жизни она ничего не боялась, ни перед каким препятствием не останавливалась, — но ей страшно вычеркнуть его из своей жизни: тогда ей незачем будет жить. И опять она уступает, смиряется: пусть только он не лишает ее своей дружбы, не обрывает переписки. М. М., по природе добрейший и деликатнейший человек, сейчас же идет ей навстречу и шуткой пытается загладить тяжелое впечатление:

Больe, 12 декабря 1889 г.

Дорогая Софья Васильевна,

Меня очень тронуло Ваше последнее письмо. Чувство искренней дружбы, которое я питаю к Вам, принадлежит к числу самых прочных и неизменных. Мне было бы очень грустно прекратить с Вами переписку, и я всегда с радостью получаю известия о Ваших успехах и заслуженном признании, в каком за последнее время не отказывает Вам даже отечество[12].

Никто не мог Вам писать ничего о моей обуреваемости дамой,

---

[12] В ноябре 1889 г. Ковалевская была выбрана членом-корреспондентом русской Академии Наук.

так как никто не имеет об этом ни малейшего представления. Обуреваемость эта возникла независимо от меня: приехала и села...

Если Вы проведете в Италии весь Генварь, то я не считаю невозможным повидаться с Вами. Tenez-moi au courant de vos faits et gestes.

Ваш Ковалевский.

Она приехала — и не в Италию, а в Болье — и перед самым отъездом из Стокгольма написала несколько строк своей русской подруге, Юлии Лермонтовой:

Дорогая Юлюша, я уезжаю сегодня на юг Франции, но на радость или на горе, не знаю сама, вернее на последнее...

Но в присутствии М. М. она забывала обо всем: ей было весело; просыпалась беспечная «цыганская» сторона ее натуры. В эти годы жители Ниццы и Болье вероятно нередко встречали на побережье и на крутых тропах Приморских Альп эту странную пару: маленькую смугло-бледную женщину и огромного роста грузного мужчину, голубоглазого и темнобрового: «настоящий боярин», говорила С. В., или еще, когда хотела его подразнить: «запорожский казак, победивший турок, но побежденный жиром». В Ницце праздновали карнавал: они отправлялись русской компанией на бой цветов, на редуты, затягивавшиеся до зари. Но случалось, что на С. В. находила потребность работы: тогда она отказывалась от прогулок, запиралась у себя и по целым дням сидела за работой.

В их переписке, после ее отъезда, немалое место занимает Россия: оба чувствуют себя с ней кровно связанными.

Ковалевский пишет ей 28 марта 1890 г.

Вы, вероятно, читали об аресте Цебриковой и о причинах, вызвавших этот арест. Посылаю Вам текст ее письма к царю, с тем, чтобы Вы вернули мне его по прошествии надобности...

А в апреле 1890 г.:

В России аресты. В Москве одной тысячи студентов провели месяц в тюрьме. Профессора стояли на высоте своей подлости и холопства. Особенно отличился философ Троицкий, недавнее украшение кружка окрещенного моим именем. Цебрикову препроводили в Пензу под надзор полиции...

Вскоре после ее отъезда М. М. тяжело заболел подагрой. Он имел неосторожность написать ей, что проводит ночи без сна в кресле и кричит от боли. С. В. тотчас же решила приехать к нему: она готова отказаться от кафедры, от своего с трудом

завоеванного положения, чтобы ухаживать за ним. Если от других в дружбе и любви она требует абсолютной преданности, то и сама готова на любую жертву. Но Ковалевский спешит эту жертву отклонить.

Я тронут и признателен Вам за Вашу готовность всё бросить, чтобы сделаться моей soeur de charité, но в то же время должен сказать, что и без того присмотр за мной был недурен.

Он знает, что ей нельзя пожертвовать тем, что составляло до сих пор главное содержание ее жизни. И когда она волнуется и настаивает, он пытается ее отговорить:

28 марта 1890 г.

Дорогая Софья Васильевна,

Согласитесь, что Ваш приезд, вызванный избытком альтруизма, на самом деле не имел бы смысла. Вы располагаете двумя неделями времени: 3 дня на поездку, 3 дня на возвращение, остается 9 дней на Болье... И всё это для чего? Для того, чтобы убедиться, что я действительно *один,* гуляю по саду в туфлях, читаю и пишу и вечером смазываю ноги всякой дрянью. Согласитесь, что la palme, si palme il y a, не такого свойства, чтобы побудить к подвигу даже святого Варфоломея.

Прибавьте еще то, что я по всей вероятности был бы весьма нелюбезен, ибо нервы мои разбиты и от выстраданной болезни и от перспективы страмиться в Англии, произнося «th» не на надлежащий фасон[13]...

А в другом письме, не без грустной иронии:

— Подагра и ревматизм не смертельны и представляют для Вас ту выгодную сторону, что старят человека не по дням, а по часам, убивая в нем всякого рода афекты...

Несмотря на его уговоры не тревожиться, С. В. все же приехала к нему на короткий срок. А вернувшись в Стокгольм, на вопрос Анны-Шарлотты Лёффлер с горечью ответила, что больше никогда не выйдет замуж: она не собирается, как другие женщины, бросать свое дело, как только представляется возможность устроиться иначе. Стокгольмские друзья нашли в ней большую перемену: она похудела, постарела, блестящие

---

[13] М. М. должен был в мае 1890 г. прочесть ряд лекций по русской истории при оксфордском университете.

глаза потухли, и между бровями появилась складка, глубокая, как шрам. Она стала избегать всякого общества. Беспокойство и отчаяние ее повидимому мучили, но она всё таила в себе. Положение ее было безвыходное: она не могла жить ни с М. М. — каждое их свидание сопровождалось сценами ревности и ссорами — ни без него.

Летом 1890 г. они все же отправились путешествовать вместе, — по Германии, Швейцарии и Италии. От этой поездки сохранились короткие записи в дневнике С. В., из которого мы приведем несколько строк:

21 июня. Приехала в Амстердам. Встретились. Довольно холодно.

22 июня. Beware of conversazione[14]. Его нервы натянуты, а я его мучаю своею нервностью и в конце концов конечно надоем. Пора взяться за работу.

26 июня. Висбаден. Целый день conversazione, которые кончаются сценой и слезами.

Но не всё были сцены и слезы. С. В. впервые тут познакомилась с Италией, которая ее очаровала. Были веселые прогулки, ряд дорожных приключений, да если она и страдала, для того кто любит, разве страдание не предпочтительно отсутствию чувства? Но каникулы пролетели очень быстро. Опять предстояла разлука надолго, опять надо было расставаться с солнцем и светом. Понемногу северный холод становился ей всё ненавистнее: он связывался в ее представлении с ее личным страданием.

Между тем в России, в «Вестнике Европы», появились ее «Воспоминания детства», которые доставили ей сразу литературную известность, были переведены на несколько иностранных языков и вызвали одобрительные отзывы критики. В Стокгольме она нашла груду писем от незнакомых читательниц, которые просили ее продолжать свой рассказ. Да, ей удивительно удавалось всё, за что бы она ни принималась, — она сама говорила об этом с суеверным страхом, — всё кроме того, что было для нее теперь самым главным. «Какой-нибудь другой человек должен получить то счастье, о котором я всегда мечтала. Должно быть плохо распределяются блюда на великом пиру жизни», говорила она.

---

[14] «Conversazione» — так между собой они называли неприятные разговоры и ссоры.

М. М. спешит поздравить ее, шутливо и ласково, с новыми лаврами:

20 октября 1890 г. Венеция.

Дорогая Софья Васильевна.

Очень рад слышать об успехах Ваших воспоминаний в России и о том что этот успех Вас радует. Я никакими успехами похвалиться не могу. Даже книги, которые я пишу, начинают приписывать Вам, и не далее, как неделю назад я получил из Парижа письмо литературного агентства Галлуа насчет моих стокгольмских лекций, начинающееся обращением «Madame!... ».

Приближаются рождественские каникулы, которых она ждет с нетерпением: она только теперь и живет ожиданием отпуска и отъезда. Но на ее вопрос — можно ли ей приехать в Болье — Ковалевский отвечает очень сдержанно:

20 ноября 1890 г.

...Отвечая на Ваш вопрос, скажу Вам, что теперь, как и всегда, я очень рад Вас видеть, но что Вам не мешает взвесить предварительно le pour et le contre. Le pour: красивая местность, мягкий климат и пр. Le contre: Боборыкин, Коротнев[15], господин, вызвавший встречей в Понт-Резине памятную нам обоим сцену...

Так как Вы стали очень ощутительны к «le qu'en dira-t-on», то предупреждаю Вас, qu'on n'en dira rien de très flatteur pour votre personne. Хранить Ваше инкогнито было бы немыслимо. Устраняться от всех на целых два месяца — невозможно. Цыганить по Италии после шести месяцев цыганства, я не в силах. К тому же мне надо писать, имея книги под рукой. Поразмыслите и поступите, как знаете.

Несмотря на такое холодное приглашение, в конце декабря она была уже в Болье. Это было их последнее свидание: ни он, ни она этого, конечно, не знали, но С. В. была грустна; ее мучили дурные предчувствия. Они совершили вдвоем небольшую поездку в Италию и в день Нового Года оказались в Генуе, на мраморном кладбище. Тут она сказала вполголоса: «Один из нас скоро умрет, так как мы встретили новый год на кладбище». Она всегда была суеверна, ей случалось видеть вещие сны, и близко ее знавшие утверждали, что у нее был дар предвидения.

В этот ее приезд, по свидетельству ее друзей, М. М. предложил ей стать его женой. Верно это или нет — мы, конечно,

---

[15] Коротнев — профессор зоологии, приятель Ковалевского.

не знаем; во всяком случае в его письмах, вплоть до самого последнего, от 2-го февраля 1891 г. (Софья Васильевна умерла 10 февраля), нет ни малейшего намека ни на это предложение, ни на какое-либо чувство — кроме дружбы и уважения.

Она поехала на этот раз в Стокгольм долгой окружной дорогой, из-за эпидемии оспы в Копенгагене. «Самая скучная, самая некрасивая дорога в мире» как будто отомстила за себя. В пути С. В. сильно простудилась, на другой день у нее начался гнойный плеврит, но ее лечили почему-то от воспаления почек. Болезнь протекала бурно. Миттаг-Лёффлер послал Ковалевскому телеграмму: «Соня опасно больна». М. М. немедленно тронулся в путь, но уже в Киле получил известие об ее смерти. Он успел, однако, приехать к похоронам; единственный близкий в собравшейся толпе, он сказал по-французски несколько слов на ее могиле:

«Софья Васильевна! Благодаря Вашим знаниям, Вашему таланту и Вашему характеру Вы всегда были и будете славой Вашей родины...»

Впоследствии он написал о ней несколько интересных статей, издал все ее литературные произведения, в том числе и «Отрывок из романа происходящего на Ривьере», героем которого был он сам, — принял активное участие в судьбе ее маленькой дочери, которую даже попытался усыновить. Он пережил Ковалевскую на 25 лет и до самой смерти бережно хранил пачку ее писем. Но его воспоминания написаны в объективном тоне, в них отсутствует личный элемент. «В наших отношениях, писал он Ю. Лермонтовой, было много такого, что трудно понять людям посторонним. Говорить и не договаривать — задача не легкая».

Когда А.-Ш. Лёффлер намекнула на то, что Ковалевская умерла якобы от «неразделенной любви», добродушный М. М. пришел в сильное раздражение и поспешил заявить, что при вскрытии у нее был найден кроме плеврита острый порок сердца, из-за которого она во всяком случае не прожила бы долго.

Нет, конечно, она умерла от болезни, но нельзя не думать, что болезнь пришла во-время, чтобы вывести ее из тупика; нельзя не вспомнить ее собственных слов в статье о Джорж Эллиот: «когда в жизни положение становится уж слишком натянутым, когда нигде не видать исхода, тогда является смерть и открывает новые пути, о которых никто не думал прежде».

Е. Каннак

ВЫДУМКИ О РАННЕЙ РЕВОЛЮЦИОННОСТИ ЛЕНИНА*

Для биографов Ленина крайне важно точно установить когда, в какой обстановке, под чьим влиянием, юный Ульянов начал усваивать революционные идеи, стал на дорогу, на которой началось его превращение в Ленина. Конечно, незачем останавливаться на кем-то пущенных словах, что уже в семь лет он страстно декламировал стихи о богачах и бедняках. Поищем указаний более серьезных. Некоторые биографы Ленина сообщают, что семью Ульяновых в Симбирске посещали политические ссыльные, в частности, доктор Кадиан и юный Ульянов, присутствуя при разговорах взрослых на общественные темы, стал очень рано заражаться оппозиционным духом. Такой дух в семье будто бы поддерживался и развивался его отцом. В Кокушкине, гуляя с детьми в поле, Илья Николаевич пел с ними революционные песни. Последние годы своей жизни И. Н. Ульянов в глазах начальства стал политически подозрительным человеком. В начале 80-х годов исполнилось 25-летие его службы; согласно установленным в министерстве народного просвещения правилам, он мог остаться на своем посту еще пять лет. Однако, его оставили только на год. Больше того: готовилось увольнение его со службы, грозившее ему «перспективой остаться с большой семьей без заработка». Оппозиционеркой, намекают биографы, была и мать Ленина: она отказалась принять звезду, которой правительство, после его смерти, наградило ее мужа.

При ближайшем рассмотрении вся эта серия намеков и сообщений оказывается ложной. Пропагандистское, сознательно извращающее факты Dichtung здесь совершенно заслоняет Wahrheit. Начать с того, что политические поднадзорные семью Ульяновых не посещали. Что же касается Кадиана. привлекавшегося по обвинению в политическом преступлении в 70 годах к суду и оправданного, он в Симбирске, городе «штиля на суше» — превратился в такую божью коровку, что говорить о революционном влиянии его на кого-либо не приходится.

Отсутствие малейших связей И. Н. Ульянова с политиче-

---

* См. кн. 36 и 37 «Нов. Журн.».

скими поднадзорными категорически подтверждает и А. И. Ульянова-Елизарова: — «Илья Николаевич, пишет она, как ведавший крупным отделом народного образования, не мог, к о н е ч н о, вести знакомства с поднадзорными, если хотел удержать за собою работу, а в ней сосредоточивался главный смысл его жизни».

Нужно до непростительности исказить факты, чтобы изображать отца Ленина человеком, развивавшим в своих детях оппозиционность к предержащим властям. По словам его хорошо знавшего Делярова (члена 2-ой Госуд. Думы) И. Н. Ульянов, не будучи «ретроградом и консерватором старого типа», был всё же «человеком консервативного миропонимания». Он хотел не колебать самодержавный строй, а в рамках его служить народному благу. Не самодержавие, а «темнота и безграмотность деревни были, по его убеждению, главной причиной несчастья и бедности русского народа». Никогда, ни в годы студенчества, ни позднее, И. Н. Ульянов не разделял революционных идей. Из среды Пензенского Дворянского Института, где Ульянов начал свою педагогическую деятельность, вышли известные революционеры — Каракозов, повешенный в 1866 г. за покушение на жизнь царя Александра II, Ишутин, Странден. Одной из задач Каракозовско-Ишутинской организации (что установлено на судебном процессе) было «освобождение из каторжных работ государственного преступника Чернышевского для руководства предполагавшейся революцией и для издания журнала».

Каракозов и Ишутин, будучи учениками, жили в Пензе на квартире Захарова, учителя Дворянского Института. В квартире этого своего сослуживца жил потом и И. Н. Ульянов. Когда началось следствие по делу Каракозова об этом, конечно, стало известно. Поэтому имя Ульянова, хотя он был в это время не в Пензе, а в Новгороде, упоминается в каракозовском деле, но отнюдь не в качестве лица, подозреваемого в симпатии к революции, как Захаров, еще до этого уволенный из Института за «вредное политическое влияние» на учеников. Следствие твердо установило, что ни в чем подобном Ульянова обвинять нельзя. Восторженный поклонник царя Александра II-го, в котором он чтил освободителя крестьян и проводника реформ, И. Н. Ульянов отрицательно относился ко всяким революционным актам и теориям и с умеренной симпатией даже к оппозиционному движению, боясь, что таковое явится помехой для проведения и укрепления уже ведущихся царем реформ.

Кондаков в его книге об отце Ленина заявляет, что «на

формирование педагогического мировоззрения И. Н. Ульянова несомненное влияние оказали смелые борцы за народное дело Чернышевский и Добролюбов, которые разрешая общественно-политические вопросы, дали стройную систему педагогических идей». Крупская, узнавшая об отце Ленина как педагоге только после появления в 1925 г. сборника статей, посвященных И. Н. Ульянову, подхватывая мысль о влиянии на него Чернышевского и Добролюбова, сочла нужным это влияние представить грубейшим образом. Четырнадцать лет спустя после смерти Ленина, она вздумала повторить басню о его революционности чуть ли не с детских лет, а чтобы эта басня показалась убедительной начала уверять, что революционность Ленина была естественным результатом воспитания, которое отец давал своим детям.

«Как педагог Илья Николаевич особенно усердно читал Добролюбова. Добролюбов покорил честное сердце Ильи Николаевича и это определило (sic!) работу Ильи Николаевича как директора народных училищ и как воспитателя своего сына — Ленина и других детей, которые все стали революционерами». («Большевик» 1938 г. № 12). Без возмущения нельзя читать эту ложь, нагроможденную Крупской за год до ее смерти. Она не могла не знать хотя-бы из статьи Анны Ульяновой, напечатанной еще в 1927 г., что революционного воспитания своим детям Ульянов не давал. Они стали революционерами только после его смерти и вопреки его воспитанию. Ульянов, как подавляющее большинство интеллигентов его времени, выписывал «Современник», и статьи Чернышевского и Добролюбова в нем помещавшиеся, конечно, читал, но влияние на него этих статей в смысле политическом равно нулю. Нулем или почти такой-же величиной нужно считать и влияние на него педагогических идей Добролюбова. Зачем ему было учиться педагогике у Добролюбова, когда известно, что последний пересказывал своими словами знаменитые очерки на педагогические темы большого ученого Н. И. Пирогова, появившиеся в 1856 г. под названием «Вопросы Жизни» и произведшие огромное впечатление на многих педагогов. в том числе и на Ульянова.

Биографы Ленина все с той-же целью показать, что И. Н. Ульянов был политически неблагонадежным человеком, пишут, что в Симбирске «документов о слежке за семьей Ульяновых в уцелевших делах архива жандармского управления не удалось обнаружить». Пишется это намеренно двусмысленно. Слежка, мол, была, ибо Ульянов был для жандармерии человек подо-

зрительный, на этот счет были какие-то документы, но так как уцелел не весь архив, обнаружить их не удалось. Правильнее другой вывод: Ульянов был вне каких-либо подозрений, повода к тому никогда не давал, никакой слежки за ним не было, потому о нем и не было полицейских рапортов. Если бы отец Ленина стал в глазах высшего начальства неблагонадежной личностью, ему после его смерти не была бы царским указом пожалована звезда. И пожалование в 1886 г. этого столь высокого отличия тем более знаменательно, что с 1881 г., — убийства Александра II-го, правительство удушало даже самые невинные проявления оппозиционного духа во всех областях государственного управления в том числе и в школьном деле.

Говоря, что Ульянов после 25-летней выслуги был оставлен директором народных училищ вместо пяти лет только на год, биографы стремятся обойти молчанием вот какой факт: — это распоряжение было сделано министром народного просвещения Сабуровым, слывшим в какой-то степени либеральным человеком и потому продержавшимся на своем посту только один год, но оно было немедленно отменено его заместителем, ультра-реакционным министром Николаи, подтвердившим право Ульянова продолжать служить директором еще пять лет. Внимания заслуживает и другой факт. Ульянов в качестве директора народных училищ подобрал штат районных инспекторов, управлявших под его руководством школами губернии. «Как и И. Н. Ульянов, они были представителями разночинной интеллигенции, окончившими высшие учебные заведения, энергичными и идейными работниками. Они сплотились вокруг директора Ульянова в дружный коллектив, четко работавший в интересах народного просвещения». Если бы реакционеры в министерстве народного просвещения действительно видели в Ульянове человека нежелательного в политическом отношении, то инспекторскую коллегию, воодушевлявшуюся опасными педагогическими взглядами Ульянова, правительство немедленно бы раскассировало. Этого не произошло и именно один из «ульяновских» инспекторов — Ишерский после смерти Ульянова был назначен на пост директора народных училищ Симбирской губернии и оставался на нем до 1908 г.

Также как И. Н. Ульянова, или еще меньше, можно заподозрить мать Ленина в какой-либо склонности к «оппозиции». Отклонение ею звезды, пожалованной покойному мужу не является, вопреки намекам биографов, ни в малейшей степени политической демонстрацией. За жалуемые ордена нужно было

платить, а после смерти мужа, всегда расчетливая Мария Александровна считала подобный расход излишним, тем более, что в это время она хлопотала о заслуженной ее мужем пенсии, каковая и стала ей выдаваться в размере 1200 рублей в год, сумма, на которую вплоть до средины девяностых годов могла безбедно жить целая семья.

Полностью разбивая легенду, что на детей Ульянова влияли антиправительственные взгляды их отца, его старшая дочь разъясняет, что И. Н. Ульянов «не бывший никогда революционером», наоборот, хотел от этого духа *«уберечь нас молодежь»*. Он был непримиримым врагом террора. «Я помню его, пишет А. Ульянова, в высшей степени взволнованного по возвращении из собора, где было объявлено об убийстве Александра II-го и служилась панихида. Для него царствование Александра II-го, особенно его начало, было светлой полосой». У той же Ульяновой можно найти объяснение и истории с пением революционных песен, которой сочинители всяких Dichtung'ов силятся придать значение неопровержимого свидетельства о революционном духе отца Ленина. И. Н. Ульянову случалось, гуляя с детьми в полях Кокушкина, затягивать «Песню Еремушки». «Песня Еремушки» Некрасова впервые появилась в сентябрьской книжке журнала «Современник» за 1859 г. Когда И. Н. Ульянов с детьми пел эту песню, могущую вызвать подъем неугодных правительству чувств? Его дочь отвечает: мне было тогда 14 лет, брату Саше — 12. Значит, то было приблизительно в 1877 или 1878 г. Ленину тогда было только 7 или 8 лет. Зная, что Володя Ульянов любил петь или, как говорила его старая няня Варвара Григорьевна, «очень уж любил кричать» можно (хотя из того, что сообщает А. И. Ульянова этого не видно) предположить, что и он участвовал в пении с отцом. Однако, даже при самой пылкой фантазии, трудно допустить, что это пение имело какое-то влиянис на формирование революционных взглядов у этого ребенка. И вот что важно: с 1878 г. революционное движение явно стало на путь террора. В этот год Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова. И. Н. Ульянов был очень устрашен таким поворотом общественного движения. Чтобы не возбуждать у детей мысли, что он, хотя-бы отдаленно, может сочувствовать революционным идеям, И. Н. Ульянов перестал петь со старшими детьми в сущности и такую невинную вещь как «Песня Еремушки». Это сообщает Анна — его дочь. Партийным биографам угодно ее свидетельство извратить. С конца 70-х годов и после убий-

ства Александра II (1881 г.) в доме Ульяновых никаких разговоров на политические темы при детях уже не велось. Особенно избегали этого при младших детях и при Владимире в том числе. Выражаясь по своему обыкновению самым топорным образом, А. И. Ульянова писала, что этим детям их отец «*никакого подчеркивания в смысле общественного идеала не делал*» («Пролетарская Революция», 1927 год кн. 1). Это означает, что никаких оппозиционных идей Ульянов своим детям не прививал. Он считал, что честный, гуманный, деятельный, образованный, чуткий человек может быть крайне полезен для народа даже и в рамках самодержавного строя. Подобное убеждение Ульянов не изменил и тогда, когда усиливалась реакция.

Несмотря на его лживость, тезис о раннем пробуждении революционного духа у Владимира Ульянова сочла нужным поддержать и г-жа Арнольд, подруга его младшей сестры Оли. Она это сделала с явным намерением обратить на себя внимание как на какую-то важную свидетельницу. В 1886 г., заявила она, «Владимир Ильич и Оля всею душою ушли в общественно-политическое движение». Старшая сестра Ленина (а в ее воспоминаниях несообразностей и идеологических прикрас несравненно меньше, чем у других) по этому поводу напоминает, что Оле тогда было только 15 лет. Опровергая Арнольд, она с явной иронией называет ее слова «преувеличением». Это не преувеличение, а просто выдумка. В 80-х годах, да и позднее, в Симбирске не было ни малейших признаков «общественно-политического движения». В несуществующее движение дети Ульяновых, да еще «всею душой», уйти никак не могли.

Рекорд уже не фантастических свидетельств о Ленине, а явной и наглой лжи побил некий Бушуев, учившийся с Лениным в гимназии. Во славу Ленина и самого себя, якобы, «спутника и друга» его детских лет (что совершенно неверно!), он заявил, что Ленин в гимназии очень рано стал проявлять «живейший интерес к вопросам крестьянского и рабочего движения». Он будто бы — «переносил сейчас же все волнующие его вопросы в среду сверстников, своих ближайших друзей. Повсюду, где только являлась возможность собираться на гуляниях, прогулках, в садах, а в зимнее время на катках, мы собирались своим тесным кружком, где Володя Ульянов ставил вопросы о демократии (?!), о крепостном праве, тяжелом положении рабочего класса. Все эти вопросы нами обсуждались и подвергались оживленной дискуссии».

Сие свидетельство можно прочитать в сборнике воспоми-

наний о Ленине, выпущенном издательством «Московский Рабочий» под заглавием «Первая Годовщина», появившемся в 1925 г. т. е. через год после смерти Ленина. Выдумка этого завравшегося «друга детства» Ленина была настолько очевидна, и при том так скоро разоблачена, что позднее абсолютно никто на нее не ссылался. Нет ссылки на нее и в официальной биографии Ленина, изданной Институтом Маркса-Энгельса-Ленина. Раннее «освоение Лениным революционных идей» она силится доказать уже с помощью другого сорта аргументов. «Ленин, читаем мы в ней, рано стал задумываться над окружающей жизнью, внимательно вслушиваться в разговоры взрослых. Он много читал и уже в ранней юности прочел всё (?!) лучшее, что дала революционно-демократическая публицистика России. В возрасте 14-15 лет Ленин познакомился с романом Чернышевского «Что делать?», который произвел на него сильное впечатление. Читал он также сочинения Добролюбова, Писарева и другие книги, считавшиеся в то время запрещенными. Он хорошо знал поэтов-демократов некрасовской поры. Большое влияние оказал на юного Ленина старший брат Александр, с которым он был очень дружен. Приезжая в 1885 и 1886 гг. на каникулы домой из Петербурга, где он учился на физико-математическом факультете, Александр привозил с собою «Капитал» Маркса. *Ленин тогда же начал знакомиться с этим произведением*».

Доказательств, как будто, много, а когда до них дотрагиваешься, они — рассыпаются. Неверно, что роман Чернышевского своим социальным содержанием произвел на 14-15 летнего Ленина сильное впечатление. Лишь несколько лет спустя, живя в Кокушкине, он взялся по-настоящему за это произведение и под влиянием некоторых событий, о которых расскажем в свое время, стал почитать его для себя священным. В библиотеке его отца был полный комплект журнала «Современник». Будучи подростком, он иногда заглядывал в «Свисток» (приложение к «Современнику»), в котором «свистел» Добролюбов под псевдонимом Якова Хама и Конрада Лилиеншвагера. Серьезно же читать Добролюбова и Писарева (последним увлекался не он, а брат Саша и сестра Анна) Ленин стал много позднее, после окончания гимназии. А если исключить Добролюбова, Писарева, роман Чернышевского, какие же это «другие» книги, считавшиеся запрещенными, какую это «другую», да еще «всю» лучшую революционно-демократическую литературу, читал юноша Ленин? Авторы биографии ничего

определенного не указывают. Вместо конкретного перечисления книг они ограничиваются общей фразой. Совершенно ясно, что они ничего не знают. Им нечего сказать. Остается ссылка на «Капитал» Маркса. Henri Guilbeaux передает в следующем виде приобщение Ленина к Марксу: «Александр познакомился с «Капиталом» Маркса и, в свою очередь, рекомендовал его Владимиру и оба брата часто дискутировали со страстью теории Маркса»[1].

Так создаются вымыслы и рождаются легенды о 15-летнем подростке, погруженном в изучение марксистской теории. Не Гильбо их творец. Он лишь передает слышанное им в Москве от партийных информаторов, считавших, что для возвеличения «Ильича» нужно признание его знакомства с Марксом в 15 лет. Дискутировать на эту тему нам нет ни малейшей надобности. Совершенно отчетливо, твердо и ясно помню, что на вопрос — когда он познакомился впервые с «Капиталом», Ленин в апреле 1904 года мне ответил: — «В начале 1889 года, в январе».

Ленину в 1889 году было не 15 лет, а почти 19, разница большая. И вот, отбросив, как необоснованное, то, что в доказательство очень раннего формирования у Ленина революционного сознания, пытаются выдвинуть его биографы, придется сказать, что в Симбирске: — «Интереса к общественным вопросам Владимир Ильич *ничем еще не проявил*».

Такую фразу, после всяческих зигзагов, произносят В. Алексеев и А. Швер в брошюре «Семья Ульяновых в Симбирске», изданной в 1925 году Институтом Ленина при Центральном Комитете Коммунистической Партии. (Этот Институт позднее превратился в Институт Маркса-Энгельса-Ленина).

---

[1] Книга Guilbeaux изданная «L'Humanité» в 1924 г. носит название «Portrait authentique de Vladimir Ilitch Lènine». Заглавие претенциозное. «Портрет» рисовался лишь с политической стороны. Ленина как человека там почти нет. Интересно сравнить книгу этого коммуниста с другой написанной им в 1937 г., после вторичного посещения им СССР: «La fin des Soviets». На странице 144-ой первой книги Guilbeaux приложена фотография, которую в СССР ныне считают контр-революционной: Ленин в окружении своих ближайших сотрудников — Бухарина, Рыкова, Каменева, Енукидзе, Преображенского, Серебрякова, Лашевича, Калинина. Среди них высматривает сурком робкое лицо Сталина с узеньким лбом, заросшим волосами. Кроме Калинина, умершого естественной смертью, все остальные сотрудники Ленина убиты Сталиным.

Заметим, они пишут: «внешне не проявлял». Слово «внешне» мы выкинули. Оно лишнее. Оно вставлено для оправдания зигзагов авторов брошюры, хотевших, хотя бы как-нибудь намекнуть, что ничем не проявляя «внешне» интереса к общественным вопросам, юный Ленин мог «внутренно» ими интересоваться. Конечно, слова Алексеева и Швера находятся в резком противоречии с выше приведенной цитатой из биографии Ленина, изданной тем же Институтом в 1944 году, т. е. на *19 лет* позднее. Ни в какой мере это не должно нас удивлять. Чем больше протекает времени со дня смерти Ленина, смерти его родных, чем меньше остается старой большевистской гвардии и людей с ним сталкивавшихся, в какой-то мере его знавших, тем больше вносится в его биографию «поправок», добавлений, искажающих былое и безмерно затрудняющих попытку составления правдивой биографии Ленина. Это неустанно приходится повторять. Впрочем, те добавления в этой биографии, на которые мы только что указали, сущие пустяки в сравнении с другими, уже чудовищными. Например, теми, цель которых представить некоторых сотрудников Ленина в виде «негодяев, контр-революционеров и шпионов иностранных держав».

Чтобы показать сколь непомерно фальшива составленная партийным Институтом биография Ленина, сошлемся на одного последнего свидетеля. Мы намеренно оставили его показания под самый конец. После них дискуссию по данному вопросу нужно считать действительно законченной. Это всё та же старшая сестра Ленина. Брата своего, надо полагать, она знала лучше людей, получивших в 1944 году заказ изобразить, как в 1885 году пятнадцатилетний Ленин, вместе с своим братом, погружается в изучение «Капитала» Маркса. Вот что мы узнаем от нее.

В последних классах гимназии Ленин «был не прочь зло подтрунить над учителями» и бросить (но уже после смерти отца, при жизни его это было недопустимо) насмешливое и резкое слово о религии. В этом отношении он ровно ничем не отличался от многих других гимназистов. Восьмидесятые годы по всей России, а тем более в таком городе как Симбирск, были эпохой мертвого затишья, политического индиферентизма, отсутствия признаков общественного движения. В то время, весьма основательно замечает Ульянова, особенно в глухой провинции, молодежь в политическом отношении «не определялась рано». Владимир был резок, задирчив, самоуверен, «он

был, так сказать, в периоде сбрасывания авторитетов». Однако, вне «отрицательного отношения, главным образом, к гимназии» — это сбрасывание авторитетов далеко не шло. Никаких определенных убеждений его сестра у него не видела. Вопреки тому, что выдумал Бушуев, у него как и у его товарищей по гимназии, совершенно отсутствовал интерес к общественным и политическим вопросам. Присутствие этого интереса, замечает А. Ульянова, обнаружилось бы в «наших разговорах», он стал бы «меня расспрашивать о питерской жизни с этой стороны», но Владимир этого не делал. Приезжая из Петербурга на побывку домой, Александр привозил с собою много книг по общественно-политическим вопросам. Владимир Ульянов в них не заглядывал. Даже в руки не брал. Это его совсем не интересовало.

«Я помню, пишет его сестра, мы отмечали оба с Сашей, удивляясь этому, что Володя может по нескольку раз перечитывать Тургенева. Лежит бывало на своей койке и *читает и перечитывает снова* и это в те месяцы, когда он жил в одной комнате с Сашей, усердно сидевшим за Марксом и другой политическо-экономической литературой, которой была тесно заставлена книжная полка под его столом».

Где это напечатано? В статье А. И. Ульяновой в журнале коммунистической партии «Пролетарская Революция» № 2-3 за 1927 год, стр. 287. Что остается от сказки о 15-летнем подростке Ленине, погруженном вместе с братом в изучение «Капитала»? Ничего. Всё-же на каноны это никакого влияния не имеет. Не взирая ни на что, казенные биографы в 1944 году будут попрежнему настаивать на том, чего не было, и Кондаков в 1948 году в книге об отце Ленина будет заявлять, что И. Н. Ульянов, видел «влияние Александра на Владимира, который не расставался с ним в каникулярное время и читал с ним «Капитал» Маркса» (стр. 199). В большом и малом ложь в Советской России при нынешних правителях непоборима; ложь о Ленине есть лишь маленькая частица той ужасной лжи, которой как раком отравлен весь общественный организм СССР.

В истории с изучением юным Лениным Маркса очень любопытна поправка, внесенная в нее А. И. Ульяновой. Заявив, что Александр привозил из Петербурга «Капитал», она идет потом на попятную и говорит, что брат привозил в 1885 году много книг по политической экономии, а был ли среди них «Капитал» — на этом она настаивать не будет, этого «не могу

сказать точно относительно «Капитала». Но если «Капитал» Александр не привозил, на чем же тогда покоится заявление биографов, что Владимир начал его изучать? Для лжи нет преград. Она немедленно находит выход. «Капитала» на русском языке в руках Владимира не было, но, будто бы, откуда-то в его руки попал «Капитал» в подлиннике на немецком языке и «если верить воспоминаниям одного (кого?) из товарищей Володи, они начали вдвоем его переводить». А. И. Ульянова, конечно, в это не верит и замечает: «где же было зеленым гимназистам выполнить такое предприятие». Явно расходясь с партийными биографами, она заявляет, что «читать Маркса Володя начал уже в 1888-1889 г. в Казани». Да, в Казани, но не в 1888 году. «Капитал» впервые попал в руки Ленина в *январе 1889 года.* Конечно, для последующих событий эта дата особо важного значения не имеет и всё-таки если хотят устанавливать биографию Ленина, базируясь на фактах, а не на вымыслах, указанная дата столь же важна как, например, и указание, что Ленин родился в 1870 году, а не в 1866 году.

В тесной связи с вопросом, что читал Владимир Ульянов и что его в то время не интересовало—придется снова вернуться к Тургеневу и остановиться на отношении к нему Вл. Ульянова. Персианинов, товарищ Ленина по гимназии, одно время живший пансионером в семье Ульяновых, вспоминал, что он с Володей читал «Анну Каренину» осенью 1883 года, Ленину было тогда 13 с половиной лет. Года через два им была прочитана «Война и Мир». Конечно, он читал кроме того Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова и других авторов, всё-таки, каких-либо больших знаний литературы у него не было. Летом, посвящая всё время удовольствиям и отдыху, он не брал в руки ни одной книги, а зимою тщательное выполнение уроков, с бесповоротным намерением быть в гимназии непременно первым учеником, не оставляло ему много свободного времени для чтения. Его знание литературы, по всем видимостям, не выходило за узкие пределы гимназического курса. *Исключение составлял Тургенев.* Его он действительно знал неизмеримо более, чем это требовалось в гимназии. Никто не говорил, что он читал и перечитывал, например, Гоголя или Льва Толстого, тогда как Тургенева, начав читать с 12-13 лет («Записки Охотника» возможно даже раньше), он не переставал читать и перечитывать все последующие годы. *Это совершенно необычное, настойчивое чтение Тургенева имело ли какое-нибудь влияние на духовную формацию Владимира Ульянова?* Да или нет? Ни один

его биограф этого вопроса не поставил. Все, ни минуты не останавливаясь, прошли мимо него. Вопрос же крайне интересен. Попытка проанализировать его может дать понимание очень многого, — подтвердить отсутствие интереса у Владимира к общественным вопросам, расхождение с ним на этой почве брата Александра и особо тяжелые переживания, испытанные Владимиром, после смерти Александра.

Максим Горький на предложенный ему однажды нами вопрос: — как мог бы он объяснить, что Ленин питал такой большой интерес к Тургеневу, дал следующий ответ. Ленин был типичным русским интеллигентом и такими же типичными русскими интеллигентами были и главные, наиболее видные, персонажи Тургенева. Отсюда у него к ним сочувственное любопытство, как к «экземплярам одной и той же культурной породы». С другой стороны, Ленин обладал совершенно «нерусской чертой» — изумительной силою воли, и этим натура его глубоко отличалась от безвольной психической организации большинства типов Тургенева и резко от них отталкивалась. Подобного притяжения и одновременно отталкивания, симпатии и антипатии, Ленин не ощущал совсем или не с такой силою, читая других писателей, и это объясняет, по мнению Горького, особый интерес Ленина к Тургеневу. Объяснение интересное, но обосновано ли оно? Во-первых, не все видные фигуры Тургенева без воли. Базаров и Инсаров — люди с волей. Во-вторых, если допустить, что Горький прав, его рассуждение можно отнести к Ленину, а не к юноше Владимиру Ульянову. Иначе нужно предположить, что особый интерес, который Владимир Ульянов проявлял к персонажам Тургенева вызывался каким-то смутным, но острейшим предчувствием, что с некоторыми «экземплярами этой культурной породы» потом, когда он станет Лениным, ему придется вести беспощадную политическую борьбу.

Оставив объяснение Горького, подойдем к вопросу с другой стороны. Тургенев, подводя итог своей литературной деятельности за 21 год, т. е. с 1855 года (когда был написан роман «Рудин», затем «Дворянское Гнездо», «Накануне», «Отцы и Дети», «Дым») по 1876 год (создание «Нови») писал, что он стремился — «насколько хватало сил и умения добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в подлежащие типы и то, что Шекспир называет the body and pressure of time (самый образ и давление времени) и ту быстро изменявшуюся

физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно служил предметом моих наблюдений».

Свою галлерею типов этот замечательный писатель представил с редкой проницательностью, добросовестностью и объективностью. Он не виноват, что некоторые «образцы» людей, считавших себя призванными играть большую общественную роль и переустроить Россию, им показаны — одни фигурами симпатичными, но жалкими, другие — трагически беспомощными, третьи, незаслуживающими ни симпатии, ни малейшего уважения. Тургенев их не выдумал. Он нашел их в русской жизни и на них указал. Никакого «пасквиля» на общественное движение, на революцию, он, конечно, не писал, но столь же несомненно, что он не мог вызвать к ней и энтузиазма. Тургеневу, по складу его убеждений, характеру художественного таланта, было чуждо служение «нас возвышающему обману», тем более — роль «буревестника» или трубача революции. В этом смысле он не был «engagé». Отношение радикальной, революционной интеллигенции к Тургеневу было сложным и двойственным: он притягивал к себе, но и отшатывал. Она чувствовала у Тургенева симпатию к ней и ее идеям, однако, видела, что люди которых он описывает, эту симпатию способны заглушить и уничтожить. После смерти Тургенева в издании «Народной Воли» (25 сен. 1883 г.) была помещена статья превосходно резюмирующая отношение Тургенева к революционной интеллигенции и ее отношение к нему. Статья осталась неизвестной не только широкой публике, но даже иным историкам русской литературы, авторам монографий о Тургеневе. Ее полезно здесь воспроизвести, она поможет выяснить, в каком направлении Тургенев влиял на Владимира Ульянова.

— «Мы можем громко сказать, кто был Тургенев для нас и для нашего дела. Барин по рождению, аристократ по воспитанию и характеру, «постепеновец» по убеждениям, Тургенев, быть может, бессознательно для самого себя своим чутким и любящим сердцем сочувствовал и даже служил русской революции. Не за красоту слога, не за поэтические и живые описания картин природы, наконец, не за правдивые и неподражаемо-талантливые изображения характеров вообще — так страстно любит Тургенева лучшая часть нашей молодежи, а за то, что Тургенев был честным провозвестником идеалов целого ряда молодых поколений, певцом их беспримерного, чисто русского, идеализма, изобразителем их внутренних мук и душевной борьбы, — то страшных сомнений, то беззаветной готовности на

жертву. Образы Рудина, Инсарова, Елены, Базарова, Неждановa и Маркелова — не только живые и выхваченные из жизни образы, но, как ни странным покажется это с первого взгляда, — это типы, которым подражала молодежь и которые сами создавали жизнь. Борцов за освобождение родного народа еще не было на Руси, когда Тургенев нарисовал своего Инсарова. По базаровскому типу воспиталось целое поколение, так называемых, нигилистов, бывших в свое время необходимой стадией в развитии русской революции. *Без преувеличения можно сказать, что многие герои Тургенева имеют историческое значение.* Глубокое чувство сердечной боли, проникающее «Новь» и замаскированное местами тонкой иронией, не уменьшает нашей любви к Тургеневу. Мы ведь знаем, что эта ирония не ирония нововременского или катковского лагеря, а сердца, любившего и болевшего за молодежь. Да к тому же, не с подобной же ли иронией относимся теперь сами мы к движению семидесятых годов, в котором, несмотря на его несомненную искренность, страстность и героическую самоотверженность, действительно было *много наивного.* Господами Стасюлевичами, Я. Полонскими и Ко, якобы, друзьями покойного, опубликованы как письменные, так и устные мнения И. С. Тургенева о русской революции, в которую он будто бы не верил и которой не служил. Но мы и *не утверждаем, что он верил.* Нет, он сомневался в ее близости и осуществимости путем геройских схваток с правительством: быть может, он даже *не желал ее* и был искренним *постепеновцем* — это для нас безразлично. Для нас важно, что он служил русской революции сердечным смыслом своих произведений, что он любил революционную молодежь, признавал ее «святой» и «самоотверженной»... Катков с нами согласен. Согласно и правительство, разославшее 17 сентября всем петербургским редакциям циркуляры следующего содержания: — «Не сообщать решительно ничего о полицейских распоряжениях, предпринимаемых по случаю погребения И. С. Тургенева, ограничиваясь сообщением лишь тех сведений по этому предмету, которые будут опубликованы в официальных изданиях».

Итак, авторы из «Народной Воли» с величайшей симпатией говорят о Тургеневе, как изобразителе революционной интеллигенции, ее внутренних мук, душевной борьбы, беззаветной готовности жертвовать собою. Но для них столь же ясно, что он относился с «иронией» к революции и ее участникам, не веря в возможность революции и ее не желая. Даже при-

знавая, что в революции есть ее воодушевляющий «беспримерный чисто русский идеализм», Тургенев всё-таки самым решительным образом был против революции. Мы утверждаем, что когда Владимир Ульянов «читал и перечитывал» Тургенева, именно вот эта «против революции» сторона произведений Тургенева и имела на него большое влияние. Проверяя предположение, бросим взгляд на романы Тургенева, постоянно «перечитывавшиеся» Ульяновым.

Оставим «Дворянское Гнездо», о нем уже говорилось. Относительно «Накануне», восторженно принимавшегося революционной интеллигенцией, нужно сказать, что до 1888 года (исключения Владимира Ульянова из Казанского Университета и высылки в Кокушкино), эта вещь в Симбирске совершенно не привлекала его внимания. Об этом сам Ленин говорил Воровскому. Она «ударила его как молния» только в 1888 году, когда он стал читать «Накануне» «серьезно» с комментариями Добролюбова[1]. «До этого времени, пояснил Ленин, я относился к «Накануне» чисто ребячески. То обстоятельство, что главное лицо романа Инсаров — болгарин, уроженец какой-то маленькой, неинтересной, захолустной страны, а не русский, не француз, не немец или англичанин, словом, не уроженец «великой страны», люди которой могут быть взяты как пример — делало для меня «Накануне» и менее интересным и менее поучительным, чем другие романы Тургенева — «Рудин», «Новь», «Дым». Малое внимание к «Накануне» возможно объяснить и таким фактом. Во время войны России с Турцией за освобождение балканских славян — тогда мне было семь лет — моя нянька, у которой родственники были взяты на войну и некоторые из них там убиты, постоянно с плачем говорила: «русская кровь зря льется из-за каких-то нам чужих, проклятых болгар. На что они нам, у нас самих забот по горло». Не исключено, что такое внушение няньки, с которым, насколько помню, совпадало отношение к этой войне и моих родителей, как-то влезло в меня, и держась бессознательно, надолго убило интерес «к болгарину» из «Накануне».

Объяснение Ленина мне кажется искусственным. Здесь Ленин видимо скрытничал. Не проще ли признать, что «Накануне» потому и было от него далеко, что до лета 1887 года он не испытывал ни малейшего интереса к общественной, а тем более, революционной деятельности?

---

[1] См. Н. Валентинов: «Встречи с Лениным» (стр. 109).

Нет никаких и ни с какой стороны указаний, чтобы судить как Владимир Ульянов относился к третьему роману Тургенева «Отцы и Дети». Его брату Александру, поглощенному естественными науками, возившемуся с козявками, червями, лягушками, был, конечно, очень по душе тургеневский Базаров, ловивший для своих опытов лягушек, разных насекомых и даже нашедший «редкий экземпляр водяного жука — dijtiscus marginatus». Но то, что в естественнике Базарове должно было нравиться Александру Ульянову, хотя он не мог согласиться с Базаровым (Писарев его в том же не убедил), что произведения Пушкина «ерунда» и «Рафаэль гроша медного не стоит», возможно Владимира Ульянова как раз и отталкивало. Он не любил естественных наук. Эксперименты же, практикуемые его братом и главная область, которой тот интересовался — препарирование лягушек, коллекция разных видов червей, возня и наблюдение над ними, у Владимира вызывали отвращение. На этот счет у нас есть прямое свидетельство самого Ленина. Когда дети Ульяновы были маленькими, родители им запрещали кататься в Симбирске по Свияге на лодке без старших, обычно без Александра, на четыре года старшего Владимира. Младший Ульянов, Дмитрий, с большим удовольствием усаживался в лодку с Александром. Владимир же, несмотря на желание покататься, от этого часто отказывался. Он знал, что в каждой такой прогулке Александр начнет непереносимые для Владимира розыски разных гадких обитателей воды. Ленин говорил, что он никогда не пробовал ловить рыбу удочкой, так как для этого нужно было насаживать червя на крючок, а к червям у него было отвращение, почти идиосинкразия.

Исключив три перечисленные романа Тургенева, останутся «Дым», «Новь», «Рудин». Конечно, нельзя сказать, что только их «читал и перечитывал» Владимир Ульянов, но несомненно, что он их читал много раз, очень внимательно и усердно. Об этом неоспоримо говорит тот факт, что и через два десятка лет (его товарищи этого не замечали) он часто пользовался словами и образами именно из этих романов. Характеристику, например, Ворошилова из «Дыма» знал почти дословно.

На какие мысли могли его толкнуть эти романы? В «Дыме», разумеется, привлекали внимание не только любовные отношения Ирины и Литвинова. Из романа нельзя вычеркнуть фигуры Губарева, Суханчиковой, Ворошилова и других. Все они воображают себя людьми передовыми, говорят о револю-

ции, будущности России, Лассале, ассоциациях, артелях, общине, положении крестьян, о пролетариате, национальностях и т. д. Однако, эта «авангардная» публика такова, что кроме презрения и насмешки ничего другого вызвать не может. «Глава и наставник» этих общественных деятелей — Губарев. Он «славянофил, и демократ, и социалист». Он «всему матка», «первенствующее лицо», от «него ждут указаний». Ему излагают свои сомнения, повергают их на его суд, на что Губарев отвечает «мычанием, подергиванием бороды, вращением глаз или отрывочными, незначительными словами, которые тотчас же подхватывались на лету, как изречения самой высокой мудрости». Убеждения Губарева самые «благороднейшие», а когда на почтовой станции ему нескоро подают лошадей — от губаревского «демократизма и социализма» ничего не остается и Губарев кричит: — «Мужичье поганое! Бить их надо, по мордам бить, вот какую им свободу — в зубы».

«Дым» Тургенева, с включенными в него едкими речами Потугина, дает злую каррикатуру на не выдуманный, а несомненно существовавший в России особый слой людей, прикасавшийся к революции и даже каким-то боком в нее входивший. Для Тургенева эти люди — «дым, дым и больше ничего». Какие мысли у 15 и 16-летнего Владимира Ульянова могло пробудить чтение этого романа? Конечно, не вкус к общественной деятельности. «Дым» мог его только притупить. Фигуры «Дыма», — в частности, Суханчикова и особенно Ворошилов, навсегда вошли в его память как типы, заслуживающие крайнего презрения. Кличка «Ворошилов» в его глазах сделалась сильнейшим оскорблением и мы знаем сколь часто в своих сочинениях Ленин наклеивал ее на своих противников.

Возьмем другой роман «Новь». Нежданов, Марианна, Маркелов, дети дворянских гнезд, идут в народ. Они убеждены, что их долг быть в рядах угнетенного, несчастного, страждущего крестьянства. Марианна хочет «опроститься», носить крестьянские платья, ходить босиком, «пожертвовать собою», служить народу, слиться с ним. Тургенев ничего не выдумывает. В 70-х годах сотни таких идеалисток Марианн пошли «в народ». Нежданов и Маркелов думают, что в русской жизни налицо все условия для социальной революции. Несколькими речами, зажигательными возгласами — «за свободу, вперед!» — они надеются поднять крестьянство на восстание. Здесь нет никакой выдумки. Вроде этого рассуждал не один только Бакунин. Встреча пропагандистов с народом оказалась плачевной. Кое-

кого, например, Маркелова, крестьяне, предварительно выпив с ним водки, связывают и передают полиции. Разочарованный в результатах пропаганды Нежданов кончает самоубийством.

«Вот уже две недели, пишет он другу, как «я хожу» в народ и, ей-ей, *ничего глупее и представить себе нельзя*». «Да, наш народ спит, но сдается, если что его разбудит это будет не то, что мы думаем».

Замечание умное.

Разочарован и арестованный крестьянами Маркелов, но, после неудачи его пропаганды, у него рождаются особые мысли: — «Не так я принялся. Надо было просто командовать, а если бы кто воспрепятствовал, стал упираться, пулю ему в лоб. Тут разбирать ничего. *Кто не с нами, тот права жить не имеет*».

Какие выводы из «Нови» мог делать в Симбирске «юноша с калмыцкими скулами и глазками», как в своем памфлете Чириков называет Владимира Ульянова? Какие у Ульянова мысли будут позднее — мы знаем. В 1919 году он скажет лишь немного измененными словами тургеневского Маркелова: «Ты за кого? За революцию или против? *Ежели против — к стенке*». В Симбирске он, конечно, так еще не рассуждал. Подобная мысль юному Ленину была абсолютно чужда. Печальная картина попытки делать революцию, нарисованная «Новью», могла лишь укреплять во Владимире Ульянове его равнодушие к общественным вопросам. Почти с уверенностью можно сказать, что из «Нови» он, вместе с Неждановым, делал вывод, что «ей-ей, *ничего глупее* этого хождения в народ и представить себе нельзя». В этом он сильно расходился с своим братом Александром. Тот, по свидетельству А. И. Ульяновой, относился очень отрицательно к выводу Нежданова.

Обратимся к третьему роману «Рудин», заметив мимоходом, что герои его — типы не только 40-х и 50-х годов. Черты Рудина можно было и позднее, в течение многих десятилетий, наблюдать у русской интеллигенции всех политических оттенков. Рудиных было много и в 1917-1918 гг. Плеханов, весьма не любивший Ламартина, называл их «ламартинками». Главные помыслы тургеневского Рудина обращены к будущему. Он умеет и любит со страстью говорить о будущности человечества, высоких идеалах, правде и пр. Его слушают с восторгом, у слушателей пылают щеки, бьется сердце. Но это «слова, слова, а дела не было». У Рудина много блеска и большой внешней убежденности и нет глубокого, настоящего знания. При-

обретение большого знания требует от человека больших усилий, а Рудин ленив. У него лишь легко приобретенные красивозвенящие абстрактные формулы, при столкновении с жизнью, оказывающиеся пустыми. Тургенев особенно упрекает Рудина за то, что тот своей страны не знает. «Строить он никогда не умел». Строить значит преодолевать препятствия, а на это у Рудина нет воли. Пред препятствием он теряется: «В нем натуры, крови нет». Его «как китайского болванчика постоянно перевешивала голова». В минуту самоанализа он признается: «природа мне много дала, но я умру не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за собою никакого благотворного следа». Тот же тип Рудина, одновременно с Тургеневым, Некрасов очертил в лице Агарина в поэме «Саша»:

Любит он сильно, сильней ненавидит,
А доведись — комара не обидит...
Ныне не знает, что завтра сожнет,
Только наверное сеять пойдет.
Это в простом переводе выходит,
Что в разговорах он время проводит.

Ничего не сделав прочного и полезного в России, Рудин каким-то образом и неизвестно почему оказывается за границей и в июльские дни 1848 года погибает от пули на баррикадах в Париже. Никто даже не знает кто он, откуда. Да и сам Рудин, вероятно, не смог бы убедительно объяснить почему он здесь? Фигура Рудина, разумеется, не могла внушить к себе уважение самоуверенному, заносчивому, дерзкому и волевому юноше Владимиру Ульянову. А отсутствие уважения к тем, кто, как Рудин, представлял «общественное дело», даже сражался за него на баррикаде, должно было укреплять у Владимира Ульянова мысль, что вообще всё это дело, т. е. в том числе и хождение в народ Марианны и Нежданова — *глупость*, *дым* или «*гиль*», как тогда любил говорить юный Ульянов.

Казенные биографы, как мы уже видели, лгали, выдумывали сказки, силясь для прославления Ленина доказать революционность его с ранних лет. Никакого интереса к общественным вопросам он не проявлял, никаких следов политических убеждений не имел и книгами социально-политического содержания, имевшимися у брата, не интересовался. Пробудить у него интерес к общественным вопросам тургеневские Рудины, Неждановы, Губаревы, Ворошиловы ни в коей мере не могли. Отсутствие у Тургенева, которого он так усердно читал, веры

в революцию, его ироническое и подчас жалостливое, скептическое отношение к ее участникам, совпадая с общественным индиферентизмом Владимира Ульянова, лишь укрепляло в последнем убеждение, что это дело действительно «дым» и «гиль». И если бы не случилось одно событие — Владимир Ульянов, вероятно, никогда бы не стал Лениным. Какое это событие? Покушение на царя Александра III, участие в нем брата Александра, казнь брата. На всё, что с этим связано, нужно обратить максимальное внимание. Тут мы у истоков формирования той исторической личности, которая, проклинаемая одними и воодушевляя других, наложила на весь мир свою печать.

Н. Валентинов

АГРОНОМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В своей программе преодоления сельскохозяйственного кризиса советская власть выдвигает на первое место «повышение уровня руководства сельским хозяйством», и характернейшей чертой последних полутора лет является принятие решительных мер в этом направлении.

Проводится массовая отправка на машинно-тракторные станции (МТС) и в колхозы агрономов и других специалистов, работавших до сих пор в разного рода управлениях и промышленных предприятиях. Спешно расширяется сеть, и усиливается пропускная способность высших и средних сельскохозяйственных школ. Положен конец традиционному оседанию выпускаемых вузами сельскохозяйственных (как впрочем и других) специалистов в канцеляриях: по только что изданному закону, их запрещено принимать на управленческую работу; каждый, кто получил диплом, обязан немедленно отправляться в деревню и служить там «на производстве» «не менее трех лет».

В то же время улучшается служебное положение сельскохозяйственных специалистов. Колхозные агрономы зачисляются в штаты ведающих соответственными колхозами МТС, и освобождаются таким путем от подчинения председателям колхозов, в которых они до сих пор находились. Их «указаниям» по агрикультурной части придан характер приказа, подлежащего со стороны колхозных властей беспрекословному выполнению и могущего быть отмененным только главным агрономом МТС. В свою очередь, главный агроном МТС сделан независимым от директора МТС и наделен — в своей специальной области — диктаторскими правами. Если бы между ним и директором возникло разногласие, спор компетентна решать только высшая местная административная инстанция: областное управление сельского хозяйства.

Приняты также меры к тому, чтобы облегчить работу агронома обеспечивая ему бо́льшую, чем до сих пор, помощь со стороны среднего и низшего технического персонала. В положении трактористов, бригадиров тракторных бригад и других

ближайших исполнителей распоряжений агронома произведены того же рода перемены, что и в его собственном: непрерывно пополняется их состав, — за счет «добровольного» возвращения рабочих-механиков из города в деревню и усиленного проведения деревенской молодежи через специальные курсы; разными способами повышается их квалификация; они зачисляются на постоянную службу в МТС и получают здесь, помимо всего прочего, «гарантированное» натуральное и денежное вознаграждение, о котором не смеют мечтать колхозники...

Задача настоящего очерка — поставить вопрос: способны ли все эти и другие подобные мероприятия привести к цели?

В несоветских условиях этот вопрос звучал бы странно: как можно не быть уверенным в благотворности укрепления культурной головки деревни? Но в Советском Союзе всё по-своему. Советский агроном во многом представляет собой совсем иную фигуру, чем его дореволюционный собрат. Условия, в которых ему приходится вести работу, невыразимы в дореволюционных терминах. Реальный бытовой смысл процессов, развивающихся на почве спешного улучшения руководства колхозами, далек от того, какой мы легко можем вложить в них, исходя из дореволюционных представлений. Поэтому не задуматься над тем, к чему обещают привести перечисленные мероприятия, и принять за само собою разумеющееся, что благие намерения советской власти не могут не увенчаться благими результатами, значит не отнестись к ним с тем вниманием, какого они заслуживают.

Учтем прежде всего бытовую обстановку, ожидающую в деревне агронома и всякого другого специалиста. Как встречают его, и как к нему относятся местные заправилы?

Станем на точку зрения последних. Агрономия, конечно, важная вещь в колхозном деле, но несравненно важнее «твердая политическая линия». Агроном несомненно кое-что знает. Но он не знает самого главного: как надо обращаться с колхозными лодырями. Не только не знает, но и не хочет знать, а, когда знает, не склонен применять своего знания на деле. Поэтому толку от него мало. Хорошо, когда он есть, но, если до того дойдет, можно обойтись и без него. Суть не в том, *что* родит земля, — земля всегда что-нибудь родит, — а в том, как заставить колхозника работать, и что отобрать у него.

При такой расценке административно-хозяйственной годности агронома совершенно естественно, что на него смотрят на местах свысока, как на наивного простака, книжного мечтателя, которого надо долго и упорно учить, чтобы от него была какая-нибудь польза.

«Почти все они работали в райсельхозотделе, и у некоторых главной была забота о рабочем столе в конторе колхоза», — снисходительно замечает о только что направленных в деревню агрономах симпатичный и доброжелательный председатель колхоза в очерке М. Беляева «Соседи» (Сел. Хозяйство, 6 июля 1954). — «Это нужно; но быть агроному на производстве — главное. Распределили их по бригадам. Да разве это всё? Надо направлять их работу, помогать».

«Если бы моя воля была», — со злобным презрением заявляет в том же очерке председатель противоположного душевного склада, — я поставил бы агрономов МТС под начальство колхозного полевода. Пусть он ими командует, следит за выполнением агротехнических мероприятий. Тогда дело пойдет» — «Полевод? Зачем он нужен, да и кто он — агроном?» — «Нет, четыре класса имеет, зато дело знает. Это свой человек, колхозный. Моя правая рука. Организатор». — «А агрономы — чужие люди?» — «Чужие — не чужие, но не колхозники, а тут свой глаз нужен».

Презрение к агрономам за их «политическую» наивность обостряет у местных заправил общую антипатию, непроизвольно возникающую у них по отношению к агрономам (и другим специалистам), в связи с ощущением собственной малоценности, обидой на начальство за его усиленное подчеркивание важности и даже «благородства» агрономической работы (как будто их собственная работа ничего не стоит!), непереносимостью самого факта появления на «их полях» каких-то чужаков, которые «всюду суют свой нос, всех теребят, ко всем пристают». Тем более, что агрономами очень часто оказываются женщины, обычно молодые девицы, только что кончившие вуз.

Вместе с тем на почве презрения и зависти возникает потребность дать агрономам самим почувствовать свою малоценность. Возможность сделать это всегда есть, ибо, какими бы правами власть ни наделяла специалистов, фактическими распорядителями средств и сил МТС и колхозов являются не они, а руководители последних.

В какое положение попадает, благодаря всему этому, очу-

тившийся «на производстве» агроном, легко понять уже по одному тому, что газеты то и дело напоминают о необходимости проявлять к специалистам «больше заботы».

«Имеют место случаи формального отношения к посылке людей в деревню, — жалуется передовик «Правды» (15 дек. 1953). — Подписан приказ о назначении специалиста в МТС, — и с плеч долой. А как его приняли там, хорошо ли он устроился, областные организации не беспокоятся». «Прямой долг комсомольских комитетов — окружить заботой молодых специалистов, прибывших в колхозы», — в то же самое время напоминает своим читателям «Комсомольская Правда» (27 ноября 1953)... — Уже есть случаи, когда районные организации направили агрономов в колхозы и забыли о них: живи, как знаешь... Выявлять такие факты, устранять их — дело комсомольцев»...

Очень показательны также заявления вроде следующего: «Нет спора, на первых порах кое-кому, приехавшему в село, выпадут нелегкие минуты и дни. Зачем нам обманывать себя? Жизнь есть жизнь, не всё в ней гладко... Однако... если кто поколеблется в трудную минуту, пусть мысленно проделает путь, который мы прошли от штурма Зимнего Дворца. История — хороший учитель во всех случаях». (Н. Грибачев, в «Правде» 8 ноября 1953).

Испытания, постигшие агрономов, в связи с неприязненным отношением к ним местных властей, касаются, главным образом, их «бытового», и в первую очередь квартирного, устройства. Найти свободную избу и достать дров — вещь абсолютно немыслимая в деревне без помощи директора МТС или председателя колхоза. Ясно, какую широкую возможность открывает это для них обоих, чтоб «ставить на место» не понравившегося им агронома и показывать ему, что «грош цена тому специалисту, который приедет в деревню и будет кичиться своим высоким положением: Вот, мол, я какой ученый! Почитайте за счастье, что снизошел до вас!» («Ком. Правда», 23 ноября 1953).

Но очень часто саботаж местных властей распространяется и на область профессиональной деятельности агронома. Формы его многоразличны.

Невиннейшая из них, хотя, может быть, особенно обидная, это лишение агрономов средств передвижения. Например, «не заботится об обеспечении специалистов транспортом» директор Журавской МТС, Ставропольского края. «Агрономы МТС,

т.т. Темченко, Изотова, Нечаева, — агроном-мелиоратор, шелковод, энтомолог, — затрачивают много времени на пешие переходы или поиски попутного транспорта. В МТС имеется десять лошадей, но директор отказывается выделить хотя бы одну повозку для разъезда специалистов. «Ходите пешком, — советует он агрономам, — это хороший вид спорта». (Сел. Хоз., 19 июня 1954).

Самый серьезный, по его последствиям для агрономов, вид саботажа заключается в систематических служебных придирках к нему и безосновательном увольнении. До чего иногда дело доходит в этом отношении, видно из примера директора Чернацкой МТС, Сумской области, К. Н. Дуленко. «За два года пребывания К. Н. Дуленко у кормила власти, в Чернацкой МТС уволили по разным мотивам 20 агрономов, 4 зоотехников и 7 инженеров и техников-механиков... За эти два года почти каждый месяц один специалист (а иногда и двое), сложив свои вещи в чемоданы, когда на подводе, а чаще пешечком покидали негостеприимные стены Чернацкой МТС, в результате того или другого конфликта с ее директором». (Правда, 1 июля 1954).

Среднюю и наиболее распространенную форму саботажа составляет игнорирование присвоенных агроному прав и отказ от выполнения его «предложений». Три факта из деятельности т. Архипова, председателя колхоза имени Калинина в Дергачевском районе Саратовской области. (С. Х-во, 6 июля 1954):

«Агроном предложил пропустить просо через сортировку и пришел к Архипову с горстью проса, — показать. Тот посмотрел: «Отставить! Ждите указаний!» Прошла неделя, две, три, указаний нет, просо к весне не отсортировано».

«Пытались агрономы обсудить производственный план в бригадах. Им сказали: «Ждите, пока приедет член правления колхоза». Начался сев, а в ряде бригад план так и не обсудили: из правления никто не соизволил быть».

«Собирались прошлой весной сеять рожь, а семена были некондиционные, потому что семенной фонд ржи Архипов распорядился сдать в госпоставки. Агроном, Нина Загуменнова запретила сеять, — председатель не послушал; она обратилась в райисполком, — и тот не смог воздействовать на Архипова: посеяли испорченное, залежалое зерно. Всходов почти не было. Тогда председатель накинулся на агронома: «Вон с моих полей! Не нужны мне бездельники!»

На ущемлениях и утеснениях агронома, не обнимаемых указанными категориями, излишне останавливаться. Из сказан-

ного и без того ясно: по своему бытовому положению, направляемый в деревню агроном мало похож на полевого диктатора, на властного технократа, каким бы он должен был быть, чтобы возглавлять объявленный Кремлем крестовый поход против агрикультурных зол, разлагающих сельское хозяйство.

Убогим бытовым положением агронома не исчерпываются обстоятельства, которые надо иметь в виду при решении занимающего нас вопроса. Надо еще учесть специфический стиль колхозной работы, общий характер ведения хозяйственных дел, не зависящий ни от агронома, ни от деревенской администрации, предопределяемый всем существом колхозного строя и, пока существует последний, абсолютно непоколебимый. Как действует он на посылаемого в деревню и, допустим, энтузиастически настроенного специалиста?

Ставка на «повышение уровня руководства» не ослабляет разъедающей колхозную работу канцелярщины, хотя власть и пытается принять в этом направлении кое-какие меры. По свидетельству Хрущева, «каждый колхоз в течение года представляет в районные органы сельского хозяйства (во всяком случае год тому назад обязан был представлять! Д. И.) отчетные данные примерно по десяти тысячам показателей». (Комсом. Правда, 16 сент. 1953). Не ослабляет она и значения отчетности, как мерила служебного усердия колхозной администрации. Представить хороший отчет или дать удачную справку так же важно для директора МТС или председателя колхоза, как достигнуть какого-нибудь действительного успеха в деле. Иногда это бывает даже важнее.

Естественно, что основное направление, в каком на местах стремятся использовать агронома, это пристроить его по канцелярской части. И так он обычно и пристраивается. Он бывает, конечно, на полях, особенно в горячие дни посева, жатвы и поставок, но большую часть времени он проводит за столом. Не случайно статьи, посвящаемые в газетах работе агрономов, часто носят заголовки вроде следующих: «Из одной канцелярии в другую» (Известия, 1 декабря 1953), «Живое дело подменяется канцелярщиной». (Правда, 4 августа 1954), «Видеть главное в работе!». (Правда, 7 авг. 1954) и т. п.

И было бы ошибкой думать, что за столом агроном занимается делами, непосредственно связанными с агрикультурным руководством. Наряду с последними, и гораздо больше, чем на

последние, ему приходится тратить время на то, что только отдаленно касается или совсем не касается задач и хода полевых работ. Явное возмущение этим (пусть даже не вполне искреннее) чувствуется в такого рода картинке с натуры.

«Тов. Обертинский (направленный на производство агроном. Д. И.) побыл два дня в колхозе и уехал. — Где же он? Быть может, его плохо встретили, квартиру не предоставили? — И квартиру предоставили, и топливо хотели было подвезти, но вот не возвращается. — Да вы справьтесь в МТС!.. ...Заходим в контору (МТС). Комната тесно заставлена столами. За ними сидят люди и пишут. Щелкают костяшки счетов, непрерывно звонит телефон. Ну, точь-в-точь прежнее управление сельского хозяйства и заготовок! Здесь-то мы и встретили тов. Обертинского, — в новой должности диспечера. Неподалеку от него склонилась над мертвым бумажным полотном агроном Елена Васильевна Возняковская. Ее послали в колхоз «Перемога», но оказалась она в МТС на должности плановика». (Известия, 1 дек. 1953).

Не устраняет ставка на повышение уровня руководства и тех обстоятельств, которые делают второй конститутивной особенностью колхозного ведения дел — гомерическую неряшливость.

Предписываемый колхозу объем работы остается после массовой отправки специалистов на производство всё так же физически невыполним, как и раньше. Колхозники по-прежнему работают только из-под палки. От колхозных руководителей требуется, для достижения сколько-нибудь сносного успеха, всё то же нечеловеческое напряжение воли. Характернейшей чертой трудового процесса всё так же оказывается всех изнуряющая и всё ставящая вверх дном штурмовщина.

Какими бы знаниями ни обладал агроном, и каким бы производственным энтузиазмом он ни был заряжен, он не может не поддаться разлагающему влиянию подобного рода обстановки; тем более, что эта обстановка действует на него сразу в двух направлениях. С одной стороны, она отбивает у него охоту добросовестно относиться к делу, ибо ему достаточно побыть на производстве два-три месяца, чтобы убедиться в совершенной немыслимости что-нибудь сделать, что мало-мальски отвечало бы затрачиваемым усилиям. С другой стороны, она прямо вынуждает его работать небрежно, ибо, только работая заведомо небрежно, он в состоянии, с грехом пополам, выполнить предписываемый ему круг действий.

Проходит немного времени, и волей-неволей агроном раз навсегда усваивает метод «формального подхода» к своим обязанностям. Неряшливость и прямая недобросовестность неотвратимо становятся такой же неотъемлемой чертой его деятельности, какой она является в деятельности колхоза в целом и каждого отдельного колхозного работника. Никакое бытовое обеспечение, никакая доброжелательность со стороны местной администрации, никакое освобождение его от канцелярских дел не может предотвратить этого.

Замечательно, что в сообщениях, поступающих с мест относительно агрономов, на первый план выдвигается именно это обстоятельство.

Агрономам ставят в вину многое. Они «не проявляют инициативы»; «трудятся не в полную меру своих сил»; «возрождают старую практику, большую часть времени проводить за столом»; «не принимают мер к тому, чтобы организовать отличный уход за посевами»; «относятся к работе безответственно». Вообще «положение со специалистами таково, что о нем стоит поговорить в партийном порядке».

Но чаще всего и больше всего корреспондентов с мест возмущает то, что агрономы «слабо организуют контроль за качеством работы» и «примиряются с недостатками». Вот несколько характерных сообщений.

«В Ростовской области, в колхозе имени Сталина, ...в присутствии главного инженера МТС... и главного агронома... было посеяно 27 гектаров подсолнечника по плохо подготовленной почве неотремонтированной сеялкой, без проведения прямолинейности хода посевного агрегата, при неправильно проведенной контрольной линии». (Сел. Хоз-ство, 24 апреля 1954).

«В колхозе имени Молотова посев яровой пшеницы на 125 гектарах был проведен по плохо разработанной (!) почве, с огрехами: около трети семян осталось на поверхности почвы незаделанными. Агроном МТС тов. Шило, работающий в этом колхозе, не принял необходимых мер к устранению нарушений агротехники». (Там же).

В одном из колхозов Желявской МТС, Орловской области, «мы видели плохо обработанную зябь. На поверхности почвы образовались большие комья затвердевшей земли, корневища незапаханного пырея покрывали участки. При посеве диски сеялок забивались корневищами и переставали вращаться. Значительная часть семян оставалась на поверхности почвы. Ха-

рактерно, что перед началом посева на участке побывал агроном МТС тов. Аксенова, обслуживающий (!) колхоз. Однако, он не только не устранил грубейших нарушений агротехники, но даже не сделал замечаний бракоделам. Подобные нарушения агротехники имеют место и в других колхозах, обслуживаемых Желявской МТС». (Правда, 16 мая 1954).

В зоне Володарской МТС, «несмотря на массовое нарушение агротехники за период весенних работ, не было случая, чтобы тот или иной специалист забраковал работу хотя бы одного бракодела». (Там же).

Но что самое главное, ставка на повышение уровня руководства не меняет принципиального существа задач, возлагаемых на агронома, и не расширяет отводимой ему области влияния.

Агроном, как было до сих пор, так и остается не доктором «от полеводства», а фельдшером, если не санитаром. Остается и обречен оставаться и впредь, ибо, если бы даже советская власть и хотела, она не может позволить ему подняться выше.

Сделать из агронома сколько-нибудь независимую и авторитетную фигуру значит пробить брешь в системе централизованного руководства сельским хозяйством и тем положить начало процессу, конец которого может оказаться роковым для царящего в Союзе хозяйственного строя. Советской власти нельзя пойти на это. Она должна сохранить в своих руках неограниченный контроль над деревней; должна быть уверена, что ее предписания не натолкнутся здесь на критику и не подвергнутся изменениям; должна в каждый данный момент знать, что, какой бы план она ни объявила, все, как один, местные работники будут из последних сил стремиться выполнить его и перевыполнить. В соответствии со всем этим раз навсегда и определяется ее отношение к агроному.

Агроном начисто отстраняется от всего, что в его области связано с творчеством и инициативой. Его положение можно кратко охарактеризовать так, что ему, с одной стороны не о чем, а, с другой стороны, некогда думать.

Агроному не о чем думать, ибо всё, что требует в его деятельности раздумья и выбора, авторитарно устанавливается высшими инстанциями. Эти последние, а не он, определяют ближайшую и отдаленную цель каждой очередной агрикультурной кампании и ее общую технико-организационную уста-

новку. Они, а не он, решают, какие, в какой последовательности и в каком объеме должны быть проведены работы, и как конкретно надо проводить каждую из них. Даже приемы выполнения отдельных технических операций в значительной мере изымаются из сферы ведения агронома, и он и здесь обязан не думать, а без рассуждения выполнять соответствующие предписания (например, в одних случаях обязательно применять «квадратно-гнездовой сев», в других «перекрестный», в третьих пользоваться «торфо-перегнойными горшочками» и т. д. без конца). В общем итоге в течение года высшие инстанции освобождают таким путем агронома от обязанности думать и связывают его готовыми предписаниями не меньше, чем в 200-250 различных направлениях, как заявил об этом на сентябрьском Пленуме 1953 г. Хрущев. (Комс. Правда, 16 сент. 1953).

С другой стороны, у агронома нет ни времени, ни сил думать. Одно или сразу несколько из 200-250 предписаний всё время стоят перед ним. Он не мог бы мысленно отвлечься от них, если бы даже они были идеально слажены и допускали спокойный переход от одного к другому и мирное выполнение каждого в отдельности. Но они еще так переплетаются одно с другим и в каждый данный момент так одно другому мешают, что их можно выполнять только в штурмовом порядке, т. е. забывая обо всем на свете, кроме того, что непосредственно делается.

Создающееся таким путем положение обостряется еще тем, что агроном сам не склонен расширять свои функции за пределы пассивного исполнительства.

Ради чего стал бы он проявлять инициативу и вообще работать не за страх, а за совесть? У него были бы к этому основания только в том случае, если бы он верил в разумность получаемых им предписаний и уважал дело, к которому приставлен.

Но он не верит в то, чего от него требуют, потому что не видит веры у самих требующих инстанций. Агрикультурная политика в СССР всё время меняется; в ней нередки даже скачки от одной установки к другой, прямо противоположной. Как раз последние годы ознаменованы этого рода метанием из стороны в сторону.

До 1954 года неистово проповедывался посев многолетних трав; в 1954 году на многолетние травы был объявлен поход, и самое упоминание о них исчезло из сообщений с мест и официальных отчетов. До марта 1954 года ставка делалась на

интенсификацию хозяйства; с конца марта лозунгом дня становится экстенсивное расширение производства, — за счет распашки неиспользуемых пахотоспособных земель, в первую очередь в Средней Азии и Сибири, а затем на всем пространстве СССР. До смерти Сталина официальной гордостью советской агрономии было насаждение полезащитных лесов и повсеместное рытье прудов; после Сталина то и другое внезапно сошло со сцены. И так, в большом и малом, всё время.

Как может у агрономов создаться впечатление, что ведающие ими инстанции знают, чего хотят, и исходят из какой-то обдуманной, надежной, надолго вперед рассчитанной программы? И как могут они, следя за зигзагами агрикультурной политики, уберечься от ощущения, что каждый очередной зигзаг есть просто очередная блажь верхов, которая неминуемо сменится в скором времени новой блажью, и к которой не стоит относиться серьезно?

И еще меньше, чем верой, способны агрономы проникнуться уважением к своему делу.

Нельзя уважать дело, при котором приходится сознательно наносить вред организации, в интересах которой дело формально ведется. А агрономы вынуждаются к нанесению вреда колхозам очень часто. Достаточно указать, что, под давлением сверху, они из года в год истощают колхозную землю, воздерживаясь от введения правильных севооборотов; известно, что эта последняя операция ведет в первое время к сокращению площади под зерновыми хлебами, а сократить зерновые посевы значит совершить, с точки зрения власти, непростительное преступление. Стоит также вспомнить, на какие сделки с совестью вынуждены были итти агрономы в связи с только что отмеченными колебаниями агрикультурной политики власти: сеяли многолетние травы там, где им совсем не место; потом беспощадно уничтожали травополье в областях, где оно являлось вернейшим способом оздоровления колхозного хозяйства; сажали полезащитные деревья, прекрасно зная, что все или почти все они должны засохнуть. А сейчас смоленские и минские агрономы с серьезным видом «делают опыты» по внедрению на своих полуболотистых землях т. н. Мальцевской системы обработки почвы, которая, как им хорошо известно, может дать хорошие результаты только в пустынных засушливых районах...

И вот слепое исполнительство входит в плоть и кровь агронома. Равнодушие к существу выполняемой работы; сосредоточение внимания исключительно на внешней, технической

стороне последней; услужливая готовность делать, что угодно, лишь бы оно было предписано, кем следует; стопроцентное отсутствие чувства ответственности за результаты, — все эти черты становятся конститутивными признаками его деятельности. Он раз навсегда становится в своей области, — в лучшем случае фельдшером, в худшем — санитаром. Но он никогда не может сделаться и, пока существует колхозный строй, ничуть не хочет стать доктором.

Надо ли подчеркивать, как это суживает возможность каких-либо положительных достижений от всей акции «повышения уровня руководства сельским хозяйством». Недаром советские источники воздерживаются говорить что-нибудь хорошее о результатах первого года ее проведения.

Д. Иванцов

О ВЫШИНСКОМ

На советском Олимпе никогда не было привлекательных фигур. Это было всегда сборище способных и ловких, но в той или иной мере отталкивающих персонажей. Все они были фальсификаторами, клеветниками, мракобесами, циниками и лицемерами. Некоторые из них были и убийцами, посылавшими на казнь дальних и ближних, иногда вчерашних своих товарищей. И всё это — якобы во имя прогресса, мира, свободы и счастья на земле. Покойному Вышинскому были свойственны многие из черт, характерных для Ежова и Жданова, Маленкова и Сталина. Но вместе с тем ему было присуще и нечто, отличавшее его от них.

Среди советских олимпийцев он выделялся своим происхождением и образованием и, главное, тем *вкладом*, который внес в так называемую «советскую цивилизацию». Рядом с самоучками и недоучками, Вышинский был человек с законченным юридическим образованием. И при скудости профессиональных ученых среди большевиков и среди тех, кто к большевикам пристали, Вышинскому удалось сравнительно быстро и легко добиться и научного признания, и высших академических степеней и должностей. Он стал учителем права, профессором и ректором Московского университета, потом членом Академии Наук СССР и главой Института Права.

Во время своей университетской деятельности в 25-28 годах Вышинский свел очень полезное для своей будущей карьеры знакомство с молодым Маленковым, тогда членом секретариата Ц. К. компартии и агентом связи с коммунистическими ячейками учащих и учащихся в высших учебных заведениях Москвы. Может быть, этому случайному, но счастливому для него знакомству Вышинский обязан и тем, что был призван руководить всякого рода чистками, и тем, что, несмотря на свое «подмоченное» меньшевистское прошлое, уцелел, когда Ягоду «вычистил» Ежов, Ежова — Берия, а последнего — Маленков.

Вышинский приобрел всероссийскую известность, как пристрастный судья и беспощадный обвинитель. Его имя стало нарицательным. Им пугали детей и взрослых, виновных и не-

винных. Он оскорблял, кричал и издевался над подсудимыми, измученными физически и морально. Приблизительно такое же обращение Вышинский усвоил, когда стал выступать на международных совещаниях и в Генеральной Ассамблее ОН. И здесь он не стеснялся в выражениях: «поджигатели», «лакеи», «канибалы», «убийцы» раздавалось по адресу и правых, и левых, отдельных лиц и коллективов — прессы, правящих кругов.

Однако, «вклад» свой Вышинский сделал не на дипломатическом поприще, а в судебной и научной деятельности в России, — в том, *что* он внес в практику и теорию советского строя. О средневековой философии говорили, что она стала прислужницей богословия. Поскольку можно говорить о советском праве и правосудии, следует сказать, что, благодаря в первую очередь Вышинскому, они стали прислужниками коммунистической партии и советского правительства. Право и правосудие сделались instrumentum regni—орудием диктатуры. Вышинский открыто и бесстыдно проституировал правосудие, деморализовал его служителей и оскопил юридическую мысль.

Практика Вышинского-следователя, прокурора и судьи, инквизитора и фальсификатора, теми или иными средствами добивавшегося признаний подсудимых, стала предметом подражания в Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Польше, Восточной Германии, Китае. Недавнее освобождение братьев Филд из польской и венгерской тюрем лишний раз напомнило о том, как добывались заграничными выучениками Вышинского «сознания» обвиняемых и чего эти «сознания» стоили.

И «теория» Вышинского получила широкую известность в его многочисленных «трудах» и речах. Председательствуя на дунайской конференции в августе 48 г., он пред всем миром заявил, что право для него играет служебную и подчиненную роль. «Право во все эпохи было и остается средством осуществления политики. Право и политика неразделимы» (*Известия*, 17 авг. 48).

**
*

В течение многих лет большевики повторяли за Лениным слова Энгельса: «пролетариат нуждается в государстве не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников, а когда можно будет говорить о свободе, не будет государства». Ленин и все большевики, расстреливавшие, как и расстрелянные, согласны были в том, что в октябре 17-го года в России произошла социалистическая революция. И на самом деле противники пролетариата были «подавлены» и государ-

ству надлежало «отмереть», — как будто можно было начать «говорить о свободе».

Этого, однако, не случилось. Ибо Ленин «учил», и слова его повторяют по сей день, что «диктатура означает неограниченную, опирающуюся на силу, а не на закон, власть». Соответственно и право, которое, по Ленину, предполагает неравенство и привилегии и не может не быть пережитком буржуазного права, — находилось в первые годы в загоне. То, что именовалось советским правом — международным, конституционным, уголовным, — было бессистемно, хаотично и казуистично. До самой своей смерти Ленин защищал применение «нашего *революционного сознания*» (подчеркнуто Лениным), которое «надо показывать систематически, упорно, настойчиво на ряде образцовых процессов» (Соч. изд. 3-ье, т. 29, стр. 419).

Рецепту Ленина Вышинский следовал с тем большей охотой, что никогда не разделял отрицательного отношения к государству, характерного для Ленина *до* захвата власти. Однако «вклад» Вышинского в историю советского права заключался не в этом. Жизненным делом этого «крупного ученого-юриста», как в поминальном слове назвал Вышинского Молотов, было — примирить непримиримое, согласовать отрицание государства с его возвеличением, пренебрежение к праву с его партийным использованием. Продолжая прославлять непревзойденную гениальность Ильича, Вышинский подсказал другому «гению» — «гению человечества» — чуждую первоучителю большевизма мысль: параллельно с практическим усилением государственной мощи идеологически использовать право и государство в интересах диктатуры пролетариата, фактически — коммунистической партии.

Эта «идейка» отлично гармонировала с другой — с излюбленной Сталиным идеей социализма в одной стране. И Сталин внял Вышинскому. Он продолжал «учить», что в социалистической России «отмерла функция военного подавления внутри страны, ибо эксплоатация уничтожена, эксплоататоров нет больше и подавлять некого». И вместе с тем — «отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через максимальное (!) усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов и организовать оборону против капиталистического окружения». Вышинскому больше ничего не было нужно: «Не может быть и речи об ослаблении государства и, в частности, таких его органов, как армия, флот, НКВД, прокуратура, суд, в условиях наличия в других странах капиталистического строя».

Противоречие между тем, чему «учил» Ленин и стали учить Сталин с Вышинским — вернее, Вышинский со Сталиным, — было самоочевидным, кричащим. И чтобы успокоить не столько свою совесть, сколько недоумение аудитории, Сталин заверил своим словом, что «не может быть сомнения, что Ленин имел в виду во второй части своей книги («Государство и революция») разработать и развить дальше теорию государства, опираясь на опыт существования советской власти в нашей стране. Но смерть помешала ему выполнить эту задачу. Но чего не успел сделать Ленин, должны сделать его ученики». И они — с Вышинским во главе — это сделали.

Это была трудная задача, и по сей день не решенная. Неблагополучие на правовом фронте стало органическим, постоянным. *Все* видные советские юристы, живые и даже некоторые мертвые, подверглись раньше или позже основательной «проработке». Уличены, осуждены, смещены с должностей, а то и подвергнуты остракизму были: профессора Коровин, Крылов, Трайнины, Дурденевский, Маньковский, Строгович, И. Левин, Клейман, Кечекьян, Каракас, Аржанов, Халфин, Казанцев, Коток, Пашерстник, Серебровский, Дурманов, Любимов, Карева, Лисовский, Полянский, Ошеров, Пионтковский, Н. Г. Александров, Утевский, Денисов, Г. С. Гурвич, Суденкин, Кравцов, Тузиев, Давидович, В. Иванов, М. А. Гурвич, Стальгевич, Шаргородский, Лашин...

Кого не хватало? *Одного Вышинского!* Он и здесь уцелел от всех «прочесываний». Его одного никогда не подвергали критике на столбцах печати. Больше того: он сам подвергал разносу и разжалованию других юристов или это делалось его именем, со ссылками на непогрешимо-авторитетные его высказывания. В созданном Вышинским «Советском Государстве и Праве» ставился вопрос в конце 50-го года: «существует ли аракчеевский режим в юриспруденции?» И семеро профессоров приняли участие в обсуждении этого острого вопроса. Давался утешительный ответ: «думается, что такого режима в (советской) юриспруденции нет, но есть *отдельные крупные недостатки в работе,* которые *могут вести в направлении к образованию аракчеевского режима,* если эти недостатки не разоблачать и не искоренять». Отсюда и взаимные доносы, и непрекращающаяся вот уже ряд лет свара и склока. Вышинский умер, но дело его жизни — усиление диктатуры путем принесения ей в жертву основных требований права и правового государства, конечно, не закончилось. Борьба советской

юриспруденции против «формализма», «космополитизма», «марровщины» и прочих жупелов вошла прочно во все университетские курсы, учебники, диссертации.

Защищая всемогущество советского государства в отношении к подвластным, Вышинский и его школа стали паладинами и неограниченного суверенитета государств в международных отношениях. Как выразился проф. Коровин, сменивший на время Вышинского в руководстве «Советским Государством и Правом», — «борьба за суверенитет... является краеугольным камнем всей внешней политики Советского Союза». Соответственно с этим, Вышинский не пропускал ни одного случая, чтобы атаковать идею сверх-государственного, или международного суверенитета, противополагая ему суверенитет национальный. Ополчался ли он против доктрины Трумана или плана Маршалла, против плана Шумана-Монэ или европейского оборонительного сообщества, против агрессии ОН в Корее или защищал «единогласие» в Совете Безопасности (право вето) и принудительную репатриацию военнопленных в Корее, — Вышинский неизменно взывал к принципу неприкосновенности национального суверенитета и аргументировал от него.

Неограниченный национальный суверенитет СССР то и дело сталкивался с аналогичными суверенитетами других членов ОН и, вместо «мирного сосуществования», питал холодную войну. Еще в 48-ом году председатель Генеральной Ассамблеи бельгиец Спаак, обращаясь к советской делегации, говорил: «Мы поражены, что в этой Ассамблее вы сделались чемпионами доктрины абсолютного национального суверенитета, потому что мы задаем себе вопрос, — как может функционировать международная организация, как в состоянии она выполнять возложенные на нее задачи, если восторжествует эта отжившая и, как я сказал в прошлом году, реакционная доктрина? Международная организация может действовать только тогда, когда все нации — малые, средние и великие — полностью усвоят, что над их индивидуальной волей стоит право международное». На это Вышинский отозвался в обычной для него вызывающей манере: «Нет, никогда, я повторяю, не бывать такому положению, и никто нас не обманет всякими широковещательными и высокопарными словами о необходимости отказаться хотя бы от части своего суверенитета во имя так называемого общего блага».

Когда советских вождей охватила мания приписывать

России первенство во всех открытиях и изобретениях, был заявлен приоритет и на обоснование идеи неограниченного суверенитета. Вопреки общепризнанному, — и тому, что раньше утверждали и советские юристы, — родоначальником идеи суверенитета оказался уже не француз Жан Бодэн. Некий В. И. Зуев стал доказывать, что, хотя «идея суверенитета была известна человечеству с древнейших времен», но — «в России теория суверенитета была создана раньше, чем во многих других странах и была воплощена в учении о самодержавии московских государей... в начале XVI в. *русским* ученым, волоцким игуменом Иосифом Саниным» («Советское Государство и Право» № 3 за 51 г.)[1].

«Подлинно народный и национальный суверенитет, которому положила начало Великая Октябрьская Социалистическая революция», по словам Зуева, понадобился Вышинскому и его школе для того, чтобы оформить неограниченную и абсолютную власть советского государства, то-есть коммунистической партии. Заслуживает при этом внимания и архаизм, который допускают советские юристы в защите национального или внутреннего суверенитета в СССР. Как известно, Основные законы 23 апреля 1906 г. сохранили термин «самодержавия», толкуя его как признание только *внешнего* верховенства государства, то-есть его независимости от внешних факторов. Полустолетием позднее строители нового общества, в стране, где только и «сверкает чистое золото человеческой правды и справедливости, человеческой свободы и счастия, подлинного братского содружества десятков национальностей»,

---

[1] То же доказывает и проф. С. Б. Крылов, бывший член Международного Суда в Гааге, смещенный советской властью в 51-ом году. И он считает, что «*впервые* обоснование верховной власти было сделано в русской государственной практике и в русской литературе XV-XVI вв.». Но видит он такое обоснование в другом источнике: «а именно в ответе Ивана III (1462-1505) послу германского императора и в таких исторических документах, как «Беседа валаамских чудотворцев», сочинениях Иосифа Волоцкого, Пересветова и письмах Ивана Грозного к Курбскому». (См. «Международное Право». Изд. Академии Наук СССР. — 1951. Стр. 159). По мнению проф. Крылова, именно здесь впервые было дано определение самодержавной власти, как «верховной, неограниченной, принадлежащей только государю-царю-самодержцу», — столь полюбившееся сейчас советским юристам.

в «Советском Союзе, процветающем под знаменем сталинской конституции, под водительством великого Сталина, гениального продолжателя дела Ленина» (см. заключение статьи Вышинского «Ленин и Сталин о государстве и праве» в «Большевике» № 1 за 39 г.), — вернулись на четыре с половиной века вспять, к идеологии игумена Иосифа Санина.

***

Вышинский сослужил большую, незаменимую службу диктатуре коммунистической партии. Ему удалось оформить, легализовать, внести порядок и устойчивость в террористическую систему СССР. Ему удалось ввести в заблуждение и международное общественное мнение. Передо мной последняя книга специализировавшегося на советском праве и правосудии, профессора Харвардского университета юриста Харольда Бермана — «The Russians in Focus». Он пишет: «Предположение будто строгая легальность, с одной стороны, и беспристрастное правосудие, с другой, не играют никакой роли в повседневной жизнедеятельности советского общества, представляется наивным... Как мог бы социальный строй обладать какой-либо степенью устойчивости или обладать поддержкой его сочленов, если бы не существовало некоего беспристрастного форума для разрешения споров и некоей отдушины для чувств справедливости, наличествующих у каждого народа?» (стр. 146).

Надо ли пространно доказывать, что, если кто-либо наивен, это, конечно, сам профессор, очевидно, забывший, что «беспристрастие» клеймится в Советском Союзе как «формализм» и «вылазка классового врага»; что не только на суде, но и для науки защищается не объективный, а заведомо пристрастно-партийный подход. Не знаю, откуда автору известно, что советский строй «поддерживают» «члены советского общества». Но что касается бесспорной «стабильности» советского строя, проф. Бермана можно отослать непосредственно к Сталину, и через 17 лет после октября, жаловавшемуся, на 17-ом съезде партии, что более чем когда-либо «нам не хватает устойчивых законов».

Вышинский был жестокий циник, растлитель правосудия, развратитель целого поколения русских юристов. Он не был, однако, «ничтожеством» или «маленьким, совсем маленьким

человеком», о котором не стоит много говорить, а достаточно «поскорее вбить в его могилу осиновый кол». Нет, человеком он был ничтожным, но зло и вред, причиненные им, огромны, безмерны. В своем надругательстве над законом, судом и правом Вышинский превзошел все известные нам образцы. Он был Сталиным на правовом фронте. И сыгранная им роль, увы, не кончилась с концом его жизни. Он останется в истории СССР и, тем самым, России не только как символ ее падения, но и как пережиток прошлого. И о «новой эре», якобы наступившей со смертью Сталина, можно судить, в частности, по тому, что взошедший к вершине власти по трупам замученных и опозоренных жертв[2] Вышинский продолжал представлять в ОН коллективную диктатуру, как раньше он представлял диктатуру единоличную.

От первой половины третьего века, то-есть от языческой цивилизации древнего Рима, человечество унаследовало фальшивое, анти-историческое и несправедливое требование не говорить о мертвых ничего кроме хорошего, хотя смерть не большее, конечно, таинство, чем рождение и жизнь. Но как можно не то что понять, но даже изобразить прошлое, если говорить только хорошее о Иуде, Нероне, Борджиях, Ленине, Гитлере, Сталине?!..

Величайший из современных государственных деятелей, Черчиль, при всей своей религиозности, всё же счел возможным расценить смерть Сталина, как положительное явление, как «крупное» и «обнадеживающее» событие. Обязательное прославление покойника часто ведет не только к искажению действительности и к явной фальши. Оно может привести к прямому абсурду. 34 речи, произнесенные в честь покойного Вышинского на заседании ОН, — неопровержимое тому свидетельство.

Кто, как и за что только его не славил! Некоммунистические делегации соперничали с «нейтральными» и коммунистическими. Особенно дали волю выспреннему превознесению покойного представители ближнего Востока. В Вышинском

---

[2] По исчислению бывшего коммуниста Авторханова-Уралова на совести Вышинского и его сотоварищей по чисткам 7 миллионов арестованных и 500 тысяч умерщвленных. — Alexander Ouralov "Staline au pouvoir", Paris. 1951. p. 147. — Ср. также мою статью «Вышинский» в № 17 «Нов. Журнала». 1948.

обнаружили — «сокровища знания» (Сирия), «очаровательного коллегу, исполненного непосредственности, спортивности и высокой парламентской дисциплинированности» (Ирак), «джентльмена» (Турция), «одного из величайших, кого наша организация (ОН) когда-либо увидит» (Ливан), «действенного сотрудника в вопросах, касающихся мира и международной безопасности» (Египет), «воистину замечательный голос: плавный, звонкий, проникнутый глубокой привязанностью к задачам и процедуре ОН. Он стал почти учреждением (institution) и легендой в нашей среде» (Израиль).

Немногим уступали и другие делегаты. От имени четырех скандинавских стран датчанин сравнил смерть Вышинского с падением громадного дерева в лесу — «лес обеднел». Представитель Эквадора по поручению 20 латино-американских государств удостоверил, что Вышинский «истолковал правовой и идейный смысл революции... Как оратор он не имел себе равного... С его смертью заполнилось расхождение, нас разделявшее». «Он был очарователен», по мнению новозеландца. И даже Мандес-Франс пожелал «напомнить», что «посвященные миру слова Вышинского дали нам проблеск основанного на международном примирении будущего».

Живой Вышинский компрометировал советский строй, будучи символом его политики, права, морали. В гробу Вышинский сумел лишний раз скомпрометировать ОН и господствующие в мире нравы и дипломатию.

М. Вишняк

ПОРАЖЕНЧЕСТВО И ВЛАСОВЦЫ

Нет ничего удивительного в том, что т. н. «Власовское движение» продолжает до сих пор привлекать к себе внимание российской эмигрантской общественности. За всю тысячелетнюю историю России, столь богатую вторжениями иностранных завоевателей, не было до того случая образования, или попытки образования, русской национальной армии, которая сражалась бы на стороне врага. Вполне понятно и оправдано стремление выяснить каким образом власовская аномалия народилась, какие она себе ставила цели, как развивалась и что собой представляла. Разумеется, это обследование требует спокойствия и беспристрастия, а наша политическая эмиграция полна политических страстей (и слава Богу!). Оно и понятно: речь идет о слишком остром вопросе, о слишком близких нам событиях, участники которых, к тому же, живут среди нас и непосредственно участвуют во всей той внутри-эмигрантской борьбе, которая наполняет нашу маленькую жизнь. Отсюда острота спора о власовстве и попытки заменить спокойный анализ документированных политических фактов каким-то психоанализом. Это никак не способствует выяснению истины. Приближается уже десятилетие окончания войны, накопляются документы, и мне думается, что если держаться фактов, то можно без большого труда видеть то, что было в реальности.

Власовская акция является, можно сказать, кульминационным пунктом пораженчества: что еще может придумать пораженец после совместного выступления с оружием в руках вместе с врагом своей страны? Отсюда — попытки вставить власовское движение в картину обще-российского «пораженческого движения 1941-45 гг.». Но оправданы ли эти попытки? Все, писавшие о пораженческом движении в СССР, относят его к первым месяцам 1941 года. Уже с лета 1942 года шла большая партизанская война против вторженцев, а 24-го августа этого года началась историческая битва за Сталинград. Между тем, первое выступление ген. Власова в плену было 10 сентября 1942 г., когда он выпустил первую прокламацию (впрочем, без

всяких организационных последствий[1]). Начало какого-либо власовского *движения* следует отнести к марту 1943 г., когда Власов выступил со своим «Открытым письмом» (это было уже после разгрома немцев под Сталинградом и пленения их 6-ой армии вместе с марш. Паулюсом). Что же касается периода войны 1941 года, то о нем Власов с законной гордостью говорит в своем «Открытом письме» от 3-го марта 1943 года: «В тяжелых условиях вела моя армия охрану Киева и в течение двух месяцев успешно защищала столицу Украины. Линия фронта была прорвана на соседнем участке. Киев был окружен. По распоряжению Верховного командования я должен был сдать этот укрепленный район. После того, как я вышел из окружения... я был командующим 20-ой армии... Я сделал всё, что мог для защиты столицы. 20-ая армия приостановила наступление на Москву и затем сама перешла в наступление. Она прорвала немецкий фронт и взяла Солнечногорск, Волоколамск, Шаховскую, Середу и сделала возможным переход в наступление на всем московском фронте». Это было в декабре 1941 года. Стало быть, к «пораженчеству 1941 года» (если оно было) Власов отношения не имел и с ним боролся.

Однако, поскольку имеется упорная тенденция вести родословную «власовского движения», от «народного пораженчества 1941 года», необходимо на последнем остановиться. Обычная схема такова: миллионы солдат Красной армии, не желая сражаться «за Сталина», сдавались в плен немцам: «целые армии и дивизии сдавались в плен без боя».

Что же было на самом деле? Перебежки к врагу, сдачи в плен — явления, сопровождающие каждую войну. Немало тысяч немецких солдат перебежало к Красной армии, о чем сообщали военные корреспонденты нейтральных стран. Когда армия — всякая армия — терпит поражения, то количество сдач и перебежек растет. Можно, поэтому, говорить только о том, что процент сдач и перебежек в Красной армии был выше обычного. Но был ли хоть один случай сдачи в плен без боя не только армии, но хотя бы дивизии? Я утверждаю, что во всей литературе о Второй мировой войне, включая многочисленные немецкие источники, нет ни одного указания не только на «отказ Красной армии сражаться», как это рисуют, но и вообще на пораженчество в армии, как причину разгрома первых ме-

---

[1] Б. Двинов: «Власовское движение в свете документов», стр. 78-81.

сяцев 1941 года. Во всей литературе о войне упоминается о сдаче без боя двух полков: крымских татар и казаков. Других случаев, повидимому, не было.

Самое интересное — оценка Вермахтом боевых качеств Красной армии *в 1941 году*. Ограниченность места заставляет меня ограничиться лишь несколькими выдержками из «Дневника» начальника генштаба Вермахта ген. Гальдера. 29 июня, т. е. через неделю после нападения, он записывает: «Доклады со всех фронтов подтверждают, что русские дерутся до последнего человека... Очень мало солдат попадает в плен вместе с батареями и т. п. Многие кончают с собой, в то время как другие бегут, сбрасывают форму и скрываются под видом крестьян». О битве у Гродно он пишет: «Вследствие упорного сопротивления русских, наши войска не могут выполнить намеченного плана». Командующий танковой армией ген. Гудериан, одним из первых перешедший утром 22-го июня Буг, пишет в своей книге: «Неприятеля удалось застигнуть врасплох на протяжении всего фронта танковой группы». «Однако, противник вскоре оправился от неожиданности и перешел к упорной обороне. Особенно оборонялась крепость Брест и этим отрезала нам дороги». Далее: «6-го июля русские перешли Днепр и напали на правое крыло 24-го танкового корпуса»... 16 июля: «Начиная с 13-го июля идут упорные контр-атаки русских»; 17 июля: «сильные бои против атакующих русских»[2]. Задерживая продвижение немцев к Москве, маршал Тимошенко вел в летние месяцы 41-го года ожесточенные бои. 30-го июля он за один день произвел 13 атак на Ельню и столь жестоких, что Гудериан предложил генштабу оставить Ельню и отступить. Похоже ли это в какой-либо степени на «сдачу дивизий и армий без боя»?

Германский дипломат фон Хассель отмечает в своем «Дневнике» 13-го июля 41-го года: «Русские дерутся с упрямой и тупой храбростью. Тяжелые потери среди германских офицеров». А оценка его от 2-го августа такова: «Общее положение: тяжелое сопротивление русских. Тяжелые потери»[3]. Геббельс в своем «Дневнике» отмечает с возмущением в записи от 27-го января 1942 года: «Солдаты (Красной армии) не желают сдаваться, как это обычно делается в Западной Европе, когда они полностью окружены, но продолжают драться, пока их не

---

[2] Heinz Guderian: "Erinnerungen eines Soldaten", pp. 140, 148, 160.

[3] The von Hassell Diaries, pp. 200, 204.

убьют»... В результате такого «пораженчества», как свидетельствует германский военный историк вице-адмирал Ассман, немцы до 28-го февраля 1942-го года потеряли 1.005.636 человек, что составило 31,4% всей армии. Возможно ли было что-либо подобное, если бы «армии и дивизии сдавались без боя»? Да, конечно, за этот же срок Красная армия потеряла, возможно, втрое больше: потери в шести больших окружениях превышают два миллиона человек. Как же это произошло? Не является ли это всё-таки результатом пораженчества в армии? Вот записи нач. генштаба Гальдера в его «Дневнике» в самые дни этих окружений. 11-го июля он пишет: «враг... дерется фанатически и с упорной решимостью... Мы понесли значительные потери людьми и материалом. Войска устали». Спустя четыре дня, 15-го июля он записывает: «Русские войска сейчас, как всегда, дерутся с дикой решимостью и с громадными человеческими жертвами». 23-го июля Гальдер отмечает, что потери офицерского состава доходят до 50%: «наши резервы в 2000 молодых офицеров полностью исчерпаны». О характере сопротивления Красной армии можно судить по записи Гальдера от 8-го августа 1941-го года: «Неприятель, противостоявший нашей 17-ой армии, уничтожен: 200.000 убитых и 100.000 пленных».

Приведу такое объяснение громадного киевского пленения, данное ген. Гудерианом. Киев пал 17-го сентября 1941 г. В плен попала армия в 665.000 человек. Командующий Юго-Западным фронтом и его начальник штаба были убиты, а командир 5-ой армии попал в плен. Его допрашивал сам Гудериан:

— Когда Вы узнали о том, что наши танки появились у вас в тылу?

— Около 8-го сентября.

— Почему же вы тогда не эвакуировали Киев?

— Мы получили приказ об эвакуации Киева на восток от армейской группы и приступили к отходу, когда получили контр-приказ об образовании нового фронта и о защите Киева при всех условиях.

«Исполнение этого приказа — говорит Гудериан — привело к уничтожению всей русской военной группы у Киева. Мы тогда немало этому удивлялись»[4].

О чем говорит этот трагический диалог: о пораженчестве в армии или о гомерическом головотяпстве верховного коман-

[4] Guderian, там же, pp. 202-204.

дования? Хочу напомнить: в 1940-м году сопротивление Франции Гитлеру продолжалось всего недели — меньше чем сопротивление Варшавы. Это была картина грандиозной деморализации армии. Даже тени сравнения нет с тем, что было в Советской России в 1941 году. Но разве кто-нибудь изображал французскую армию в том неприглядном виде — «бегут сдаваться» — как изображали русскую армию?

Еще одно и последнее замечание: даже кадры будущих власовцев не состояли из убежденных пораженцев. В газете власовского движения «Доброволец» мы читаем в статье Муромцева — заместителя главного редактора Жиленкова —

«Часто приходится слышать два недоуменных вопроса, обращенных к нам, борющимся с большевизмом на стороне немецкой армии: 1) Почему вы боролись против немецкой армии, а не сдавались, и вас брали в плен, как советских солдат, с оружием в руках? и 2) Почему, попав в плен, вы вдруг стали так же активно выступать против советской власти, как до того сражались за нее? За всеми подобными вопросами стоит один, обычно не высказываемый: а не являетесь ли вы предателями и трусами, спасающими собственную шкуру?». Муромцев дает такой ответ: «Народ... видел в немцах не борцов с большевизмом, а завоевателей России. Когда же люди, попадая на немецкую сторону, убеждались в обратном и знакомились со всеми преимуществами социальной системы Адольфа Гитлера — повязка спала с их глаз»[5].

***

Власовское движение представляет собою отдельное самостоятельное явление и Власов хорошо понимал это с самого начала. Это ясно отражено в первом же его заявлении немцам.

Власов попал в плен (он долго скрывался после разгрома своей армии) в мае-июне 1942 года. Когда именно — точно неизвестно. Известно лишь, что 14 июля 1942 года Власов был отправлен на сборный пункт в Летцен, где находился лагерь пленных при главном штабе армии. Препроводительный документ указывает, что отправил его 689-й отдел 2-ой полевой жандармерии и на печати значится: «Фельдпост № 13.801». 17-го июля Власов прибыл в лагерь, а спустя две недели, 3-го августа, он подал — вместе с полк. Боярским — заявление в штаб Вермахта. (Юрген Торвальд в своей книге «Кого они хотят погубить» говорит, что Власов был «открыт» 4 сентября

[5] «Доброволец» № 54 (122) от 5 июля 1944 г.

1943 года. Это явная ошибка). Немецкий перевод этого заявления имеется в Вашингтоне среди захваченных у немцев документов. Из них мы узнаем, что заявление это было переслано Верховному командованию лишь 12 сентября (вероятно после тщательного допроса). В самом же заявлении Власов и Боярский пишут, что: 1) «в результате сокрушительных военных поражений... правительство Сталина потеряло свою популярность, 2) «в руководящих кругах армии, равно как и у верхушки населения всё яснее назревает сознание бесцельности и ненужности продолжения войны...»; 3) «всех объединяет та же мысль: свергнуть правительство Сталина и изменить государственный строй. Спрашивается — как: опираясь ли на Германию или же на Англию и США? Основная задача — свержение правительства — указывает на Германию»...; 4) «Сталин никогда не уйдет и ни на какие компромиссы не согласится»... 5) «Если принять во внимание многомиллионное население обширнейших областей, оккупированных (Германией)... то эти массы могут составить ядро внутренних сил, которое призвано к тому, чтобы — под руководством немецкого правительства — ускорить уже давно ставшую необходимой политическую реконструкцию *России, с новым построением Европы под руководством Германии*». Для этого же необходимо *создать Центр по формированию русской армии и немедленно приступить к ее формированию*». (Курсив в подлин.). Заявление кончается так: «Эти мероприятия легализуют действия, направленные против теперешней России и элиминируют представление о предательстве, которое еще удерживает всех военнопленных, равно как и население неоккупированных областей. Мы считаем своей обязанностью по отношению к своему народу и по отношению к провозглашенным Фюрером немецкого народа идеям Нового Построения Европы, довести вышеизложенные мысли до сведения немецкого Верховного Командования и таким образом и нам принять участие в осуществлении этих идей». Винница, 3 августа 1942 года. Подписано генералом Власовым и полковником Боярским, с указанием чинов.

Нельзя не отметить: Власов был с 1930 года членом ВКП(б), 20 лет провел в Красной армии, начав с солдата дослужился до генерал-лейтенанта и т. д. С какой легкостью он сбросил с себя «ветхого Адама» после двух месяцев плена и сменил идеи Ленина-Сталина на идеи Фюрера! Грозный факт, над которым следует призадуматься и здесь, и «там». Как бы то ни было, но с этого заявления и начинается то, что потом

оказалось страшной трагедией для тысяч людей и что вошло в историю под названием «власовское движение». Ссылаясь на это заявление Власова и Боярского, Ю. Денике пишет: «Власов написал свое заявление, когда у него была вполне созревшая концепция... Этой концепции он остался верен и в своих более поздних выступлениях»[6]. Если Денике прав, то в чем же заключалась эта «концепция», как она выражена в заявлении, из которого я привел все самые значительные места? Кажется ясно: Власов стремился создать «Центр организации русской армии», как громоотвод против обвинения в предательстве, чтобы затем, свалив в союзе с Вермахтом советский строй, создать под водительством правительства Германии и в согласии с Новым Порядком в Европе под руководством Германии — «Новый Порядок в России». Всё это точно сказано в заявлении Власова от 3-го августа, и это и составило основную мысль или «концепцию» Власова. Как будто бы такая «концепция» в отношении Советской России являлась бесспорным *пораженчеством*. Между тем Денике пишет: «Прежде всего нельзя согласиться с теми авторами, которые считают позицию Власова пораженческой. Власов не был пораженцем... Его исходным пунктом было, наоборот, убеждение, что Германия Россию победить не может. Он постоянно это повторял, что приводило в ярость нацистов, в частности Гиммлера» (там же). Автор этих строк не очень высокого мнения о политическом гении Власова, но изображать его каким-то политическим юродивым не приходится: Власов не связывал бы себя *сознательно* с осужденным на поражение и гибель Гитлером. Дело в том, что Денике странным образом опустил вторую часть в заявлениях Власова нацистам: он говорил — и немцы это сами знали — что Германия Россию не победит *без помощи русских*, и потому ей и необходимо договориться с Власовым. Валлес Каролл, весьма осведомленный американский публицист, отмечает это в своей статье о власовском движении: «Власов настаивал, что Сталин может быть разбит только с помощью русских, и это приводило в ярость лидеров наци»[7].

Но разве это что-либо меняет в пораженческой концепции Власова? Если Власов не верил в возможную победу Германии, то непонятна не только его цель — чего же он добился бы при

---

[6] «Новый Журнал» кн. 35, стр. 276.

[7] Wallace Carroll: "It takes a Russian to beat a Russian," Life, 19 Dec. 1949, p. 85.

поражении?, — но непонятно, и то, что он почти до конца войны уверял в победе своих последователей. На вопрос об его ориентации дает ответ та самая книга Торвальда, которая удостоилась такой высокой оценки со стороны Ю. Денике. Торвальд приводит разговор Власова с Гиммлером (к сожалению, автор не указывает источника своей осведомленности, **сам он** при этом не присутствовал). Власов говорит: «Я не какой-нибудь безвестный эмигрант. Я не перебежал к вам, как многие другие, которых никто на моей родине не знает и которые из-за своего честолюбия мнят себя освободителями. Я попал в плен в безвыходном положении... Я не прихожу с пустыми руками: в спасении и освобождении моей родины от Сталина лежит также спасение Германии»[8]. Концепция совершенно ясная: мы должны вместе бороться и победить или мы оба погибнем, что вполне логично. При этом он тут же предложил «взятку» Гиммлеру: «Если я с вашей помощью одолею Сталина, то **я знаю**, что я должен буду принести во имя будущего жертвы. Возможно, что мы будем стоять перед необходимостью пересмотра всех границ и создания совершенно новых территориальных образований (Räume). Возможно, что тогда Украина или другие части моей старой родины должны будут стать не отдельными частями России, а частью Нового Порядка. Об этом можно будет толковать после победы на основе равноправия»[9]. Так передает разговор Власова с Гиммлером Торвальд. В точности его позволительно, может быть, и сомневаться, но смысл его несомненно передан правильно. Напомню еще, что этот разговор относится к осени 1944 года, когда разгром Германии, казалось, был уже всем очевиден. Но в 1942 г. Власов говорил на эту тему еще ясней и об этом — на основании документов — написал Валлес Каррол в своей уже упомянутой статье. Власов заверял наци, что «он и его единомышленники согласны принять нечто вроде «статуса доминиона» или «протектората»... Власов не только признавал самоопределение для меньшинств, но указал — *согласно немецким источникам* — (курсив мой Б. Д.), что «он готов в будущем мирном договоре отдать Украину и Кавказ» (стр. 85). Каррол несомненно пользовался немецкими документами, которые еще не опубликованы. Но в числе материалов Нюренбергского процесса имеется и опубликованный документ по тому же вопросу: письмо Ро-

---

[8] Jurgen Thorwald: "Wenn Sie verderben wollen", p. 386.

[9] Там же, стр. 390-391.

зенберга к Гитлеру от 12-го октября 1944 г., в котором он ссылается на письменную «декларацию Власова, содержащую отказ от Украины и Кавказа»[10]. О чем же ином, как не о пораженчестве Власова говорит всё это?

Когда Власов подал заявление от 3-го августа 42 г., то в военных сферах Германии, да и в министерстве иностранных дел, царило большое уныние. Правда, слова «поражение» никто не произносил: это было запрещено Гитлером под страхом смертной казни до самого конца войны. Но уже после поражения под Москвой многие немцы почуяли надвигающуюся катастрофу. Петр Кляйст, эс-эсовец, потом близко стоявший к власовскому движению, пишет в своей книге «Между Гитлером и Сталиным»:

«Незадолго до Рождества 1941 г. я собрал специалистов по России из министерств в Берлине на совещание с уполномоченными армейских групп. Присутствовали также представители министерства иностранных дел и Остминистериума (Розенберга), как и офицеры, имевшие политические полномочия. То, что сообщили эти господа, можно суммировать следующим образом: борьба с Советами не может быть доведена до победного конца одними лишь военными средствами... победа может быть достигнута только политическими средствами, которые парализуют силы Сталина в центре и которые перенесут борьбу с полей сражения на политическую почву, на которой народы Советского Союза являются нашими естественными союзниками»[11].

Подчеркиваю: это было в декабре 1941 года. Летом 1942 года положение немцев стало не лучше, несмотря на новое их продвижение вглубь. В своей книге Торвальд рассказывает о совещании в главном штабе, в отделе «фремде Хеере» — иноземные войска, — состоявшемся 20 апреля 1942 года, на котором граф Штауфенберг (который 20 июля 44 г. совершил покушение на Гитлера) произнес такую речь:

«Фюрер и его окружение имеют только одну идею и цель: простое подчинение себе Советского Союза и превращение его в немецкую колонию... Розенберг хочет уничтожить не только большевизм, но и Россию, как государство. Они хотят достигнуть этого путем расчленения России... Они хотят стереть всю русскую историю... Они

---

10 George Fischer: "Soviet opposition to Stalin," p. 79.

11 Peter Kleist: "Zwischen Hitler und Stalin", pp. 132-133.

хотят главным образом при помощи эмигрантов-туркестанцев, кавказцев, украинцев, белоруссов — образовать отдельные государства, которые, разумеется, будут полностью зависеть от Германии и должны стать анти-русскими».

Штауфенберг изложил здесь идеи, цели и методы наци совершенно точно. Говоря о варварских методах, которые применяются для достижения этих целей, Штауфенберг — по словам Торвальда — в негодовании стукнул кулаком по столу и воскликнул: «Мы этим всё предаем! Мы предаем не только себя, но и нашу победу!»[12].

О том, как в Германии понимали «роман» Вермахта с Власовым дает представление следующая запись в Дневнике фон Хасселя от 29 марта 1943 года: «В России мы пытаемся изменить курс (about face), т. е. рядиться прорусски (но антибольшевистски). Слишком поздно. Кто-то взволнованно сообщил мне, что они хотят создать своего Ванг Чинг Вея (марионетку) из ген. Власова». В марте 43 г., после разгрома у Сталинграда, положение немцев было отчаянным и именно тогда появилось «Открытое письмо» Власова. Казалось, появление Власова было для немцев подарком неба и они должны были бы ухватиться за него обеими руками. Не тут то было: Гитлер имел свою «интуицию» и свою «концепцию», которые не позволяли ему якшаться с «унтерменшами», да еще в роли квазисоюзников. По вопросу о Власове политическая и военная верхушка Германии «раскололась»: Гитлер, Гиммлер, Розенберг, Борман не желали компромиссов с «унтерменшами»: и цели, и средства должны остаться «чистыми». Другие же — в том числе и Геббельс, и многие командующие генералы — протестовали против применявшихся к русским методов. Конечно не из гуманитарных соображений, а потому, что они считали полезнее для дела не истреблять русских, а привлечь их на свою сторону — до победы над ними же. Джордж Фишер в своей книге «Советская оппозиция Сталину» называет их «утилитаристами» — для пользы дела они шли и на компромиссы. Из этих «утилитаристов» и составилось немецкое окружение Власова. Они даже пытались саботировать тактику Фюрера и использовать Власова для целей пропаганды. При этом они всё время уверяли Власова, что надо иметь терпение и всё «образуется».

Тем временем многие тысячи пленных красноармейцев по-

---

[12] Thorwald. Там же, pp. 63-64-65.

явились в качестве добровольцев на службе у Вермахта. Весьма нуждавшееся в пополнениях командование охотно их принимало и назначало на разные работы. Число таких «хильфсвиллиге» так быстро росло, что уже в июне 1943 г. их было в армии 200.000 человек. Одновременно делались попытки создания русских военных формирований, как зачатка будущей «Русской Освободительной Армии» — РОА. Но бдительное око Гестапо не дремало и донесло обо всем Гитлеру. 8-го июня 1943 г. в ставке Гитлера состоялось совещание по делу Власова и здесь, согласно протоколу, Гитлер категорически запретил образование отрядов больше чем в батальон. Маршал же Кайтель поспешил успокоить Фюрера: «Разрешите заметить, что мы рассматриваем инициатора этих пропагандных листков, этот национальный комитет за подписью Власова, как средство чистой пропаганды»[13].

То, что сотни тысяч красноармейцев добровольно пошли на службу к Гитлеру (в конце войны их было до 800.000 человек) служит каким-то «козырным тузом» в объяснениях власовцев. Торвальдом в его книге это изображается как участие в «боевых организациях, целью которых была борьба против советского государства». Ю. Денике это сочувственно цитирует и при этом замечает: «от такого явления нельзя отмахнуться, как от «трюка немецкой пропаганды»[14]. Об этом печальном явлении никто как о «пропагандном трюке Геббельса» не говорил. Однако, эти «хильфсвиллиге» участвовали не в «боевых организациях», как это пишет Торвальд, а в рядах Вермахта. Последний же имел целью не только «борьбу против советского государства», но и против русского народа и русского государства. Как будто это бесспорно?..

Что же касается причин такого массового добровольчества, то об этом свидетельствует «участник событий: «Картина была кошмарно тяжелая: за зиму (1941-42 гг.)... умерло от 80 до 90% всех военнопленных, т. е. не меньше 4-х миллионов человек. В добровольцы готовы были итти все, кто еще был жив, для них это была единственная возможность спастись»[15]. Если бы «немец Торвальд мог лучше понять историческую — да и политическую — значительность происходившего в среде советских военнопленных», как пишет Ю. Денике, то он легко

---

[13] Б. Двинов. Там же, стр. 96-97.

[14] «Новый Журнал», там же стр. 272.

[15] «Новый Журнал», кн. 18, стр. 218.

увидел бы причину «добровольчества» сотен тысяч красноармейцев в том, что они не хотели умирать. Все же рассуждения о том, что, мол, во всем виновата политика Гитлера — являются бесплодной игрой ума и только.

Но возвращаюсь к Власову. Несмотря на распоряжение Гитлера, фронтовое начальство не унималось и продолжало подавать в ставку доклады о необходимости использования Власова, пока не получился грозный ответ: «Всякие дальнейшие предложения такого рода запрещаю окончательно и бесповоротно». (Торвальд, стр. 159). Сделал Власов попытку поехать на северный фронт и выступать там с речами, но это кончилось печально. О поездке Власова донесли Гитлеру, и Кайтель от имени Фюрера пригрозил, что «если ген. Власов еще раз где-либо лично появится, то передать его в руки Гестапо, которое его обезвредит» (Торвальд, стр. 219-220). Вся акция, таким образом, свелась к тому, что немцы издавали от имени Власова и его Комитета листки и газеты, выступали по радио и т. д., но само «власовское движение» было призраком, его в реальности не было. Больше того, Власов фактически находился под домашним арестом в своем доме на Кибицервег № 7.

Во время этого призрачного существования «движения» был выпущен т. н. «Смоленский Манифест», издавались две большие газеты — «Доброволец» и «Заря» — и многие прифронтовые. Существовала и школа пропагандистов в Дабендорфе, где велись занятия под присмотром немецких офицеров и где проходили нацистскую политграмоту. Всё это делалось именем «Освободительного Движения». Результаты были весьма незначительны. Солидарист Казанцев, бывший с Власовым с самого начала его акции, (впоследствии редактор центрального органа КОНРа — «Воля Народа») удостоверяет: «С той стороны «Манифест» никакого действия не произвел» и в то же время «было ясно, что на этой стороне ничего серьезного нет»[16]. Сам Власов вполне отдавал себе отчет в положении и говорил: «Там, в России, поймут, что это был просто обман и пропагандистский трюк, и доверие будет потеряно навсегда».

Другой близкий сотрудник Власова, б. редактор «Добровольца» пишет: «Власов... называл всех предателями, говорил, что это не его рук дело, а немецкая авантюра, и вместе с тем послушно подписывал предлагаемые ему документы и прочитывал составленные для него тексты речей». Порой его роль

[16] Казанцев: «Третья сила», «Посев» № 23, 1950.

была до нельзя унизительной. Так, в сентябре 1943 г. Гитлер в припадке гнева за понесенное им поражение, приказал: «Немедленно распустить все русские отряды. В первую очередь 80.000 человек должны быть немедленно разоружены, и вся банда должна быть отправлена во Францию в угольные шахты»... В результате все русские и «национальные» батальоны были переведены на Запад, на защиту «Атлантического вала». Все планы Власова рухнули, что признали и его немецкие друзья, как неизменный при нем кап. Штрик-Штрикфельд. И вот в эти дни начальник штаба армии ген. Иодль распорядился приготовить от имени Власова обращение к этим батальонам, в виде «Открытого письма», и *приказал* Власову его подписать. Тот подчинился. А после этого Власов в отчаянии кричал: «Кто я? Что вы со мной сделали?»[17]. Так передает всю историю в своей книге Торвальд.

Таким образом, если говорить о боевых действиях тех батальонов, солдаты которых имели на своем рукаве нашивку «РОА», но находились под командой немецких офицеров, то относятся они не к восточному фронту, а к западному. Член власовского КОНРа — высшего политического органа «Освободительного Движения» — д-р Н. писал: «На Востоке осталось ничтожное число русских подразделений. На Западе более трех десятков батальонов расположились по северному и южному побережью Франции, около двадцати батальонов приняли участие в борьбе против союзников в Италии. Пять или семь батальонов находились в Дании... РОА продолжала оставаться мифом»[18]. Мифом оказалась и вся политическая акция Власова, но этот миф «действовал», издавая газеты и занимался пропагандой, и «газета войск Освободительного Движения» — «Доброволец» писала: «Наша борьба против англичан не временная необходимость сегодняшнего дня, а следствие постоянной вражды между Россией и Англией»[19]. Или: «Сейчас батальон «Волга» действует на новом месте... Борьба русских частей на Западе против Англии и Америки есть борьба против большевизма, борьба за национальное освобождение русского народа»[20]. Или еще: «Главный враг России и нашего народа —

---

[17] Торвальд. Там же, стр. 302-307.

[18] Др. Н.: «Т. н. власовское движение», «Возрождение» № 7, стр. 105.

[19] «Доброволец» № 49 от 24 октября 1943 г.

[20] «Доброволец» № 4 (72) от 12 января 1944 г.

большевики. Но врагом нашим являются и «демократические державы», на протяжении всей истории занимавшие антирусские позиции»[21]. Так велась пропаганда.

Посетивший западный фронт ген. Жиленков (Власову немцы не разрешили поехать) писал: «Части РОА на Западе хорошо понимают, что от их разгрома (англо-американцев) зависит будущее нашей родины»[22].

Такова была в реальности политическая акция Власова, и здесь нет места ни для досужих домыслов, ни для психологических изысканий.

Перелом в развитии власовского движения наступил после покушения на Гитлера, когда под влиянием ударов на фронтах «правоверные» наци решили уступить «утилитаристам», в результате чего шефом власовского движения стал сам Гиммлер. 16 сентября 1944 г. состоялось его первое свидание с Власовым, во время которого он обещал Власову разрешить организовать четыре русских дивизии с русским командованием и создать руководящий политический коллектив. Под траурные звуки приближавшихся похорон Третьего Рейха началось «возрождение» власовского движения. Внезапно вся верхушка Эс-Эс и Гестапо начала проявлять трогательные о нем заботы. Гиммлер, Кальтенбрунер, Шелленберг, Олендорф и др. — все имена, вошедшие в историю по Нюренбергским процессам, все знаменитые истребители человечества, отправленные судом на виселицу. В срочном порядке был создан Комитет, выработан проект «Манифеста» из 14-ти пунктов («Кальтенбруннер и Гиммлер его читали и одобрили», пишет Торвальд) и на заседании в Праге 14 ноября 1944 г. «Манифест» был провозглашен. Правительство Рейха приветствовало «союзника».

Положение на фронтах было столь безнадежно и всё действие было настолько пропитано фальшью, что — опять-таки по словам Торвальда — лучший друг Власова («мой святой» называл его Власов) — кап. Штрик-Штрикфельд «убеждал Власова больше не сотрудничать и объявить о своем уходе в отставку... Власов долго молчал, а потом сказал: «Отступление невозможно... Нам необходима армия». Штрик-Штрикфельд предложил ему подумать еще 24 часа и сообщить ему о своем окончательном решении. Когда Власов настаивал на своем решении, то Штрик-Штрикфельд заявил, что считает се-

---

[21] «Доброволец» № 6 (74) от 19 января 1944 г.

[22] «Доброволец» № 20 (88) от 8 марта 1944 г.

бя «свободным и с Власовым больше не связанным»[23]. Штрик-Штрикфельд предупреждал Власова, что вся эта ныне предпринятая акция — новый обман, и он не ошибся. Со слов д-ра Н., в его уже упомянутой статье, мы узнаем, что «обман Гиммлера-Кальтенбрунера открылся уже на следующий день», когда все они «каким-то непонятным путем оказались чуть ли не на работе Эс-Эс. Но что делать — пути отступления не было». Ни одной бумажки никто не вправе был написать без разрешения приставленного к ним комиссара С-С. и, пишет д-р Н., остались лишь «рожки да ножки от наших благих начинаний». Само собой, Гиммлер обманул и в обещании разрешить четыре дивизии. Формально разрешили две, а фактически вооружили только одну в 13.000 человек. «Однако — пишет д-р Н. — вплоть до краха ни одна из этих дивизий так и не приняла участия в боевых операциях... Между тем немецкое командование широко пользовало части РОА под немецким руководством и, что самое возмутительное, использовало их в борьбе не только против большевиков, но и против союзников».

**
*

Конец всей власовской акции известен. Он тем более трагичен, что вся эта акция была призрачна и обречена с самого начала. Но каким бы трагизмом ни была отмечена судьба Власова и власовцев, это не избавляет нас от необходимости видеть то, что было и называть вещи своими именами. Нас заверяют: «что Власовым лично в основном руководили не эгоистичные, а патриотические мотивы, после всего, что стало известно о нем в последние годы, не должно вызвать сомнений»[24]. К сожалению, автор не указывает, что именно лежит в основе его утверждения. По моему всё то, что стало известно о власовской акции в последние годы, говорит о совершенно другом: неужели согласие отдать Германии Украину и Кавказ и принять протекторат Германии над Россией совместимо с «патриотическими мотивами»?

Мы привыкли в последнее время к такому «расширительному» толкованию твердо установленных понятий, при которых они часто из тумана слов выходят совершенно преображенными. Теряя под собой твердую почву понятий, мы начинаем

---

[23] Торвальд. Там же, стр. 428-429.

[24] «Социал. Вестник» № 2, 1953.

скользить, и вот тот же автор уже пишет, что хотя Власов и ориентировался на победу Гитлера и на «Новый Порядок», но «при этом Власов в то же время надеялся на сохранение Россией какой-то национальной независимости и на создание в России близкого к демократии политического строя»[25].

Я не знаю, что собой представляет политической строй, «близкий к демократии» — очевидно, что здесь имеется широкий простор для толкования и воображения. Но — главное: здесь уже приемлется совмещение «какой-то национальной независимости» с протекторатом Германии и какой-то «демократии» с «Новым Порядком» Гитлера. Не говоря о том, что все эти политические спекуляции совершенно ни на чем не основаны, а вернее — находятся в полном противоречии со всеми известными документами, они характерны для метода подмены политического анализа каким-то психоанализом и густым туманом «интуиций». А раз так, то каждый волен, не считаясь с фактами, строить схему по-своему и давать власовству морально-политическую реабилитацию путем простого заявления — без всяких объяснений: «я думаю, что по всей вероятности я был бы с Власовым»[26]. Разумеется, это право каждого, но на политическую и моральную оценку власовского движения это влиять не может.

Как первое заявление Власова, в котором изложена вся его концепция, так и вся власовская печать, все опубликованные документы и имеющиеся материалы (поскольку они известны) побуждают, как мне кажется, каждого русского патриота и каждого демократа самым определенным образом осудить морально и политически то, порожденное сталинизмом, явление, которое известно под именем «власовского движения».

Б. Двинов

---

[25] Там же.

[26] «Новый Журнал», кн. 35, стр. 279.

КОММЕНТАРИИ

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Б. Л. ДВИНОВА

Напечатанная в этой же книге журнала статья Б. Л. Двинова несомненно вызовет разнородные чувства среди наших читателей: протест со стороны одних, одобрение со стороны других. Возможно, что будут и нарекания по адресу редакции — за то, что она «такую статью» поместила. Подобные нарекания нам приходилось выслушивать и в некоторых других случаях, но, признаюсь, ни в одном из них они не показались мне убедительными. «Новый Журнал» никогда не был и, надеюсь, не будет и впредь партийно-политическим органом. У него есть, конечно, свое общее политическое направление: защита свободы, права и культуры от всех и всяческих форм тоталитаризма. Но в этих достаточно широких — и в то же время достаточно определенных — границах наш журнал допускает возможность серьезных расхождений между своими сотрудниками. Редакция даже не берет на себя роль арбитра между диспутантами. В тех случаях, когда мне приходилось принять участие в споре, в форме ли отдельных статей или в своих «комментариях», я никогда не претендовал на то, чтобы сказать «последнее слово», целью которого было бы выразить мнение журнала по данному вопросу. Думаю, что это было бы необоснованной с моей стороны претензией. Отсутствие такого «последнего слова», иными словами — отсутствие у журнала своей определенной линии по вопросам *конкретно-политического* характера меня нисколько не смущает. Напротив, в этом я вижу его большое преимущество и, если хотите, его заслугу перед эмиграцией. По моему глубокому убеждению, эмиграции нужен такой орган. В указанных выше пределах, разногласия в нашей среде, и иногда разногласия очень серьезные, не только неизбежны, но и желательны. Слишком сложны стоящие перед нами проблемы и слишком мало мы их по-настоящему обсуждали, чтобы мы могли успокоиться на принятии какой-то, ко всем конкретным случаям применимой «генеральной линии».

Шесть лет тому назад на страницах «Нового Журнала» появились статьи Б. И. Николаевского (книги 18-19, 1948 г.), представлявшие собою первую серьезную попытку разобраться в происхождении и характере власовского движения. Вопрос этот естественно оказался спорным с самого начала, и с самого же начала наш журнал открыл свои страницы для выражения

точки зрения, резко отличавшейся от позиции Б. И. Николаевского. В той же самой 18-ой книге, в которой появилась первая статья Б. И. Николаевского, была напечатана статья Г. Я. Аронсона о «Парижском Вестнике», заключавшая в себе совершенно иную оценку власовского движения. В книге 21-й (1949 г.) этот спор продолжался: в ней были напечатаны критический разбор статей Б. И. Николаевского, написанный Г. Я. Аронсоном, и ответ на эти возражения автора статей. Правда, после того, в течение нескольких лет, к вопросу о власовцах журнал не возвращался, но, смею сказать, — не по вине редакции. Как правильно замечает Б. Л. Двинов, «обследование (власовского движения) требует спокойствия и беспристрастия, а наша политическая эмиграция полна политических страстей». К последним словам Б. Л. Двинов прибавляет — «и слава Богу!», но в этом я уже не могу к нему присоединиться. Страсти страстям рознь, и мне кажется, что за такие страсти, которые мешают спокойному и беспристрастному обсуждению, благодарить Бога не приходится. На беду обсуждение власовского вопроса пошло преимущественно по руслам, проложенным внутри-эмигрантской политической борьбой, а участие в этой борьбе в задачи нашего журнала ни в какой мере не входило. Кроме того, для дискуссии такого характера в эмиграции имелось достаточно других печатных органов. К вопросу о власовском движении «Новый Журнал» вернулся только в конце прошлого года. В книге 35-й (1953) мы напечатали статью Ю. П. Денике «К истории власовского движения», в которой автор комментировал посвященные этому движению книги Фишера и Торвальда. В свою очередь Б. Л. Двинов написал свою статью в ответ на статью Ю. П. Денике, и я считаю нужным разъяснить, что если она появилась на страницах журнала только теперь, то произошло это не по вине автора: причины задержки были редакционно-технического характера.

Спор между Б. Л. Двиновым и Ю. П. Денике возвращает нас более или менее к тем же позициям, которые в свое время были заняты с одной стороны Г. Я. Аронсоном, а с другой Б. И. Николаевским. В спор этот, особенно в фактической его части, я вступать не собираюсь. Если бы Ю. П. Денике захотел ответить на возражения Б. Л. Двинова, мы, конечно, предоставим ему возможность это сделать. Я же хочу высказать только несколько общих мыслей, которые вызвало во мне чтение статьи Б. Л. Двинова. В своей заключительной фразе он призывает «каждого русского патриота и каждого русского демократа са-

мым определенным образом осудить» власовское движение, «морально и политически». Насколько я его понимаю, моральному осуждению подлежит прежде всего пораженчество власовцев. Прежде чем перейти к вопросу о моральном осуждении пораженчества, я должен сказать, что меня смущает некоторое противоречие в отдельных заявлениях Б. Л. Двинова насчет самого факта русского пораженчества в последнюю войну. С одной стороны, он как будто доказывает, что никакого пораженчества не было. С другой стороны, он пишет: «За всю тысячелетнюю историю России, столь богатую вторжением иностранных завоевателей, не было до этого случая образования, или попытки образования, русской национальной армии, которая сражалась бы на стороне врага». В другом месте он указывает, что сотни тысяч красноармейцев добровольно пошли на службу к Гитлеру и что в конце войны число их дошло до 800.000 человек. Казалось бы, такую массовую готовность сражаться на стороне врага, или во всяком случае пойти на службу к врагу, следует признать крайней, можно даже сказать — разительной, формой пораженчества. Правда, Б. Л. Двинов повидимому делает различие между двумя отдельными хронологическими фазами: пораженчества не было пока советская армия сражалась на родной земле, и массовый переход к врагу начался только уже в плену. Но даже если это и так (повторяю, в суть этого спора я входить не могу — прежде всего потому, что специально этим вопросом не занимался), всё же этот позднейший массовый переход к врагу, беспримерный не только в истории, но и в опыте последней войны, нельзя объяснить иначе как наличием психологических предпосылок явно и резко пораженческого характера. А на этом фоне власовское движение перестает быть каким-то изолированным или случайным эпизодом и, наоборот, становится явлением огромного симптоматического значения.

Конечно, размеры любого движения еще не решают вопроса о моральной его оценке. Говоря о сотнях тысяч красноармейцев, добровольно пошедших на службу к Гитлеру, и называя это явление «козырным тузом» в объяснениях власовцев, Б. Л. Двинов указывает, что они были в рядах Вермахта, который имел целью не только борьбу против советского режима, но и против русского народа и русского государства. Должен сказать, что я вообще не могу представить себе войны, в которой борьба не велась бы против народа и государства. Германия в первой мировой войне и Япония в 1904-1905 г.г.

тоже не ограничивались борьбой против императорского режима, а вели борьбу против русского народа и государства. Даже если представить себе освободительную войну, в самом чистом, свободном от всяких своекорыстных элементов виде, то непосредственно и такая война с неизбежностью будет войной против освобождаемого народа и его государства. А между тем, как это Б. Л. Двинову известно, и во время первой мировой войны, и во время русско-японской войны — в русском революционном движении были пораженческие течения, да и в наши дни обращенные к Западу призывы пойти войной на Советский Союз с освободительными целями исходят далеко не от одних власовцев. Всё это я говорю только для того, чтобы показать, что вопрос о пораженчестве далеко не так прост. Пораженчество и измена не равнозначны. Самый термин «пораженчество» возник потому, что явилась необходимость различать между своекорыстными изменниками и людьми, готовыми итти на поражение своей страны из тех или иных идейных соображений. Перед идейным пораженцем встает тяжелая задача решить, готов ли он рискнуть временным поражением своей страны во имя ожидаемых им от такого поражения благих результатов — не для себя лично, а для своего народа. В своем сознании такой пораженец остается патриотом. В конце концов и Герцен был пораженцем, когда желал победы польским повстанцам над русскими войсками, но в этой победе он видел благо не только для Польши, но и для России.

Я вполне допускаю возможность такой точки зрения, с которой пораженчество всегда и при всяких условиях является подлежащим безусловному осуждению злом, какими бы мотивами оно ни вдохновлялось и какие бы цели ни преследовало. Может быть, Б. Л. Двинов и стоит на такой точке зрения и только такая позиция кажется ему патриотической. Но тогда осуждению наряду с власовцами подлежат и многие другие пораженцы, прежние и теперешние, в том числе и такие, в чистоте моральных побуждений которых, думаю, и у Б. Л. Двинова сомнений быть не может. Возможно однако и то (из статьи его это не совсем ясно), что для Б. Л. Двинова существует законное и незаконное пораженчество и что решающим является то, с *каким* врагом пораженцам приходится иметь дело. Если этот враг Гитлер, то пораженчество подлежит самому решительному осуждению. Если же бы нечто вроде власовского движения образовалось, скажем, во время гипотетической освободительной войны западного мира против Советско-

го Союза, то тогда оно было бы оправдано (во избежание недоразумения подчеркиваю, что я такой мысли Б. Л. Двинову определенно не приписываю). Но тогда возникает другая трудность. Если законность или незаконность военно-политического сотрудничества с иностранным государством определяется характером партнера, то как, с точки зрения абсолютного морального критерия, оправдать военное сотрудничество западного мира со Сталиным? Чем Сталин был лучше Гитлера или Гитлер хуже Сталина? Я не принадлежу к числу тех, которые осуждают западные демократические страны за их военный союз с Советской Россией. Во-первых, в сложившихся обстоятельствах у них другого выхода не было, а во-вторых, в этот исторический момент нацистская Германия казалась им непосредственной и наиболее грозной опасностью и Гитлер был для них врагом № 1-ый. Но ведь вплоть до самой войны и Советский Союз был для них антагонистом, политическим, если не военным, врагом — и их сотрудничество с этим врагом можно рассматривать как своего рода «выбор» меньшего из двух зол. Это можно понять и даже оправдать с точки зрения политической целесообразности[1], но мораль здесь не при чем. Не трудно представить себе, что для русских пораженцев непосредственной и наиболее грозной опасностью могло казаться продление и укрепление советского режима, что для них врагом № 1-ый был не Гитлер, а Сталин, и что, идя на сотрудничество с Гитлером, они тоже выбирали наименьшее из двух зол. Выбор этот можно осуждать как политически нецелесообразный, но почему только к ним применять моральную мерку? С моральной точки зрения сотрудничество со Сталиным и сотрудничество с Гитлером следовало бы признать эквивалентным — если только не стать на крайне националистическую позицию, категорически отрицающую право морального суда над своей родиной («my country — right or wrong», по известному английскому выражению). Ко всему сказанному надо еще добавить, что основной предпосылкой всякого пораженчества[2] является решительный отказ от отождествления родины с

[1] Такое оправдание не исключает, конечно, осуждения тех роковых ошибок, которые были допущены западными союзниками в их политике военного времени. Об этом я писал в предыдущей книге «Нового Журнала».

[2] Кроме, конечно, пораженчества ленинского типа, для которого понятие родины самостоятельной ценности вообще не имеет.

господствующим в ней в данный момент режимом. Для такого разграничения коммунистический режим в России дает, казалось бы, достаточно законные основания — едва ли не в большей степени, чем какой-либо другой режим во всей мировой истории.

Еще одно замечание, относящееся всё к тому же вопросу о пораженчестве. Фактическое военное сотрудничество с врагом есть, конечно, самая крайняя форма пораженчества. Но если применять к пораженчеству абсолютный моральный критерий, то и более мягкие его формы тоже должны быть подвергнуты осуждению. Ведь не только прямая пропаганда пораженческих идей, но и гласное выражение сомнений насчет моральной оправданности данной войны, или хотя бы только ее политической целесообразности, может понизить дух армии и всего населения страны, и тем самым ослабить национальную обороноспособность. Более того, даже и резкая критика господствующего режима во время войны может иметь такие же последствия. Всё это не праздные теоретические предположения, а вполне реальная и трагическая по своему существу проблема, которая стояла и перед русской политической оппозицией во время первой мировой войны, и перед русской антикоммунистической оппозицией — во время второй.

Из этого — для меня, по крайней мере — следует, что вопрос о моральной оценке пораженчества власовцев не поддается простому и прямолинейному решению. К нему нельзя подходить и на него нельзя отвечать, не принимая во внимание ни тех конкретных обстоятельств, в которых оно возникло и развивалось, — во всей их сложности, ни тех мотивов, которыми его участники руководились — во всем их многообразии. Б. Л. Двинов протестует против «метода подмены подлинного политического анализа каким-то психоанализом и густым туманом интуиций». «Психоанализ» здесь едва ли удачный термин: он имеет определенное техническое значение, к данному случаю едва ли применимое. Но моральная оценка без установления мотивов просто невозможна, а такое установление в свою очередь невозможно без попытки произвести психологический анализ. Едва ли в таком анализе можно ограничиться одними документами (большей частью официального характера) или избранными свидетельскими показаниями. Общеизвестно, что даже в нормальных условиях люди не всегда говорят то, что думают, и не всегда действуют в соответствии с тем, что они говорят, а условия, в которых пришлось думать,

говорить и действовать власовцам, конечно, были очень далеки от нормальных.

«Густой туман» никакому анализу помочь не может, но ведь не всякая интуиция ведет к туману. С другой стороны, именно в психологическом анализе, как бы осторожен и научен он ни был, без интуиции обойтись едва ли возможно. Для установления мотивов чьих бы то ни было поступков нужна способность к вчувствованию (то, что по-английски называется empathy, а по-немецки Einfülung), т. е., проще говоря, достаточная доля воображения для того, чтобы поставить себя в положение того, чьи мотивы подлежат выяснению[3]. Само собой разумеется, что заключения, достигнутые путем применения этого рода интуиции, не должны быть совершенно произвольными, не связанными ни с общими психологическими законами, ни с теми конкретными условиями, в которых в данном случае эти законы действовали. Не могут эти заключения и быть категорическими: при всем развитии современной психологии изречение «чужая душа — потемки» в какой-то мере остается в силе даже и для профессиональных психологов: пока еще никто никого «насквозь» не видит. Это обязывает к сугубой осторожности — и особенно в тех случаях, когда приходится иметь дело с психологическими явлениями массового характера — там, где в события вовлечено огромное число людей с неизбежными различиями в индивидуальной психике, а следовательно и в мотивах их действий.

Показательно, что Б. Л. Двинов, отрицая законность психологического анализа (или, по его терминологии, психоанализа) в применении к власовскому движению, в сущности сам его производит. Так, он утверждает, что причина «добровольчества» (слово это он берет в кавычки) сотен тысяч красноармейцев заключалась в том, что они «не хотели умирать» в лагерях для военнопленных. Ему это повидимому кажется исчерпывающим объяснением, исключающим необходимость искать какие-либо другие мотивы. Признаюсь, что категоричность этого утверждения меня удивляет, тем более, что в данной статье оно сделано на основании показаний *одного* «участника событий». Но даже если бы таких показаний было

---

[3] Именно в этом смысле я понял то заявление Ю. П. Денике («я думаю, что по всей вероятности я был бы с Власовым»), в котором Б. Л. Двинов усмотрел «морально-политическую реабилитацию» власовцев «путем простого заявления, без всяких объяснений».

приведено много больше, неужели Б. Л. Двинов действительно думает, что на основе этой документации можно с уверенностью построить всеобъемлющую формулу, покрывающую мотивы поведения восмисот тысяч людей (беру им же приведенную цифру)? Объяснение его вызывает во мне и другого рода сомнения. Во-первых, поскольку дело касается власовского движения, даже я, при своем ограниченном в этом отношении опыте, мог бы назвать целый ряд лично мне известных власовцев, которые в лагерях для военнопленных не находились, которым голодная смерть не угрожала и которые тем не менее добровольно (без кавычек) пошли на службу не к Вермахту, а во власовские части, когда они были образованы, — без всякой уверенности в том, что это сохранит им жизнь. Да и у красноармейцев из числа военнопленных такой уверенности тоже быть не могло; идя на службу в Вермахт, должны же они были знать, что их могли послать и на фронт, где как известно гарантии от смерти не бывает.

Если в данном случае Б. Л. Двинов считается с объективной обстановкой и находит в ней «смягчающие вину обстоятельства» (в конце концов умирать никому не хочется!), то непонятно, почему он в своем анализе ограничивается условиями жизни в лагерях для военнопленных и не принимает во внимание весь их предыдущий жизненный опыт в Советской России. Ведь это тоже объективный фактор и притом огромного значения — фактор, без учета которого невозможно оценивать как пораженчество в целом, так и в частности власовство, ни с моральной, ни с политической точки зрения. Правда, в заключительной фразе своей статьи он говорит о власовстве, как о «порожденном сталинизмом явлении». Но в его устах это звучит — на мой слух, по крайней мере, — как осуждение. Между тем эта причинная связь между сталинизмом (вернее — всем советским режимом с самого его начала) и власовством (или вообще пораженчеством) казалось бы, должна была служить как исходный пункт во всякой попытке понять и объяснить власовское движение — прежде чем выносить ему тот или иной приговор. Да, конечно, режим коммунистической диктатуры породил власовство — так как всякий тиранический режим порождает в угнетаемом им народе ненависть и желание так или иначе от него избавиться. У одних это может быть простое чувство личного самосохранения, у других — стремление к свободе и к защите своего человеческого достоинства, у третьих — пафос национального осво-

бождения. Эта реакция может принимать различные формы, может быть политически целесообразной и нецелесообразной, сочетаться с очень различными по своей этической природе страстями и с большей или меньшей разборчивостью в средствах, но основной психологический ее фон остается один и тот же, и его определяющее значение нельзя упускать из виду ни на одну минуту.

Оценка власовского движения с точки зрения политической целесообразности может быть дана, конечно, вне всякой зависимости от оценки моральной. История знает много случаев индивидуальных политических действий и целых политических движений, продиктованных самыми благородными мотивами и проникнутых возвышенными, иногда даже героическими, чувствами, которые однако оказались политически нецелесообразными и даже вредными. О политических расчетах вождей власовского движения я говорить не берусь. Как я уже указывал, вопроса этого я специально не изучал, а из той литературы о власовстве, которую я прочел, у меня сложилось впечатление, что далеко не всё еще достаточно выяснено и что далеко не все нужные для этого изучения документы (особенно с немецкой стороны) уже опубликованы. Б. Л. Двинов повидимому считает, что для окончательного суждения по этому вопросу материалов достаточно. Но в одном по крайней мере пункте его аргументация не показалась мне убедительной. Возражая Ю. П. Денике, он между прочим, спрашивает: «если Власов не верил в возможность победы Германии, то непонятна... его цель — чего же он добился бы при поражении?» Прежде всего, из чтения доступных мне текстов выясняется, что Власов пытался убедить немцев в невозможности их победы над Сталиным без мобилизации враждебных режиму русских сил. Всё равно, видеть ли в этом выражение искреннего убеждения Власова или простой тактический ход с его стороны, имевший целью поднять в глазах немцев удельный вес своей группы, — выдвигавшаяся им концепция не равносильна признанию невозможности немецкой победы вообще.

За неименьем для того достаточных данных, не берусь судить, лежала ли за этим какая-нибудь «политика дальнего прицела»? Но я по крайней мере не решился бы категорически утверждать и противоположного, т. е., что у Власова и его сотрудников не было политического расчета подобного тому, на котором построил свою политику во время первой мировой

войны Пилсудский: сначала Гитлер разобьет Сталина, а потом Россия рано или поздно от него отделается с помощью западных союзников. В последней стадии войны, когда неизбежность поражения Германии уже становилась очевидной, мог возникнуть и другой вариант: покончив с Гитлером, победоносные союзники покончат и со Сталиным. Опять же у меня нет данных ни для того, чтобы утверждать, ни для того, чтобы отрицать, что у вождей власовского движения такой расчет был. Но что среди рядовых власовцев было распространено убеждение в неизбежности немедленного, после победы над Гитлером, вооруженного столкновения между Советской Россией и западной коалицией, в этом я имел неоднократный случай убедиться. И по той горячности, с которой мой собеседник реагировал на скептические замечания насчет неправдоподобности такого хода событий, было видно, что это было их действительное убеждение, а не аргумент возникший в порядке самооправдания. Я готов допустить, что то, что нам жившим в свободном мире и знакомым с западной психологией того времени могло казаться совершенно неосуществимым и даже фантастическим, — людям, вырвавшимся из советской тюрьмы и оказавшимся в немецком плену, не имевшим ни там, ни здесь никакой сколько-нибудь правильной информации о западном мире, но всё же знавшим о его отталкивании от коммунизма, наоборот представлялось чем-то почти что само собой разумеющимся. И я не знаю, можно ли этому особенно удивляться, если как это теперь выяснилось, даже у Черчилля возникла мысль, что может быть придется вооружать военнопленных немцев для совместного с западными войсками отпора советской армии!

Я не имел в виду сказать какое-либо «последнее слово» о власовском движении. Целью моей было указать на сложность тех связанных с ним вопросов, на которые Б. Л. Двинов — на мой взгляд, без достаточных к тому оснований — находит возможным давать столь категорические ответы. Я считаю себя и русским патриотом и демократом, но ни в том, ни в другом качестве я, по совести, не вижу себя вынужденным осудить власовское движение «самым определенным образом, морально и политически».

М. Карпович

БИБЛИОГРАФИЯ

ПО ПОВОДУ ИСТОРИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ПУШКИНА

Research Program on the U.S.S.R. издал в истекшем 1953 году в Нью-Йорке The Pushkin Edition of the Academy of Sciences by Ludwig Domherr.

Нельзя не приветствовать самым горячим образом появление этой книги, драгоценной для пушкиноведов и интересной для пушкинистов (т. е. для тех, кто интересуется Пушкиным). Книга, составленная Л. Домгером, настолько объективно-добросовестно и полно излагает историю академического издания сочинений Пушкина начиная с I-го тома, вышедшего в 1899 году под редакцией академика Л. Н. Майкова, что не вызывает никаких возражений и позволяет сделать только несколько замечаний.

Прежде всего приходится пожалеть, что составитель, дав подробную хронологическую историю издания сочинений Пушкина, почти вовсе не коснулся принципов издания, сделав исключение только для вопроса об орфографии сочинений Пушкина. Несмотря на то, что советские редакторы всячески изворачиваются, чтобы защитить перевод Пушкина на чуждую ему новую орфографию, им не удается в этом убедить читателя. Если еще можно как-нибудь оправдать новую орфографию текстов сочинений Пушкина, то уж совершенно непонятно, почему письма Пушкина, печатающиеся по подлинным пушкинским оригиналам (в которых никакой другой орфографии кроме пушкинской не могло быть) издаются только с «большим сохранением орфографических особенностей». Я говорил выше о добросовестности и полноте истории академического издания, изложенной Л. Домгером, но эта история изложена по советским документам, часто тенденциозным и непроверенным, и потому нуждается в некоторых дополнениях и исправлениях.

В качестве бывшего секретаря комиссии по изданию сочинений Пушкина, одного из редакторов старого академического издания и ученого хранителя, заведывавшего рукописным отделением Пушкинского дома, я могу внести поправки в историю старого

академического издания. И прежде всего исправлю ошибку, касающуюся лично меня на странице 9; привожу это место: «Февральскую революцию, а затем Октябрьский переворот Комиссия по изданию сочинений Пушкина встретила работой над IX томом (критическая и публицистическая проза), начатым набором еще в 1912 году (редактор Н. К. Козман), и над «Евгением Онегиным», порученным молодому и талантливому М. Л. Гофману. Последний, отчаявшись в возможности издания тома, выпустил лишь «Пропущенные строфы» с приложением ценного перечня всех сохранившихся рукописей «Онегина». После отъезда М. Л. Гофмана за границу работа над томом прекратилась». Во-первых, я нисколько не отчаялся в выходе тома и не имел оснований отчаиваться, а напечатал в «Пушкине и его современниках» свое исследование «Пропущенные строфы Евгения Онегина» отчасти потому, что это исследование имело самостоятельный интерес, отчасти же потому что я редактировал шестой том «Евгения Онегина» в двух больших полутомах (в первом полутоме — текст, во втором — комментарии) и знал, что в революционное время (мое исследование было напечатано в 1922 году) печатание двух больших полутомов отнимет много времени, а и мне, и редактору «Пушкина и его современников» хотелось скорее обнародовать новинки пушкинского текста. Во-вторых, в 1921 году я сдал в Комиссию приготовленный мною к печати шестой том, и мне неизвестно, что было сделано с ним после того как я уехал в качестве представителя Академии Наук в научную командировку. Затем, хочу сделать добавление о деятельности Комиссии по изданию сочинений Пушкина в 1922 году по моему докладу (я заменил Б. Л. Модзалевского на посту секретаря Комиссии), Комиссия решила прервать академическое издание Пушкина, зашедшее в тупик благодаря разношерстности и текстовой неудовлетворительности вышедших томов, и приступить снова к изданию только после того, как будет проделана громадная предварительная работа — изучение всего рукописного фонда Пушкина. Очень жаль, что советское издание было предпринято без этой предварительной работы: отсюда его неизбежные недостатки.

Могу также дополнить рассказ Л. Домгера о «разгроме» Пушкинского дома. Домгер пишет: «Особому разгрому, наряду с другими гуманитарными учреждениями, подвергся Пушкинский дом. Обвинительный акт против него сформулирован в предисловии к I-му тому «Литературного Наследства» (М. 1931) в следующих крепких выражениях: «Пушкинский Дом под видом работы над историко-литературными материалами развил прямую контр-рево-

люционную, вредительскую деятельность. Бывшее руководство во главе с Платоновым, являвшееся в то время верхушкой монархической организации, ...проводило вредительскую тактику по отношению к ряду ценнейших архивных фондов. Были сокрыты архивы ЦК РСДРП за 1906 г., ЦК меньшевиков, ЦК кадетов, архивы Лаврова, Струве, Водовозова. Связки различных царских документов скрывались с прямыми контр-революционными целями. ...В своей издательской деятельности руководство Пушкинского Дома занималось в основном печатанием материалов относящихся к буржуазно-дворянской (!) линии истории литературы. Основная часть публикации падала на *пушкинскую эпоху* (подчеркнуто мною Л. Д.) и работа шла больше по части крохоборческих изысканий и т. д. (в том же роде). Академик С. Ф. Платонов и некоторые руководящие сотрудники Пушкинского Дома были вскоре арестованы и сосланы. Только скоропостижная смерть избавила Б. Л. Модзалевского, его вдохновителя и фактического директора, от кары».

В этой цитате из «Литературного Наследства» правда до такой степени переплетена с неправдой, что необходимо восстановить истину: Пушкинский Дом действительно был детищем Б. Л. Модзалевского, и он работал над его созданием задолго до официального его учреждения. Когда, в самые первые годы XX-го века, я приходил к Б. Л. Модзалевскому в Архив Академии Наук, которым он заведывал, он уже ни о чем другом не думал, как о Пушкинском Доме, и собирал для него литературные архивы. Неутомимость его в деле собирания материала была изумительна: он был готов на всё, только чтобы раздобыть тот или другой архив. Он ухаживал за наследниками писателей, убеждая их пожертвовать то, что должно быть не личным, а обще-русским достоянием, и что может пропасть в частных руках во время беспорядков (сколько действительно драгоценных литературных материалов погибло во время первой русской революции 1905 года!), и если ему не удавалось уговорить пожертвовать, он убеждал передать на хранение в Пушкинский Дом. Культ Пушкина и его эпохи особенно был силен в Модзалевском, и он всю жизнь работал над Пушкиным. Не обладая большим талантом, Б. Л. Модзалевский был прекраснейшим и добросовестнейшим работником (преимущественно «крохобором») — всякие обобщения ему были чужды, да он и боялся их. В нем было также желание помочь каждому работающему по Пушкину. Изучение Пушкина было для него неизмеримо дороже, чем удовлетворение своего честолюбия: ему всё равно было, будет ли названо его имя или нет, лишь бы было подвинуто дело изучения Пушкина, и он был трогателен в своей помощи пушкинистам и пушкиноведам. Он был

пушкинистом и в своих политических взглядах; будучи либералом-прогрессистом, он был резким и ярым противником всяких насильственных переворотов и в революционную эпоху не только должен был казаться, но действительно был «правым». Вообще же он был абсолютно вне политики, и заставить его принять активное участие в политической борьбе — за революцию или против революции, безразлично, — было немыслимо. Но он был настроен против большевиков и против советской власти и «спасал» контр-революционеров, принимая на хранение от них в Пушкинский Дом такие компрометировавшие их бумаги, за которые они могли бы поплатиться жизнью (я очень не сочувствовал тому, что Б. Л. Модзалевский такими вещами ставил под угрозу Пушкинский Дом, но не имел ни возможности, ни права вмешиваться в это). Б. Л. Модзалевский так много сделал для Пушкинского Дома, что конечно он должен был быть его директором — он фактически и был им, но не будучи академиком (он с трудом сделался членом-корреспондентом Академии Наук), не имел права быть официальным директором — ему необходима была официальная ширма. Такой ширмой был первый директор Пушкинского Дома — академик Н. А. Котляревский, который охотно позволял всем распоряжаться Б. Л. Модзалевскому. Но в 1922 году Н. А. Котляревский уехал в Софию и временным директором Пушкинского Дома был назначен академик С. Ф. Платонов, который был совершенно не в курсе дел Пушкинского Дома и совершенно не имел представления о том, какие архивы Модзалевский в нем скрывал. Он не успел еще войти как следует в исполнение своих новых обязанностей, как произошел чекистский налет на Пушкинский Дом, и С. Ф. Платонову как официальному директору пришлось отвечать за «грехи» Б. Л. Модзалевского. Формально но не по существу С. Ф. Платонов был ответствен за то, что делалось в Пушкинском Доме, но за что были арестованы и сосланы «некоторые руководящие сотрудники», за что, например, пострадал Н. В. Измайлов — на этот вопрос никто не может ответить.

Далее. Утверждение обвинительного акта, будто бы «Пушкинский Дом под видом работы над историко-литературным материалом развил прямую контр-революционную вредительскую деятельность» заведомо абсурдно. Нельзя забывать о необходимости для служащих добывать средства к существованию (на нищенское жалованье Пушкинского Дома и на доходы с научной работы существовать было невозможно — так, на гонорар, который я получил, представив приготовленный мною к печати шестой том академического издания сочинений Пушкина, я мог купить ...фунт черного

хлеба). Я помню, как на меня сердился Б. Л. Модзалевский за опаздывание на работу, но что я мог сделать, когда должен был сверх своих работ в Пушкинском Доме читать лекции в Губернском Институте Народного Образования, преподавать в Агрономическом Институте и в школе второй ступени, участвовать в заседаниях культурно-просветительной комиссии при начальнике штаба Петроградского военного округа, заведывать литературными кружками в семи красноармейских частях и пр. В силу этих обстоятельств работа над историко-литературным материалом производилась крайне медленно, но все сотрудники в Пушкинском Доме ничем другим кроме работы над историко-литературным материалом не занимались и *ни один сотрудник* не занимался никакой контр-революционной вредительской деятельностью. На утверждение, что руководство Пушкинского Дома занималось в основном печатанием материалов относящихся к «буржуазно-дворянской литературе», основная часть которых падала на пушкинскую эпоху, возражать не приходится: это совершенно верно. Но позволительно задать два вопроса и высказать, одно недоумение. Прежде всего разве Пушкинский Дом мог заниматься изданием пролетарской литературы? Второй вопрос: а разве после разгрома Пушкинского Дома не продолжали советы то же дело и не издавал Госиздат материалов и исследований по буржуазно-дворянской литературе? А затем, в заключение, позволительно выразить недоумение: как советская власть не только разрешает, но и поощряет издание сочинений Пушкина, которые по существу своему являются «вредительством» с советской точки зрения? Ведь сколько бы ни старались советские пушкиноведы и пушкинисты выкрасить Пушкина в красный цвет (даже печатая под его именем революционные стихотворения, вроде «Любви, надежды, тихой славы», которых он никогда не писал, как я это доказал в советском журнале), врага революции и защитника монархии коммунистом никак не сделаешь. Ограничусь только двумя цитатами, которые достаточно красноречиво говорят об этом. Первая цитата заимствована из «Капитанской Дочки», вторая — из «Вольности». В «Капитанской Дочке» Пушкин пишет: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный! Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим и своя шейка копейка и чужая головушка полушка». А вот заключительная строфа из характерной для либерализма Пушкина «Вольности» (надо быть слепо пристрастным, чтобы не видеть, что Пушкин в такой же степени не был реакционером, как не был революционером):

И днесь учитеся, Цари!
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари,
Неверные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Приятно нам это или неприятно (конечно, неприятно и революционерам и реакционерам) но слова «станут вечной стражей трона — народов вольность и покой» можно понимать только как защиту монархии, а не как желание свергнуть ее. И конечно, всякий убежденный и последовательный коммунист должен был бы протестовать против издания и распространения сочинений Пушкина.

М. Л. Гофман

БОРИС ЗАЙЦЕВ. ЧЕХОВ. Литературная биография. Изд-во им. Чехова. Нью-Йорк. 1954. Printed by Rausen Bros.

В 1954 году исполнилось 50 лет со смерти А. П. Чехова. Нью-йоркское издательство его имени выпустило к этому траурному юбилею ценную книгу. Она принадлежит перу известного писателя Б. К. Зайцева, в ранней молодости лично знавшего Чехова, тщательно изучившего его литературное наследство и, что пожалуй наиболее важно, в значительной степени психологически созвучного чеховской музе. Манере Зайцева тоже свойственны мягкость, лиризм, полутона, грусть, что во многом характерно и для чеховского творчества. Б. К. Зайцев *любит* Чехова, и эта любовь освещает всю книгу, задача которой — воссоздать облик писателя, скромно считавшего себя автором «средней величины», но ставшего в ряд знаменитых русских мастеров слова.

Почти господствующим стало мнение о Чехове, как о непоколебимом позитивисте рубежа 19/20 веков, как о горячем стороннике науки и идеи прогресса. Об этом говорят чеховские записные книжки, дневники, письма и ряд его художественных произведений. Если пользоваться только цитатами, вложенными Чеховым в уста его персонажей, то, подбирая их так или иначе, можно Чехова изобразить и последовательным материалистом, и человеком глубоко аполитичным, «с древком без знамени». Кем же он был в действительности?

Именно этим вопросом и занят Б. К. Зайцев в своей книге **«Чехов»**. Используя не только анализ чеховских произведений, но пристально изучая биографический материал, письма, воспомина-

ния современников и проверяя свои собственные впечатления от встречи с Чеховым, Зайцев хочет увидеть и изобразить, как *«наружного»*, так и *«внутреннего»* (по его, Зайцева, словам) Чехова, показать то психологически-скрытое, что было (или — что *могло* быть) в Чехове, но бережно им хранилось в интимных глубинах сердца и что иной раз... даже и им самим, может быть, не осознавалось...

Чего же именно ищет с особой тревогой и настойчивостью Зайцев у Чехова? Глубинных религиозных эмоций, зароненных в чеховскую душу еще в детстве и пронесенных через всю жизнь, что иногда всплывало на поверхность и освещало его страницы благостным светом. На стр. 13-14 книги — ключ ко всему замыслу Б. К. Зайцева: «...но так ли уж бесследно проходило для души общение с великим и святым? того мы не знаем. А что в Чехове под внешним жило и внутреннее, иногда вовсе на внешнее не похожее, это увидим еще, всматриваясь в его жизнь и писание, сличая внешнее, отвечавшее серой эпохе, с тем внутренним чего, может быть сознательный Чехов, врач, наблюдатель, пытавшийся наукою заменить религию, и сам не очень-то понимал».

Действительно, вся книга Зайцева так и построена, чтобы обнаружить нечто иррациональное в Чехове и его писаниях. С особым вниманием рассматриваются образы священника Христофора («Степь»), религиозных крестьян («Мужики»), Аксиньи. носящей на себе отблеск образа Матери-Девы («В овраге»), архиерея (рассказ под этим названием). Откуда у позитивиста Чехова такая «пронзительная» прозорливость в сфере таинственных религиозных чувств? Нужно признать, что замысел Б. К. Зайцева обогащает «чеховиану», в особенности теперь, когда с явным злоупотреблением подчеркивается сомнительный прямолинейный позитивизм (и будто бы атеистический материализм) Чехова. Зайцев заставляет над многим задуматься и переоценить.

Книга его носит несколько непривычный подзаголовок: «литературная биография». Понимать это надо, повидимому, не как обычный историко-литературный этюд, а как воссоздание облика Чехова *художественными* приемами: писатель-художник рисует портрет, выделяя те особые черты «натуры», которые предстают перед ним особенно выразительно. Б. К. Зайцев во многом *угадывает* то утаенное, что теплилось в Чехове и что не может быть доказано документально. Подобное угадывание тем доступнее автору, что он — сам художник, знающий то смутное состояние души, когда иррациональное многое определяет в творчестве.

Однако, вышеуказанный замысел иногда влечет за собой не-

произвольную ретушь: чувствуется ироническая предвзятость в характеристике интеллигентов-позитивистов («в пенснэ и с бородками») рубежа 19/20 столетий, презрительность к «буревестникам» (типа М. Горького), которые все-таки сыграли не только отрицательную роль в «серую эпоху» среди «хмурых людей». К сожалению, мало уделено внимания особенностям чеховского юмора (особенно — в начальный период), и «секретам» чеховской писательской манеры, его драматическому новаторству. Впрочем, все эти вопросы могли бы увести писателя всторону и нарушить композицию целостного художественного портрета, сделанного нежнейшими штрихами зайцевской пастели; главы о «Чайке» и Лике Мизиновой, об ялтинской жизни и о любви — действительно образцовые страницы романизированной биографии: облик Чехова и его спутников поэтичен и предельно-выразителен.

«Чеховиана» все пополняется новыми «ума холодными наблюдениями и сердца горестными заметами», в них еще бурлят идейные расхождения, искания, обостряемые особенностями нашей расколотой на два лагеря эпохи, и, очевидно, ждать всестороннего объективного изображения «всего» Чехова, во всей его сложности, даже через пол-столетия после его смерти еще невозможно. Но те черты психологии и мастерства Чехова, которые Б. К. Зайцев выдвигает на первый план в своей ласковой книге и которые почти не затрагивались раньше, очень существенны, их замалчивать нельзя, — они подмечены зорким глазом и делают более полным наше представление об удивительном Чехове, слава которого неизменно продолжает расти.

Петр Ершов

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. Оставь надежду навсегда. Изд. Им. Чехова. Нью-Йорк. 1954. Printed by Rausen Bros.

Однажды в разговоре с Артуром Кестлером я сказал ему, что в его романе «Затмение в полдень» есть места несоответствующие действительности. Герой романа из одиночной камеры смотрит через «глазок» в тюремный коридор, но в советских тюрьмах «глазок» со стороны коридора обязательно закрыт навесной задвижкой. Герой романа через окно разглядывает тюремный двор, в то время как окна камер советских тюрем закрыты козырьками. Команды «отбоя» и «подъема» в тюрьме, по Кестлеру, подаются радиосигналами, когда на самом деле никаких радиосигналов нет.

Я обстоятельно перечислил Кестлеру подобные неточности в его романе. Он выслушал и сказал: «Жалко, конечно, что я не знал этих подробностей». А потом подумал и добавил: «Но без этого мне

обойтись всё равно было бы трудно. Да и так ли это важно для романа?» После, перечитывая роман Кестлера, я и сам думал: в самом деле так ли уж важны эти несоответствия? Мне не хотелось расставаться с моим знанием советской тюрьмы, советской жизни, с моим личным опытом. Но я честно спросил себя: а роман хорош? Роман мне нравился, я прочел его с интересом, «Затмение в полдень» — роман в литературном смысле блестящий. И даже отдавая дань укоренившейся в нашей литературе точке зрения об обязательной общественной *пользе* литературного произведения, я не мог не согласиться с тем, что этот роман принес и такую пользу.

Всё это вспомнилось мне, когда я читал роман Ирины Одоевцевой «Оставь надежду навсегда». В нем я тоже заметил ряд несоответствий и в положениях, и в языке некоторых героев. Маршал Волков обедает в офицерской столовой, ходит читать в офицерское «собрание» (офицерских собраний в советской армии нет, есть офицерские клубы). Если советские маршалы иногда и обедают в столовых, то в «столовых военного совета», в крайнем случае в «генеральских» столовых. Обычно же маршал обедает и читает у себя дома или в специальном кабинете. Маршал Волков в поезде перед зеркалом в купэ «поправляет» на груди один из орденов «иконостаса», но в дороге маршалы орденов не носят, а только орденские планки. «Черные шинели милиционеров перемешивались с защитным цветом солдат» — это на пограничной станции. В действительности на пограничных станциях милиционеров нет, да и шинели у них не черные, а темно-синие. «Мужик в лаптях» у границы немыслим, тем более с польской стороны. «Партийный комитет» не «фильтрует» местную газету — для этого имеются другие учреждения. Замена заключения Луганову ссылкой после того, как его «делом» занимался сам «великий человек», вещь невероятная. И совсем невозможно, чтобы из Москвы Волков поехал с репрессированным Лугановым в одном купэ. Доносы на Луганова его московских друзей-писателей не могли быть в шкафу Волкова где-то в провинции — они были бы в архивном отделе НКВД в Москве.

То же и в языке. «Пролетарская дисциплина», «буржуазное правительство» — так говорили в двадцатых годах. Во время действия романа сказали бы: «партийная, производственная дисциплина», «капиталистическое правительство». «Городские новости» — такое название для советской газеты немыслимо. «Городской администратор» — такого выражения нет. Волков иногда говорит для советского деятеля слишком по-старомодному. Оперативник НКВД во время обыска у Веры говорит: «Только потрудитесь уж показать» — так выражались жандармские офицеры. Я перечислил то, что мне бро-

силось в глаза, как не советское, как отступление от реальности.

Язык романа очень хорош, образность его свежа, метка. Много сильных мест, просто удивительных для писателя, не жившего в Советском Союзе. Вот, например, необыкновенно интересный разговор Волкова с Лугановым перед убийством Луганова: «Я сомневаюсь. В чем? В советской власти, которой служу или в русском народе...? — сделав паузу, он достал папиросу и закурил. — В том-то и дело, то-то и странно, что сомневаюсь в обоих». — «С кем мы? С Богом или с чортом? В том-то и дело, что мы и с Богом и с чортом». — «Хулиганство. Зло, не приносящее выгод, зло для зла, так сказать, фантазия души». — «Странный, странный вы народ, русские интеллигенты. Такие умные и в то же время такие отчаянные дураки». Очень хорошо Волков говорит о своем сердце: «Не доброе и не злое. Исправное сердце. Может выдержать любую нагрузку» — веришь, что это говорит крупный советский работник. Хороша и сцена с часами убитого Луганова на руке его друга, Волкова, когда Вера говорит: «Дайте хоть послушать, как они тикают». Разговор Волкова с Лугановым, хотя в отдельных деталях и не реален, удивительно правильно передает то общее, что было в советских людях масштаба Волкова накануне и в первое время войны. Это большая удача писателя. Талант писателя дал Ирине Одоевцевой возможность заглянуть в самую суть событий, в душу советских людей и передать в них главное. Герои романа живые и в них есть то, что показывает, — с новой точки зрения — трагедию человека в условиях сталинской России. Главное достоинство романа — в интересном, точном психологическом рисунке. Главы о детстве Луганова, Волкова и «мамы Кати», встреча Луганова с приятелями-писателями, все главы о Вере — написаны замечательно, их читаешь, забывая о мелких несоответствиях. Особенно хороши Вера и «мама-Катя».

Для советских людей только один герой романа воспринимается не таким, каким его хотела изобразить писательница. Это Волков. Он и живой, и убедительный, но он не тот, кем его представил читателю автор. Помимо воли писателя, Волков в романе вышел другим. Он не типичный партработник и не сталинский маршал. Он интеллигент, пошедший в революцию, в партию. Его разговор с Лугановым — доказательство этому. Его согласие на смерть в конце романа, как раньше согласился умереть и Луганов, — не случайно. Инстинкт писателя, инстинкт художественной правды сделали Волкова таким, каким он не мог не быть — интеллигентом в партии. Сама его биография — от партработника к боевому маршалу неясна и фактически невозможна. Во время войны такую метаморфозу проделали двое — Булганин и Берия, но то совсем другие люди. Эта неувязка

только подчеркивает действительно живой образ Волкова. И неслучайно в конце романа причина его гибели «ускользает», как пишет автор, от него самого.

После прочтения романа Ирины Одоевцевой — как было и с романом Кестлера — я спросил себя: нравится ли мне роман? Да, нравится. Больше того, надо обладать зрением большого писателя, чтобы еще в сорок пятом году подсмотреть в жизни ту проблему, о которой уже потом были книги Кестлера, Сержа, а теперь — Гузенко. В романе есть и собственное разрешение этой проблемы.

Сознаться — я люблю верность деталей. Но кто будет через 30 лет знать, что у милиционеров шинели были не черные, а синие, что на пограничных станциях милиции не было. Роман «Оставь надежду навсегда» это не бытовой роман. Это социально-психологический, проблемный роман, и бытовые детали для него совсем не важны. Я уверен, что, несмотря на неточности и несоответствия, попади этот роман сегодня в Советский Союз, им там зачитывались бы. В будущем — тем более. Несоответствия забудутся, никто их даже и не заметит. Кто из нас думает за чтением «Войны и мира», что детали отечественной войны в действительности отличались от того, как изобразил их Толстой?

С. Юрасов

ЕП. ИОАНН САН-ФРАНЦИСКИЙ (Шаховской). Время веры. Изд-во Имени Чехова. Нью Йорк. 1954.

Епископ Иоанн Сан-Франциский — автор многих религиозных трудов, отдельные работы его переведены на английский, немецкий, сербский, итальянский и японский языки. Новая книга епископа Иоанна, «Время веры», содержит его «Беседы с русским народом». (Беседы эти передавались по радио-станции «Голос Америки»). Затем идут в книге заметки на деяния — «О незаметных деятелях апостольского времени». Дальше — три путевых очерка, под общим заголовком: «Странствия». И, наконец, «Время веры» — афоризмы религиозного характера.

На первый взгляд может показаться, что книга эта состоит из разнородного материала. Но ознакомившись с нею, убеждаешься, что тут всё спаяно единой и главной темой раскрытия подлинной реальности веры. «Вера есть 'уверенность в невидимом' и 'осуществление ожидаемого' (Евр. XI, 1). Она достовернее всякой реальности этого мира», — читаем мы на стр. 383. На протяжении всей книги, автор пытается бережно раскрыть сущность веры. Он ведет читателя не столько богословскими путями, сколь самобытной тропой своего духовного опыта.

О методах проповеди епископ Иоанн говорит:

«Нельзя закрывать глаза на присутствие в Церкви таких чад, кои не приемлют «твердую пищу» Духа, а нуждаются еще в молоке «душевности». Надо ревностно оберегать *последние истины Царствия Божия* от тех «опустошений», которые могут эти люди произвести в этих истинах — сами того не желая». (Стр. 320). Это бесспорно и особенно верно в своей невольной перекличке с литургическим: «Двери!.. Двери!..» (В комментариях о. Александра Шмемана).

Но наиболее сложной задачей автора, в подобном труде, является его обращенность к читателю. Начиная с первого раздела, в котором даны «Беседы с русским народом», видно, что «Время веры» рассчитано на весьма широкие слои читателей: от забывших Бога до ищущих и уже познавших Его. В этом и основное достоинство этой книги, но тут же и неминуемые, для автора камни преткновения.

В труде епископа Иоанна много мудрых и зачастую благодатно свежих определений, каковые, вероятно, дойдут почти до каждой души человеческой. Но к «твердой пище» Духа, повидимому, для «нуждающихся», автор, временами, умышленно добавляет «молоко душевности». И, утверждая Истину, в пояснение к ней, привлекает «скучные песни земли». Каковые, думается нам, при всей своей поэзии, не могут иллюстрировать «звуки небес».

Тоже, но в несколько ином варианте, может быть отнесено к малым, но досадным неполадкам, в очерке «Над Азией». Здесь автор, очень убедительно, пишет: «Внимание у корейцев я заметил большое и к пению и к миссионерским сообщениям, которые, впрочем, не всегда носили приличествующий церкви характер, но на «американский манер» пересыпались подчас детскими остротами, возбуждая в людях смех, и конечно, рассредотачивая их». Но на следующей же странице читаем: «На вокзале встретил меня военный священник штаба американских войск в Сеуле, майор Джонс, и с этого часа стал моим Виргилием и главным ангелом». До того (стр. 368) сказано: «Ангелами-хранителями моими всегда были военные священники».

Разумеется, наши небольшие критические придирки целиком относятся к категории «занозы, примеченной в глазу ближнего». Но уж очень хотелось бы, именно в этой книге чистого и благодатного опыта, видеть лишь одну, ничем не нарушаемую, ясность взора. Но всё это, конечно, мелочи, а в целом — впечатления и мысли, возникшие в странствии и в полетах над Америкой и Азией, автор книги передает «тихо и кротко — с добром», и в то же время, предельно горя-

чим, ревнующим о Господе, голосом. Несомненно, что «Время веры» найдет своего читателя и принесет обильный плод, не только в сердцах верующих, но и в душах, стоящих за оградой церковной. И мы невольно надеемся, что когда-нибудь книга эта станет достоянием и для братьев наших, «в отечестве сущих», к которым, в основе своей, она обращена.

Глеб Глинка

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА. Лесное солнце. Франкфурт. 1954.

И поэты, и читатели, любящие поэзию, уже обратили внимание на стихи Лидии Алексеевой. Ее поэзия самобытна и обладает каким-то особым колоритом, о котором трудно рассказать «своими» словами. Л. А. не только изумительный созерцатель природы, задумывающийся над ее чудесами, она близкий друг и сестра всей земной твари. Читая ее стихи мы чувствуем, как ели, сосны, подберезовики, примулы и анемоны роднятся с нашей душой, занимая в ней то место, которого раньше не занимали. Л. А. любовно изобретает и для растений и для предметов новые, редко попадающиеся ласкательные имена, она не только своим лесным солнцем, но и «родным и скудным греется теплом в огромном одиночестве земном».

Нельзя не отметить ряд прекрасных стихотворений: «Я привыкла трястись в дороге», «Ялик», «От жизни отойдя в сторонку», «Дом на Манхеттене», «Дни летят, летят, не уставая», «Моей ели», «Подберезовик», «Белый камень горяч и покат».

Если с другими поэтами хочется вести диалог, то Алексеевой хочется отдать право монолога, увлекающего читателя в ее особый мир. Среди поэтесс Л. А. стоит особняком: ни жалоб, ни «женского канона», созданного Ахматовой, ни узкого подхода к миру, как бы отраженному почти всегда в призме неудавшейся любви, у нее нет. В своих немногих стихах о любви, — а чаще о разлуке, — она никого не напоминает:

«Так тебя нетерпеливо,
Весело и тайно жду, —
Точно вместе крали сливы
В вечереющем саду, —

И теперь в мою неволю,
В утомительную ложь,
Ты мне краденую долю
Непочатою несешь!»

В поэзии Л. А. продолжает линию Фета и Бунина.

Гр. Забежинский

АРНОЛЬД Д. МАРГОЛИН. Основы Государственного Устройства США. Издательство имени Чехова. Нью-Йорк. 1954.

Нельзя не приветствовать появление этой небольшой книжки, цель которой — дать вновь приехавшим русским иммигрантам в доступной форме сведения о политическом строе приютившей их страны. В такой книге уже давно была потребность. Иммигранты из числа бывших Ди-Пи живо интересуются политической жизнью Америки, но единственными доступными для них источниками информации были элементарно составленные листовки, которыми пользуются для подготовки к натурализации. Книжка состоит из вступительной статьи А. Д. Марголина и русского перевода ряда государственных актов, причем статье уделено 45 стр., а переводам 98 стр. При всем уважении к исполненному переводчиками труду, не могу не сказать, что по характеру и назначению книги обратная пропорция — больше информации и меньше документации — была бы более целесообразной.

А. Д. Марголин — многолетний внимательный наблюдатель американской политической жизни и хороший популяризатор. Его статья написана легко и живо и будет с большой пользой прочитана людьми, нуждающимися в источнике для первоначального ознакомления с ее предметом. При столь ограниченном размере статьи автор не имел возможности дать в ней достаточно полную и законченную картину государственного строя Америки. Лучше всего ему удались первые главы, посвященные историческому происхождению американской республики. Но главы «Президент, Конгресс и судебная власть» и «Процедура законодательства», занимающие всего по четыре страницы, не могут претендовать на сколько нибудь полное изложение предмета. Из-за вынужденной беглости изложения, читатель может вынести даже некоторые ошибочные представления. Например, из сказанного на стр. 36-37 можно заключить, будто инициатива законов в Америке исходит главным образом от заинтересованных частных лиц и организаций. Между тем, это, конечно, относится только к так называемым «частным биллям», а все важные законопроекты вносятся в Конгресс по инициативе правительства. Быть может, следовало упомянуть о том, что в начале каждой сессии Конгресса президент оглашает в соединенном заседании обеих палат «Послание о положении союза», т. е. законодательную программу правительства, которая затем кладется в основу работ Конгресса. Очень хорошо написана глава вступительной статьи, посвященная американской внешней политике. Но недостает главы об эволюции внутренней политики, которая ведь более непосредственно относится к теме книги. Без упоминания остались те глубокие

преобразования, которые за последние двадцать лет произошли в задачах и функциях федерального правительства. Имя Ф. Д. Рузвельта, которое неразрывно связано с этими преобразованиями, ни разу не упомянуто в статье. Повторяю, что эти недочеты не могут быть поставлены в вину автору, так как они являются лишь неизбежными последствиями краткости и беглости изложения.

Во второй части книги даются русские переводы Декларации независимости, «Статей конфедерации», Конституции Соед. Штатов, Геттисбергской речи Линкольна и Устава Объединенных Наций. Идея дать полный текст важных документов американской истории русскому читателю, неподготовленному к чтению оффициальных актов на английском языке, является чрезвычайно удачной. Притом нужно поставить издательству в заслугу, что оно не воспользовалось возможностью перепечатать тот совершенно неудовлетворительный перевод, который был опубликован в 1919 г. Фондом Карнеги. Все помещенные в этой книге переводы, кроме перевода Устава ОН, сделаны наново — повидимому, без участия А. Д. Марголина.

Всякий, кому приходилось переводить тексты с английского юридического языка на русский, хорошо знает трудности, с которыми связана эта задача. Переводчику приходится постоянно лавировать между Сциллой и Харибдой: дословный перевод всегда оказывается тяжеловесным, иногда просто непонятным, а перевод по смыслу рискует оказаться неточным и произвольным. Следует признать, что помещенные в книге переводы, в смысле простоты и ясности изложения, исполнены хорошо. Однако, при сравнении с подлинниками в них обнаруживается ряд досадных ошибок, которые следовало бы исправить при переиздании книги. Приведу несколько примеров из перевода Конституции. В переводе 17-й поправки после указания, что досрочные вакансии в Сенате могут заполняться либо по выборам, либо по назначению штатных губернаторов, читаем следующую фразу: «легислатура также может сделать такое назначение сама» (стр. 106). Между тем, ничего подобного в английском тексте нет и, как известно, легислатуры такого права не имеют. В 5-й и 14-й поправках знаменитое выражение, что никто не может быть лишен прав «without due process of law», переведено словами «без законного судебного разбирательства» (стр. 99 и 103). Слово «судебного», которого в подлиннике нет, вносит произвольное ограничение, не соответствующее ни буквальному смыслу закона, ни его применению на практике. Более правильным переводом этой формулы было бы «без обязательной по закону процедуры». При переводе 6-й поправки пропущена целая фраза, которая гарантирует подсудимому право вызывать свидетелей, могущих дать показания в его пользу

(стр. 100). Слово «grievance» означает «жалоба», а не «злоупотребление» (стр. 98). «Charged» нужно перевести «обвиняемый», а не «обвиненный» (стр. 93). «Grand Jury» занимается преданием суду, в отличие от «Jury», которое судит и выносит приговор. Между тем, на стр. 99 «Grand Jury» переведено «Жюри присяжных», что является бессодержательной тавтологией. Слово «Amendment» правильнее переводить не «дополнение», а «поправка».

В переводе некоторых статей Конституции встречаются выражения, взятые из разговорной речи, которые совершенно неуместны в тексте государственного акта (напр., на стр. 66 «всем, кому попадет в руки этот документ», на стр. 105 «под предлогом расы», на стр. 107 «под предлогом пола»). Наконец, в знаменитых вступительных строках Декларации независимости слова «Nature's God» переведены «Божественная Природа». Это пантеистическое выражение не соответствует смыслу подлинника и несогласно с религиозными убеждениями авторов Декларации, которые, — также как их знаменитые современники, французские философы века просвещения, — были деистами. Слова «the Laws of Nature and of Nature's God» можно перевести «законы природы и ее Творца».

В выборе материалов для перевода издательство проявило быть может излишнюю щедрость. Едва ли была какая-либо надобность давать русскому читателю полный текст «Статей Конфедерации», которые были в силе всего семь лет (1781-1788) и о которых даже в учебниках истории упоминается лишь в том смысле, что они были крайне несовершенны. Перепечатанный полностью Устав Объединенных Наций как будто вообще не имеет отношения к книге, посвященной государственному устройству Соед. Штатов; к тому же, его можно получить бесплатно в том же хорошем русском переводе в Секретариате ОН. Между тем, переводы этих двух актов занимают в книге 59 страниц, т. е. больше, чем вся вступительная статья А. Марголина.

Книга безусловно выиграла бы если бы вместо этого ненужного материала страниц десять или пятнадцать были посвящены комментариям к некоторым статьям Конституции. Без таких пояснительных примечаний рядовой читатель не в состоянии понять действительный смысл ряда статей и узнать о том, какое значение эти статьи, в результате толкований Верховного суда, получили в государственной жизни Америки. Читатель, вероятно, не обратит никакого внимания на краткую статью Конституции, дающую Конгрессу право «регулировать торговлю между штатами и с индейскими племенами» (стр. 85). Между тем, эта статья, т. н. «Interstate Commerce Clause», является юридической базой для десятков важнейших федеральных законов

и она же лежит в основе существования таких учреждений, как Interstate Commerce Commission, Federal Trade Commission и Federal Communications Commission, которые заведуют столь важными отраслями народного хозяйства, как железные дороги, телеграф, телефон, радио и т. д. Неменьшее значение получила в наши дни другая малозаметная статья Конституции, дающая Конгрессу право «заботиться о благосостоянии Соединенных Штатов» (так наз. «General Welfare Clause», см. стр. 84). На основе этой статьи в течение последних двадцати лет построена вся система законодательства о социальном обеспечении.

Было бы также полезно указать в примечаниях на исторические условия, вызвавшие принятие поправок в Конституции. Напечатанные в хронологическом порядке без всяких пояснений, эти поправки не могут быть надлежащим образом поняты и оценены теми читателями, для которых предназначена книга.

А. Гольденвейзер

ГЛЕБ ГЛИНКА. На перевале. Сборник произведений писателей группы «Перевал». Редакция и литературно-биографические очерки Г. Глинки. Изд-во им. Чехова. Нью-Йорк. 1954.

Недавно в советской литературе прозвучало несколько критических голосов, — разумеется, в скорости насильственно заглушенных, — среди которых особенно сочувственное эхо вызвала статья В. Померанцева «Об искренности в литературе» («Нов. Мир», кн. 12). Статья эта представляет собой живой протест против «ждановщины», пытающейся вновь и вновь задушить проблески духовной независимости в творчестве русского писателя. «Искренности, — вот чего не хватает иным книгам и пьесам», — таков лейт-мотив статьи В. Померанцева, отразившей с возможной полнотой жгучую тоску по художественной правде в советской литературе. Живучесть этой тоски, не умирающей до сих пор под прессом советской диктатуры, в историческом аспекте восстановлена перед нами антологией «На перевале», составленной Г. А. Глинкой. Литературное содружество «Перевал» (1923-32) возникло в годы Нэпа и погибло с окончательным торжеством генеральной линии. Ряд выдающихся писателей, талантливых, ищущих, сохранивших своеобразие своей писательской индивидуальности в условиях дозированной при Нэпе относительной свободы творчества, — примкнули к «Перевалу» или вели околоперевальское существование, привлеченные теми идеями и стремлениями, которые были положены в основу этой литературной группировки. Разумеется, черты приспособленчества окрашивали и «Пере-

вал» в достаточной мере, но вряд ли только перестраховкой можно объяснить готовность перевальцев «выполнять социальный заказ, данный октябрьской революцией, рабочим классом и коммунистической партией». Среди писателей, вошедших в объединение, было действительно немало коммунистов и лояльных советских людей. Но, как совершенно справедливо подчеркивает в своих содержательных комментариях Г. А. Глинка, постепенно складывавшиеся в перевальцах оппозиционные тенденции не только по отношению к политике диктатуры в сфере литературы и искусства, но и к генеральной линии вообще, всё больше накладывали свою печать на «Перевал», на направление его деятельности и на творчество отдельных писателей, подготовляя неизбежный конфликт с властью.

В высшей степени любопытно отметить совпадение, порой даже буквальное, тех идей, за которые заплатили гибелью «перевальцы», с идеями наших современников, от лица которых заговорили придушенные голоса Померанцевых спустя четверть века. «Искренности — вот чего не хватает советским писателям», говорит Померанцев. «Честная, открытая борьба за литературную культуру, за чистоту литературных нравов, за искренность в искусстве... была основой «Перевала» с первых его шагов», — формулирует основные задачи перевальцев Г. А. Глинка. «Проблема искренности — не моральная, а художественная проблема», — писал один из присяжных критиков и идеологов «Перевала», патетический и парадоксальный писатель А. Лежнев. «Искусство требует всего художника, а не только его рук, — писал Лежнев. — Оно жестоко карает за фальшь и благоразумную осторожность. То, что продиктовано посторонними для писателя мотивами, остается в стороне от литературы». Лежнев отдает себе отчет в том, что «требование искренности» является «смешным романтическим пережитком», но без него, без этого «пережитка» — остается подхалимаж, приспособленчество, казенщина, т. е. смерть литературы и искусства, и духовная смерть человеческой личности. Неудивительно, что в 1923 году постановлением начальства «Перевал» — эта «одна из самых реакционных писательских организаций» — был задушен. О нем писали: — «Перевал», который «творчеством Глинки смыкается с дворянской литературой», «творчеством Зарудина... с певцами кулацкой деревни», «творчеством Тарусского — с буржуазной литературой». Эта глубокая связь многих «перевальцев» с прошлыми заветами русской литературы, их одушевленность идеей неумирающей преемственности, естественно, должна была раньше или позже вызвать и углубить конфликт между «Перевалом» и диктатурой.

Когда впоследствии «Лит. Энциклопедия» пыталась свести в один

обвинительный акт все рассеянные в газетной и журнальной печати преступления, вменяемые «Перевалу», — то наряду с неприемлемыми для диктатуры принципами, как «искренность творчества», «новый гуманизм» и «любовь к человеку», она не преминула присовокупить обвинение и в «троцкизме», и в «меньшевиствующем идеализме», иными словами, в политической оппозиционности. Этот рост оппозиционности «перевальцев» показан в антологии Г. А. Глинки не только в его комментариях, в вступительной статье и небольших историко-литературных портретах (надо пожалеть, что они столь кратки, сжаты), но также и в произведениях ряда «перевальцев», из которых антология составлена. Судьба многих из этих произведений трагична: они давно изъяты из обращения в России; не менее трагична и судьба авторов, на долю которых выпала гибель в ссылке или в чекистском застенке. Тем больше оснований у читателей поблагодарить и составителя антологии и Чеховское Издательство, извлекших из забвения эти имена и их произведения, хотя бы в кратких образцах. Прежде всего мы должны отметить рассказ Пильняка «Повесть непогашенной луны», которая народной молвой связывается с концом Фрунзе. В ней Пильняк выступает во всем блеске своего дарования. Приведены также художественные произведения Ивана Катаева «Молоко», Петра Слетова «Листья», Ник. Зарудина «Древность», рассказы Б. Губера, воспоминания А. Воронского «Детство», художественно-фольклорные очерки Е. Вихрева, Г. Глинки и Дм. Семеновского, две статьи критиков-перевальцев А. Лежнева и Д. Горбова и несколько стихотворений Н. Тарусского. Нужно пожалеть, что Г. Глинка, поэт, литературовед, беллетрист, представлен только в жанре очеркиста.

Перевальцы были уничтожены диктатурой в 30-х г.г. Воронский, старый большевик, погиб, как троцкист. Зарудин расстрелян. Катаев получил 20 лет лагерей. Губер — 15 лет. Пильняка видели незадолго до войны в лагере на Медвежьей горе. Лежнева, по слухам, забили на смерть при допросах. Повесть о «Перевале» и его близких и дальних участниках Г. Глинка рассказал спокойно, сдержанно и объективно, но какой щемящей грустью веет от этого рассказа.

Г. Аронсон

JACQUES CROISÉ: *Sortie de Secours*. Librairie Plon. 1953.

Эта книга — один из немногих опытов передачи во французской литературе переживаний русской эмиграции. В этом и заключается основной ее интерес.

Главное действующее лицо книги — Антон Сабельский, которому было 11 лет, когда его увезли из России. Он становится

французским писателем, получает литературную премию за свою первую книгу и говорит о себе словами французского молодого поколения: «Жизнь моя — как горящий дом, и я ищу запасный выход»... В поисках этого «выхода», в страстном желании уйти от жизни, которая ему кажется абсурдной — жизнь абсурд, ибо кончается смертью, — от абсурдности всего, что его окружает, Сабельский решает покончить самоубийством. «Пора доказать, что мне всё это ненужно, что умирая я отказываюсь от удовольствия пользоваться тем, чему всё равно суждено умереть...» И он выбрасывается из окна.

Так экзистенциализм Сартра и Камюса нашел себе отлик и у русского Жака Круазе: под этим псевдонимом пишет Зинаида Шаховская. Но экзистенциалисты говорят: только тогда, когда человек, наконец, начинает понимать, что всё абсудрно и что кроме жизни у него ничего нет и никогда не будет — только тогда он начинает держаться за жизнь и как-то ее устраивать. Падающего из окна Сабельского задерживают ветви дерева: «Антон услыхал свой крик. Страстная жажда жизни охватила его...» Судьба щадит этого наследника «Мифа Сизифа» (экзистенциалистический роман Альбера Камюса). Жизнь возвращается к нему и вместе с ней ощущение, что теперь он найдет ее смысл и он находит его в завещании, оставленном ему умершим в Константинополе учителем, Лукой Лукичем Савиным.

Константинополь, 1920 год. Детский дом для русских детей на берегах Босфора. Среди них — одиннадцатилетний Антон. Учитель детей, Лука Лукич, сын крестьянина, бывший сельский учитель, медленно умирает от чахотки. Его доброе сердце, простота и честность привязывают к себе всех детей. Он словно излучает доброту и смирение и дети стараются ему подражать. За несколько часов до смерти учителя Антон приходит его навестить во французском госпитале. Лука Лукич говорит ему: «Счастье есть не для меня, и может быть не для тебя, но для кого-то. Счастье есть на свете. Бог не смог бы сотворить землю, если бы он не создал и счастья. Не забудь этого, не забудь что я тебе говорю». — И словно горчичное зерно эти слова Луки Лукича падают на почву духовного роста выздоравливающего Антона Сабельского.

Вся книга — своего рода русский опыт на французской земле: русская жизненная философия в борьбе с чужеземным экзистенциализмом, которому не удается победить несмотря на то, что внешне он как будто и сильнее и заманчивее.

Зинаида Шаховская в детстве жила в Константинополе, потом во Франции. Читатели «Современных Записок» помнят ее по

стихам, которые она помещала в этом журнале. «Запасный выход» не автобиография: «Я пользовалась только знакомыми местами, но не людьми», — говорит автор. *В. К.*

МАРК ВИШНЯК. Дань прошлому. Изд-во имени Чехова. Нью-Йорк. 1954.

На одной из первых страниц этой книги, рассказывая о своем детстве, автор говорит про себя, что он «уродился воякой». Все, кто следил за многолетней литературной деятельностью М. В. Вишняка, знают, что как публицист он отличается достаточно боевым темпераментом. Но воспоминания свои он написал не как публицист, а как историк. Читатель не найдет в них ни апологии собственного поведения автора, ни резкого обличения чужих ошибок — явление сравнительно редкое в мемуарной литературе. Хотя в своем предисловии М. В. Вишняк и утверждает, что «в автобиографии субъективность перестает быть недостатком» и даже «становится необходимостью» (что в известном смысле, конечно, верно), всё же в этой попытке осмыслить свой жизненный опыт, он сумел проявить ту долю объективности, какую только можно желать любому автору. Своего непримиримого отношения к большевистской диктатуре М. В. Вишняк, конечно, не скрывает и для выражения этого чувства он сумел найти сильные и горячие слова, но это ни в какой мере не противоречит требованиям объективности. Не надо забывать, что подлинная объективность не имеет ничего общего с моральным индифферентизмом.

Те, кто знают М. В. Вишняка преимущественно как писателя на злободневные политические темы, недостаточно учитывают наличие в нем другой стороны — того «интереса к историософии, философии или первым и последним вопросам бытия человека и человечества», о зарождении которого еще в гимназические годы он рассказывает в этой своей книге. Для многих вероятно будет сюрпризом, что активный интерес к политике проявился в М. В. Вишняке, по масштабам того времени, довольно поздно, — когда ему было уже 22 года. То, что он рассказывает по этому поводу, имеет не только личнобиографический, но и обще-исторический интерес. Не только до окончания гимназии (1901 год), но по началу и в университете М. В. Вишняк и близкие ему сверстники оставались «чужды революции психологически и глухи к политике», и нет оснований предполагать, что в этом отношении они являлись каким-то разительным исключением. Только девятое января 1905 года привело автора к мысли о необходимости включиться в революционное движение и к решению вступить в партию социалистов-революционеров.

Даже и после вступления в партию М. В. Вишняк психологически оставался своего рода «революционером поневоле». Так, по мотивам морального характера, он не мог примириться с террором, как орудием политической борьбы, а принимая участие (правда, только подсобное) в московском вооруженном восстании декабря 1905 года, он, по его словам «никак не ощущал, что дух разрушения есть в то же время и созидающий дух». Для характеристики царского режима того времени, который М. В. Вишняк ни в какой мере не идеализирует, очень интересны некоторые подробности личной его биографии в период 1906-1910 гг. После трех арестов и побега из арестного помещения при одной из московских полицейских частей он оказался на нелегальном положении, и его разыскивал департамент полиции. Несмотря на это ему удалось окончить юридический факультет Московского университета, записаться в помощники присяжного поверенного, выступить в суде в качестве казенного (т. е. назначенного судом) защитника и получить отсрочку по отбыванию воинской повинности!

Столь же интересны показания Вишняка насчет крайней слабости революционных партий в России в последнее десятилетие перед революцией. В частности, партия с.-р. была «разгромлена Столыпиным и деморализована Азефом». Не лучше обстояло дело и в других революционных организациях. Эмигрантский юмористический журнал, выходивший в Париже в 1911-12 гг., предлагал «полцарства» тому, кто, сверх Ленина, Зиновьева и Каменева, назовет еще четвертого «правоверного большевика». Автор приходит к общему выводу, что «революционные партии накануне Февраля... никакой организованной силы не представляли».

В согласии со многими другими мемуаристами М. В. Вишняк подчеркивает самопроизвольный характер февральской революции. «Для большинства русских людей в России и эмиграции, правых и левых, революция казалась неизбежной и неминуемой. Но когда она произошла, она застала всех врасплох, неподготовленными: правительство, Думу, открыто существовавшие организации и подпольные». Отношение самого М. В. Вишняка к революции было двойственным. С одной стороны, она принесла ему некоторое чувство морального удовлетворения («наши исторические прогнозы оправдались»), но, с другой, была у него и тревога и «растерянность перед грандиозным обвалом». Он признается, что «восторга и умиления не испытал ни на минуту». Уже в апреле, во время уличных демонстраций, вызванных правительственным кризисом, он «увидел воочию не свободолюбивые и сознательные массы, а слепые силы, разнузданную толпу, ту самую охлократию или чернь, которая в октябре оконча-

тельно восторжествовала». С тех пор «ощущение беспомощности и страха за будущее» его уже не оставляли.

Главным делом М. В. Вишняка в 1917 году было участие в Особом Совещании для приготовления проекта положения о выборах в Учредительное Собрание. Дело это вполне соответствовало как его темпераменту, более демократическому чем революционному, так и его умственным интересам и научной подготовке. О работе Особого Совещания и об отдельных его участниках он рассказывает много интересного — в том числе и такого, что будет новым для большинства его читателей. С большой убедительностью отвечает он на те обвинения в ненужной медлительности, которые так часто выставлялись против Временного Правительства и против Совещания, указывая на объективные условия, делавшие необходимой повторную отсрочку выборов.

Воспоминания заканчиваются волнующим рассказом о судьбе Учредительного Собрания и о его драматическом, оказавшемся единственным, заседании. В небольшом заключении автор пытается ответить на вопрос «почему не удался Февраль и удался Октябрь». В пределах этой рецензии я не могу ни изложить мысли М. В. Вишняка по этому поводу, ни подвергать их сколько-нибудь подробному анализу. Скажу только, что и общий его подход к проблеме и тот дух, в котором он ее обсуждает, стоят на высоте, соответствующей ее исторической значительности и трагическому характеру. Немногие полемические замечания, которые можно найти в этом заключении, относятся к некоторым явлениям в политической жизни эмиграции. Основной же вопрос о неудаче Февраля М. В. Вишняк обсуждает с точки зрения коллективной ответственности русской демократической интеллигенции. Но и в этой «самокритике» он сохраняет должную меру, различая между «виной» и «бедой» демократической интеллигенции — между ее ошибками с одной стороны и теми объективными условиями, в которых ей пришлось действовать, с другой. Это и есть единственно правильный подход к вопросу. И всем тем представителям других течений эмигрантской мысли, которые так любят творить суд над этой интеллигенцией, не мешало бы последовать показанному М. В. Вишняком примеру.

М. Карпович

А. М. РЕННИКОВ. Минувшие дни. Изд-во «Россия». Н. И. 1954.

Всякая книга, на мой взгляд, тогда хороша, когда она вызывает некие личные переживания хотя бы у одного читателя. Такие переживания — характерные, думаю, для человека моего поколения — вызвали у меня «Минувшие дни» А. М. Ренникова. Вспомнилось, как

весной 1943 года штаб Шестой воздушной армии, действовавшей на Северо-Западном фронте, передислоцировался в Валдай. Наша армейская газета «Сокол родины» разместилась в просторном доме на холме, откуда открывался вид на безмерную ширь Святого озера, остров и монастырь на нем. В Валдае этот дом и поныне зовут «домом Меньшикова». Кто такой Меньшиков? «Писатель... Каждое лето приезжал из Питера...» — пояснила мне одна валдайская старуха. Писатель Меньшиков? Такого мы в советских школах и институтах «не проходили»... И вот, в книге А. М. Ренникова читаю: в 1918 г., на предложение автора «Минувших дней» перебираться вместе из Петербурга в Ростов-на-Дону, Меньшиков задумчиво ответил:

— Зачем так далеко? Мы поселимся у себя в Валдае. Там у нас дом, полная обстановка, все удобства...

«Переселившись в свой Валдай, — добавляет автор воспоминаний, — М. О. Меньшиков поступил там письмоводителем в какое-то учреждение, жил тихо, незаметно, никто его не беспокоил; но произошло убийство Урицкого, по России начали рыскать карательные «тройки»; одна из троек попала в Валдай — и Меньшиков был расстрелян».

Не кто иной, как Меньшиков открыл А. М. Ренникову дорогу в большую печать. В 1912 году, когда 29-летний Ренников работал в «Одесском листке», он написал роман из жизни провинциальных журналистов. Роман понравился Меньшикову. Молодой автор получил предложение переехать в Петербург и работать в «Новом времени». В «огромном темносером доме в Эртелевом переулке» Ренников проработал пять с лишним лет — до самого конца. В «Минувших днях» он дает яркие портреты не только Меньшикова, Розанова, но и многих других сотрудников «Нового времени». Некоторые картинки, например, эпизод с атласной лентой на абажуре настольной лампы в кабинете В. В. Розанова, написаны с такой живостью, что всякий читатель, даже неимеющий специального интереса к литературе или истории русской печати, получит удовольствие от чтения воспоминаний А. М. Ренникова.

Книга А. М. Ренникова, как и всякая книга, имеет свои недостатки. Местами раздражает газетно-фельетонный язык, такие, например, фразы: «Из-за печальной склонности к земному нектару Куприн не попал в Академию Наук». Попадаются, впрочем, и чеканные, запоминающиеся формулировки: «Русские люди еще сохранили в себе священную способность умирать за отечество. Но способность жить за отечество — исчезла».

В только что приведенных словах — много горечи. «Минувшие дни» А. М. Ренникова — горькая книга. «Все мы, так или иначе,

виноваты во всем происшедшем», — говорит автор. Виноваты «левые», виноваты «правые»... Крайний радикализм — как левый, так и правый — более всего ответственен за исчезновение в русских людях «способности жить за отечество». Возрождение этой способности, возрождение гражданских качеств требует изжития радикализма, укрепления консерватизма. Книга А. М. Ренникова, добавляющая новые штрихи к портрету Розанова, воскрешающая образ такого забытого — на мой взгляд, замечательного — писателя, как Меньшиков, появилась сейчас как нельзя кстати. Идея консерватизма, мне думается, в особенности близка нам, людям, вышедшим из советской России, и многие из нас, вероятно, согласятся с автором «Минувших дней», когда он говорит, что поправение есть признак естественного развития политически-мыслящего человека.

Мих. Коряков

ПОПРАВКА

В кн. 37 «Нов. Журн.» было помещено, как нигде ненапечатанное, стихотворение В. Я. Брюсова «З. Н. Гиппиус». Это неверно. Редакция была введена в заблуждение. Стихотворение это было опубликовано В. Я. Брюсовым в одном из его сборников. В «Новый Журнал» оно было прислано В. А. Злобиным. *Ред.*

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ ДЛЯ ОТЗЫВА

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА YMCA PRESS

Прот. С. БУЛГАКОВ. *Философия имени.* Париж. 1953.
ПРАВОСЛАВНАЯ МЫСЛЬ. *Труды Прав. Богослов. Ин-та в Париже.* Вып. 9. Париж. 1953.
ЗАКОН БОЖИЙ. *Книга о православной вере.* Париж. 1953.

РОДИОН БЕРЕЗОВ. *Русское сердце.* Рассказы. Лос Анжелес. 1954.
ПЕТР БАЛАКШИН. *Возвращение к первой любви.* Изд. Сириус. 1952.
Весна над Филмором. Изд. Сириус. 1951.
Повесть о Сан Франциско. Изд. Сириус. 1951.
СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ. *Берега.* Изд. «Новоселье». Париж. 1953.
А. А. ВОЛОШИН. *На путях и перепутьях.* Изд. «Дело». Сан Франциско. 1953.
П. БОРАНЕЦКИЙ. *Ценность и человек.* Принцип сохранения ценности. Изд. автора. Париж. 1948.
О достоинстве человека. Основание героической этики. Изд. автора. Париж. 1950.
Философия техники. Изд. автора. Париж. 1947.
Религия, материализм, прометеизм. Основание синтетического миросозерцания. Изд. автора.
НАРОДНЫЕ РУССКИЕ ПЕСНИ И РОМАНСЫ. Том II. Составил и издал Алексей И. Чернов. Предисл. С. Юрасова. Н. И. 1954.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE,
of the East European Fund, Inc.
New York, N. Y., U. S. A.

КНИГИ ИЗВЕСТНЫХ АМЕРИКАНСКИХ И АНГЛИЙСКИХ АВТОРОВ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ:

В Долл.

ФРЕДЕРИК ЛЮИС АЛЛЕН — Большие перемены.

346 стр. 2.75

Книга Фредерика Люиса Аллена представляет собой яркий и живой анализ тех перемен, которые произошли в американской жизни за последние пятьдесят лет.

ЭДУАРД БОК — Как Эдуард Бок стал американцем.

384 стр. 3.00

Рассказ о том, как иммигрант, приехавший в Америку, семилетним мальчиком, впоследствии стал редактором одного из самых распространенных журналов.

ДЖОН ГЮНТЕР — По Соединенным Штатам.

412 стр. 3.00

Автор совершает с читателем путешествие по всей Америке, уделяя главное внимание внутренней жизни страны. В сжатой занимательной форме Гюнтер описывает особенности каждого штата, останавливаясь на социальном, экономическом и политическом устройстве.

АРНОЛЬД Д. МАРГОЛИН — Основы государственного устройства США. 157 стр. 1.00

Цель этой книги — ознакомить читателя с основами гражданской и политической структуры Соединенных Штатов. Первая часть книги содержит краткое изложение главных исторических событий, приведших к созданию того политического порядка, который существует сейчас в Соединенных Штатах. Во вторую часть книги включен русский перевод текста Декларации Независимости, Статей Конфедерации, Конституции, Геттисбургской речи Линкольна и Устава Организации Объединенных Наций.

ВИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ — От войны до войны (1919-1939). Вторая мировая война. Книга I. 418 стр. 2.75

Первая книга воспоминаний Черчилля, посвященных Второй мировой войне, охватывает период от Версальского мира до вторжения Гитлера в Польшу.

Эти книги, как и многие другие, самого разнообразного содержания, можно получить в русских книжных магазинах.

КНИГА 37-я. Содержание: ПРОЗА: Б. Зайцев — Чехов. *П. Ершов* — Нинель. *В. Набоков* — Другие берега. *СТИХИ:* В. Брюсова, Л. Алексеевой, Н. Бернера, З. Гиппиус, В. Злобина, Н. Моршена, И. Одоевцевой. *ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: Роман Гуль* — Цветаева и ее проза. *Н. Ульянов* — Еще об историческом романе. *Ю. Елагин* — Мейерхольд и Коммиссаржевская. *ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Ф. Степун* — В русской провинции. *М. Вишняк* — З. Н. Гиппиус в письмах. *ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. Валентинов* — Ленин в Симбирске. *Г. Аронсон* — Е. Д. Кускова. *Н. Лосский* — Какой идеал противопоставить коммунизму? *М. Карпович* — Комментарии. *СООБЩЕНИЯ И ФАКТЫ: А. Давыдов* — «Государственные банкиры». *Подп. В. Ершов* — Работа НКВД в госпиталях во время войны. *БИБЛИОГРАФИЯ: Г. Струве* — Чехов в советской цензуре. *Б. Гершун* — Courts, Lawyers, and Trials under the last three Tzars by S. Kucherov. *В. Р.* The Secret History of Stalin's Crimes by A. Orlov. *С. Петров* — Н. Клюев. Плач о Есенине. *М. Г. Э.* Бок. Как я стал американцем.

КНИГА 38-я. Содержание: ПРОЗА: М. Алданов — Бред. *П. Ершов* — Нинель. *В. Набоков* — Другие берега. *СТИХИ: Георгий Иванов* — Дневник. Стихи А. Величковского, И. Одоевцевой. *ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: М. Гофман* — Клевета о Достоевском. *В. Марков* — Мысли о русском футуризме. *ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: В. Неведомская* — Воспоминания о Гумилеве и Ахматовой. *Е. Брешковская* — 1917-й год. *ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: А. Тыркова* — Ф. И. Родичев. *Е. Кускова* — Трагедия М. Горького. *Б. Вышеславцев* — Ответ моим критикам. *М. Карпович* — Комментарии. *БИБЛИОГРАФИЯ: М. Карпович* — Our Secret Allies: The Peoples of Russia by E. Lyons. *Н. Тимашев* — Soviet Law and Soviet Society by C. Guins. *Роман Гуль* — Н. Клюев. Полное собрание сочинений. *М. Коряков* — The Five Seasons by Karl Eska. *В. Коварская* — Russian Icons, Introduction by Ph. Schweinfurth. *Ю. Мак Лейн* — Soviet Russian Literature by G. Struve. *Ю. Сазнова* — М. Осоргин. Письма о незначительном.

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1954-м году выйдут **ЧЕТЫРЕ КНИГИ**

●

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 30 крузейро

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, Inc., 223 West 105th Street,
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня